

Л.Н. ТРЕФОЛЕВ

ИЗБРАННОЕ



Ярославское областное  
государственное издательство

1951

P1  
T66

P1  
T66



105

А.Н. ТРЕФОЛЕВ

# ИЗБРАННОЕ

2206



Юношеская библиотека  
Сталинского района  
г. Ярославля

Ярославское областное  
государственное издательство

1951





# СТИХИ

Юношеской бригады  
Сталинского района  
г. Ярославля



СТИХОТВОРЕНИЯ  
ИЗ СБОРНИКА 1894 г.

К НАШЕМУ ЛАГЕРЮ

Много нас, и много слышно звуков.  
Хор велик; но кто же правит им?  
Что же мы в поэзии для внуков,  
Для своих потомков создадим?

Чем они с любовью нас помянут,  
Двинув Русь родимую вперед?  
Чьи же лавры долго не увянут,  
Чье же имя долго не умрет?

Нет у нас давно певцов великих;  
В темный век мы слабы без вождя.  
Мы в степях томительных и диких  
Словно капли мелкого дождя.

Если нива жадно просит влаги—  
Мелкий дождь не напоит ее;  
Если мы развесим наши флаги—  
Примут их за жалкое тряпье.

Что на них пророчески напишем,  
Поучая внуков дорогих?  
Мы едва и сами робко дышим,  
И нельзя нам оживить других.

Суждено проселочной дорогой  
Нам плестись на маленький «Парнас»,  
И страдалец истинный, убогий—  
Наш народ — не ведает о нас.

Да и знать о нас ему не нужно.  
Все мы мертвы. Он один—живой.  
И без нас споет он песню дружно  
Над Днестром, над Волгой и Невой.

Не придут от нас в восторг потомки,  
Видя в нас лишь стонущих рабов,  
И растопчут жалкие обломки  
Наших лир и тлеющих гробов.

Пусть тогда восстанут наши кости,  
Потешая деток и внучат;  
Пусть они спокойно и без злости  
Из своей могилы прозвучат:

«Растоптали нас вы и забыли;  
Мы лежим, повержены в пыли;  
Но народ мы истинно любили,  
Хоть его воспеть и не могли.

Пойте сами громче и чудесней!  
Вам иная доля суждена.  
Мы себя не услаждали песней,  
Нас лишь только мучила она.

Мы ее болезненно слагали,  
Пред своим кумиром павши ниц;  
Петь ее нам только помогали  
Голоса из склепов и темниц!»

1882

## НАША ДОЛЯ—НАША ПЕСНЯ

(Памяти Ивана Захаровича Сурикова)

Я тоски не снесу  
И, прогнавши беду,  
На свободе в лесу  
Долю-счастье найду.

Отзовись и примчись,  
Доля-счастье, скорей!  
К сироте постучись  
У тесовых дверей.

С хлебом-солью приму  
Долю-счастье мое,  
Никому, никому  
Не отдам я ее!

Но в лесной глубине  
Было страшно, темно.  
Откликалося мне  
Только эхо одно...

Так и песня моя  
Замирает в глуши  
Без ответа... Но я —  
Я пою от души.

Пойте, братья, и вы!  
Если будем мы петь,  
Не склоняя главы,—  
Легче горе терпеть.

Что ж мы тихо поем?  
Что ж наш голос дрожит?  
Не рекой, а ручьем  
Наша песня бежит...

## МАКАР

Мой приятель Макар  
Покорился судьбе.  
Он ни молод, ни стар,  
И живет... так себе.

Станный он человек!  
Пожалеешь о нем:  
То проспит целый век,  
То вдруг вспыхнет огнем.

Он и кроток, и смел,  
И на все он ходок,  
Даже сделать сумел  
Петербург-городок.

Поклониться велят —  
Он отвесит поклон;  
Гнать заставят телят —  
И телят гонит он.

Хлебца нет—не беда:  
Он и жолуди ест;  
Загуляет—тогда  
Рад пропить с шеи крест

Становой пригрозит —  
Струсит он, как дитя;  
А медведя сразит  
Кулачищем шутя.

«Веселись, дуралей!»—  
И Макар запоет.

«Слезы горькие лей!»—  
И он ревя-ревет.

«Сделай флот, старина!» —  
И плывут корабли.

«Обеднела казна»...—  
Он дает ей рубли.

«Правосудно суди!»—  
И судить он горазд.

«На разбой выходи!»—  
Он пощады не даст.

Человек он и зверь;  
В нем и холод и жар...  
Но велик ты, поверь,  
Мой приятель Макар!

1884



## ПЕСНЯ О КАМАРИНСКОМ МУЖИКЕ

Ах ты, милый друг, камаринский мужик,  
Ты зачем, скажи, по улице бежишь?

*Народная песня.*

### I

Как на улице Варваринской  
Спит Касьян, мужик камаринский.

Борода его всклокочена

И дешевкою подмочена;

Свежей крови струйки алые

Покрывают щеки впалые.

Ах ты, милый друг, голубчик мой Касьян!

Ты сегодня именинник, значит—пьян.

Двадцать девять дней бывает в феврале,

В день последний спят Касьяны на земле.

В этот день для них зеленое вино

Уж особенно пьяно, пьяно, пьяно.

Февраля двадцать девятого

Целый штоф вина проклятого

Влил Касьян в утробу грешную,

Позабыл жену сердечную

И своих родимых деточек,

Близнецов двух, малолеточек.

Заломивши лихо шапку набекрень,

Он отправился к куме своей в курень.

Там кума его калачики пекла;

Баба добрая, румяна и беда,

Испекла ему калачик горячо

И уважила... еще, еще, еще.

## II

В это время, за лучиною,  
С бесконечною кручиною  
Дремлет-спит жена Касьянова,  
Вспоминая мужа пьяного:  
«Пресвятая богородица!  
Где злодей мой хороводится?»  
Бабе снится, что в веселом кабаке  
Пьяный муж ее несется в трепаче,  
То прискочит, то согнется в три дуги,  
Истоптал свои смазные сапоги,  
И руками и плечами шевелит...  
А гармоника пилит, пилит, пилит.

Продолжается видение:  
Вот приходят в *заведение*  
Гости, старые приказные,  
Отставные, безобразные,  
Красноносые алтынники,  
Все Касьяны именьники.  
Пуще прежнего веселье и содом.  
Разгуляясь, распясаался пьяный дом.  
Говорит Касьян, схватившись за бока:  
«А послушай ты, приказная строка,  
У меня бренчат за пазухой гроши:  
Награжу тебя... Пляши, пляши, пляши!»

## III

Осерчало *благородие*:  
«Ах ты, хамово отродие!  
За такое поношение  
На тебя подам прошение,  
Накладу еще в потылицу!  
Целовальник, дай чернильницу!»  
Продолжается все тот же вещий сон:  
Вот явился у чиновных у персон  
Лист бумаги с государственным орлом.  
Перед ним Касьян в испуге бьет челом,  
А обиженный куражится, кричит  
И прошение строчит, строчит, строчит.

«Просит... имя и фамилия...  
Надо мной чинил насилия  
Непотребные, свирепые,  
И гласил слова нелепые:  
Звал *строкой*, противно званию...  
Подлежит сие к поданию»...

Крепко спит-храпит Касьянова жена.  
Видит баба, в вещей сон погружена,  
Что мужик ее, хоть пьян, а не дурак,  
К двери пятится сторонкою, как рак,  
Не замеченный чиновником-врагом,  
И—опять к куме бегом, бегом, бегом.

#### IV

У кумы же печка топится,  
И кума спешит, торопится,  
Чтобы трезвые и пьяные  
Калачи ее румяные  
Покупали, не торгуясь,  
На калачницу любуясь.

Эко горе, эко горюшко, хоть плачь!  
Подгорел совсем у кумушки калач.  
Сам Касьян был в этом горе виноват:  
Он к куме своей явился невпопад,  
Он застал с дружкой изменницу-куму,  
Потому что, потому что, потому...

«Ах ты, кумушка-разлапушка,  
А зачем с тобой Потапушка?  
Всех людей считая братцами,  
Ты не справилась со святцами.  
Для Потапа безобразника  
Нынче вовсе нету праздника!»

Молодецки засучивши рукава,  
Говорит Потап обидные слова:  
«Именинника поздравить мы непрочь,  
Ты куму мою напрасно не порочь!»  
А кума кричит: «Ударь его, ударь!  
Засвети ему фонарь, фонарь, фонарь!»

Темной тучей небо хмурится.  
 Вся покрыта снегом улица;  
 А на улице Варваринской  
 Спит... мертвец, мужик камаринский,  
 И, идя из храма божия,  
 Ухмыляются прохожие.

Но нашелся наконец из них один,  
 Добродетельный, почтенный господин,—  
 На Касьяна сердобольно посмотрел:  
 «Вишь, налопался до чортиков, пострел!»  
 И потыкал нежно тросточкой его:  
 «Да уж он совсем... того, того, того!»

Два лица официальные  
 На носилки погребальные  
 Положили именинника.  
 Из кармана два полтинника  
 Вдруг со звоном покаталися  
 И... сквозь землю провалилися.

Засияло у хожаых «рождество»:  
 Им понравилось такое колдовство,  
 И с носилками идут они смелей,  
 Будет им ужо на водку и елей;  
 Марта первого придут они домой,  
 Прогулявши ночь... с кумой, с кумой,  
 с кумой.

## ДУБИНУШКА

*(Картинка из бывшего-отжившего)*

По кремнистому берегу Волги реки,  
Надрываясь, идут бурлаки.  
Тяжело им, на каждом шагу устают  
И «Дубинушку» тихо поют,  
Хоть бы дождь оросил, хоть бы выпала тень  
В этот жаркий, безоблачный день!  
Все бы легче народу неволю терпеть,  
Все бы легче «Дубинушку» петь.

«Ой, дубинушка, ухнем!» И ухают враз...  
Покатились слезы из глаз.  
Истомилась грудь. Лямка режет плечо...  
Надо «ухать» еще и еще!  
...От Самары до Рыбинска песня одна;  
Не на радость она создана:  
В ней звучит и тоска—похоронный напев,  
И бессильный, страдальческий гнев.  
Это—праведный гнев на злодейку-судьбу,  
Что вступила с народом в борьбу.  
И велела ему под ярмом, за гроши  
Добывать для других барыши...

«Ну, живее!»—хозяин на барке кричит  
И костями на счетах стучит...  
...Сосчитай лучше ты, борода-грамотей,  
Сколько сложено русских костей  
По кремнистому берегу Волги реки,  
Нагружая твои сундуки!

## ПОШЕХОНСКИЕ ЛЕСА

(Савве Яковлевицу Дерунову)

Ох, лесочки бесконечные,  
Пошехонские, родимые!  
Что шумите, вековечные  
И никем непроходимые?

Вы стоите исполинами,  
Будто небо подпираете,  
И зелеными вершинами  
С непогодушкой играете.

Люди конные и пешие  
Посетить вас опасаются:  
Заведут в тущобу лешие,  
Насмеются, наругаются.

Мишки злые, неуклюжие  
Так и рвутся на рогатину:  
Вынимай скорей оружие,  
Если любишь медвежатину!

Ох, лесочки бесконечные,  
Пошехонские, родимые!  
Что шумите, вековечные  
И никем непроходимые?

Отвечают сосны дикие,  
Поклонившись от усердия:  
«К нам пришли беды великие,—  
Рубят нас без милосердия.

Жили мы спокойно с мишками,  
Лешим не были обижены;  
А теперь, на грех, мальчишками  
Пошехонскими унижены».

«Доля выпала суровая!—  
Зашумели глухо елочки:—  
Здесь стоит изба тесовая,  
Вся новеконька, с иголочки.

Земской школой называется,  
Ребятишек стая целая  
В этой школе обучается  
И шумит, такая смелая!

И мешает нам дремать в глуши,  
Видеть сны, мечты туманные...  
Хороши ли, путник,—сам реши,—  
Эти школы окаянные?»

Нет, лесочки бесконечные,  
Ваша жизнь недаром губится.  
Я срубил бы вас, сердечные,  
Всех на школы... да не рубится!

1870

# НА БЕДНОГО МАКАРА И ШИШКИ ВАЛЯТСЯ

(Русская пословица)

## I

Макарам все не ладится. Над бедными  
Судьба-злодейка тешится жестокими  
у ударами.  
У нашего крестьянина, у бедного  
Макарушки,  
Ни денег нет на черный день, ни бабы нет  
сударушки.  
По правде-то, и деньги есть: бренчит  
копейка медная.  
И баба есть: лежит она, иссохшая  
и бледная.  
Помочь бы ей, да чем помочь?  
Не по карману дороги  
Все лекаря и знахари, лишне наши вороги.

## II

Макар-бедняк, любя жену, не знает темной  
ноченьки,  
Не спит, сидит, вздыхаяючи, слезой туманя  
оченьки.  
Слезами не помочь беде—есть русская  
пословица,  
А бабе-то, страдалице, все пуще  
нездоровится.  
«Не плачь, моя голубушка!—решил  
Макар с усмешкою.—  
Продам кобылку в городе со сбуей  
и тележкой,



И заплачу я лекарю: он больно жаден, гадина!»  
 Вошел Макар в пустой сарай: кобылка-то...  
 украдена.

### III

Настало лето красное. Стоят денечки славные.  
 И молятся от радости на церковь  
 православные.  
 Повсюду пчел жужжание в цветах душистых  
 слышится,  
 И рожь обильным колосом волнуется,  
 колышется.  
 Макар-бедняк утешился с женой надеждой  
 сладкою,  
 И пляшет, как помешанный, пред бабою  
 с присядкою;  
 Плясал, плясал и выплясал, и рвет  
 в досаде волосы:  
 Ударил град... и выбил все Макарушкины  
 полосы.

### IV

Макар печально думает: «Отправляюсь до  
 Симбирска я.  
 Есть у меня один талант: есть сила  
 богатырская;  
 Достались от родителя мне плечи  
 молодецкие,  
 И буду я таскать суда тяжелые купецкие».  
 Бурлачить стал Макарушка. Идет дорогой  
 долгою,  
 Знакомится под лямкою с кормилицею  
 Волгою.  
 Поет свою «Дубинушку» с тоскою  
 заунывною,  
 Домой же возвращается с одною медной  
 гривною.

### V

Прокляв купца-обманщика и дальнюю  
 сторонушку,  
 Идет Макар на торг в село, продать свою  
 буренушку.

Но ией ребята плакали, как будто  
о покойнике;  
 Жена бежала улицей в изношенном  
повойнике  
 И голосила жалобно, больная, истомленная:  
 «Прощай, моя скотинушка, прощай, моя  
кормленая!»  
 Макар, вернувшись, кается перед женою  
строгою:  
 «Я деньги за корову взял, да... потерял  
дорогою».

## VI

Жена его осыпала и бранью и упреками:  
 «Разбойник, простофиля ты! Как быть  
теперь с оброками?»  
 Уж сколько горя горького в замужестве  
испытала я?»  
 Я кашляю—и кровь течет из горла  
бледноалая...  
 Проси отсрочки подати!»—И гонит  
в исступлении.  
 Макар пошел на суд мирской; но  
в волостном правлении,  
 За недомки старые, как водится  
с Макарами,  
 Недешево отделался: побоями, ударами.

## VII

Макара пуще прежнего грызет нужда  
проклятая.  
 Вдруг слышит он: приехала помещица богатая,  
 Такая добродушная, такая сердобольная,  
 Собою величавая и страшно богомольная.  
 С народом обращается без хитрости,  
не с фальшею,  
 И величают все ее «почтенной генеральшею».  
 Макар-бедняк в хоромы к ней пришел за  
покровительством,  
 Но... выгнан был, как пьяница, ее  
превосходительством.

## VIII

Ошиблась крепко барыня. Не вор он и не  
пьяница,  
Да с горя и Макарушке понадобилась  
скляница.  
Идет в кабак Макар-бедняк нетвердою  
походкою.  
Залить свою печаль-змею усладой русской,  
водкою;  
Но баба-целовальница не верит в долг,  
ругается:  
«Вина-то здесь бесплатного для всех не  
полагается,  
Ступай назад, проваливай, не то скажу  
я сотскому!»  
И побежал Макарушка стрелой к леску  
господскому.

## IX

Лесочек был сосняк густой. Шумели сосны  
дикие.  
Поведал им Макарушка беды свои великие:  
Как жизнь прошла нерадостно, как  
бедствовал он смолоду,  
Как привыкал под старость он и к холоду  
и к голоду.  
Довольно жить Макарушке, пришлось  
бедняге вешаться...  
Но даже сосны старые над горемыкой  
тешатся:  
Он умереть собирается, из глаз  
слезинки выпали...  
Вдруг шишки, стукнув в голову, всего его  
осыпали.

# ТАИНСТВЕННЫЙ ЯМЩИК

(Крещенская баллада)

## I

Мечты печальные тая,  
В крещенский вечер еду я.  
Мне что-то страшно. Незнаком  
Я с молчаливым ямщиком.  
На нем истасканный тулуп  
И шапка старая. Как труп,  
Он бледен, мрачен, как мертвец...  
«Да погоний же, молодец,  
Пошибче! Скоро ли конец?»—  
«Близехонько, всего верст пять...»  
И замолчал ямщик опять.

## II

Все степь да степь—простор  
                            большой...  
И я с взволнованной душой  
Гляжу тайком на ямщика.  
Нигде не видно огонька;  
Лишь месяц нам издалека  
Попутно светит. Страшно мне  
В глухой, безлюдной стороне,  
И робко бредит мысль моя:  
Не с мертвецом ли еду я?  
«Да скоро ли?»—«Проедем мост,  
А там, близ станции, погост».

## III

Погост... кладбище... Чорт возьми!  
«Людмилау» я читал с детьми

И хохотал до слез. Теперь  
Мне не смешно. Свирепый зверь  
Не напугал бы так меня,  
Как мой ящик. Он, наклоня  
Тоскливо голову, дрожит,  
А тройка медленно бежит...  
Через кладбище путь лежит.

#### IV

Вдруг мой ящик махнул рукой  
И «со святыми упокой»  
Запел протяжно...

«Замолчи,

И не пугай меня в ночи!»—  
«Я не пугаю, я молюсь.  
Ты, господин, сиди—не трусь!  
Две версты живо промелькнут...»  
И мой ящик, отбросив кнут,  
Вдруг на кладбище побежал,—  
И видел я, как он лежал  
Там на могиле, весь в снегу,  
Потом вернулся, ни гу-гу,  
На козлы сел, кнутом махнул  
И тихо, жалобно вздохнул.

#### V

«Ящик!»—«Чего?»—«Скажи, о ком  
Молился ты сейчас тайком?»—  
«О муже...»—«Как?!»—«А почему ж  
Не помолиться, если муж  
Здесь погребен. Он в ящиках  
Служил и на моих руках  
Скончался. С парюю сирот  
Осталась я. Решил народ,  
Что я бабенка—не урод,  
Что у меня сильна рука:  
Могу служить за ящика...  
Ну, живы будем, не умрем...  
Теперь махнем по всем—по трем!»

## VI

От бабы получив урок  
В крещенский зимний вечерок,  
Теперь не верю в мертвецов,  
Но верю в женщин-молодцов..

*6 января 1883*

## КРАСНЫЕ РУКИ

### I

Красные руки, рабочие руки!  
Много узнали вы горя и муки,  
Много трудились вы ночью и днем  
В страшной заботе о «милом», о «нем».  
Знать, небеса справедливо решили,  
Чтоб эти руки все шили да шили,  
Хлеб добывая сперва для одной  
Бедной швеи, истомленной, больной,  
После — для двух: для нее и ребенка.  
Красные руки, бедняжка Оленка!  
Повесть твою (в назиданье для дам)  
Я неискусным стихом передам.

### II

Красные руки, рабочие руки  
Шили да шили, не ведая скуки.  
Было ли время скучать, и о чем?  
Жизнь для Оленки была палачом,  
Жизнь эта душу и тело губила;  
Все же Оленка ее полюбила  
И не боялась ее, палача,  
Швейной машиною бодро стуча.  
Если машина в ночи умолкала,  
Как ты ее задушевно ласкала,  
Доброе сердце пред ней не тая:  
«Обе уснем, горемыка моя!»

### III

Красные руки несли раз картонку.  
Вдруг нагоняет «с работой» Оленку  
Барин-красавец.—«Помочь вам, мамзель?»  
Что вы бежите быстрее, чем газель?  
Знаете, зверь есть такой?»—«Не  
слыхала...»—

И побежала она от нахала.  
Барин—за ней, в переулок, и там  
Он прикоснулся к горячим устам,  
Красные руки пожал он с любовью.  
Гордо Оленка нахмурилась бровью,  
Но... чрез полгода (ужасное «но»!)  
Было уж то, чему быть суждено.

### IV

Красные руки его обвивали,  
Страстные губы его целовали...  
Губы?.. Неловко! Не лучше ль «уста»?  
Впрочем, Оленкина повесть проста.  
Было бы дико и странно о многом  
Здесь выразаться торжественным слогом.  
Будем попроще. Не правда ли: да?  
Не осмеем мы святого труда?  
Труд обольщенной, несчастной Оленки  
Весь устремлен был тогда... на пеленки.  
Красные руки их шили тайком,  
С трепетом, с дрожью над каждым стежком.

### V

Красные руки все больше худели,  
Дни проходили, за днями—недели.  
Он не являлся. Когда же, порой,  
К ней забегал благородный герой,  
Холоден был он, не ласков, как прежде;  
Не говорил он о сладкой надежде  
С ней, «Красноручкой», всю жизнь  
провести;  
Мрачно твердил: «Извини и прости,  
Если тебе предлагаю, Елена,



Не упадать предо мной на колена:  
Неграциозно выходит, друг мой!  
Также... и красные руки умой.

## VI

Красные руки!.. Что может быть хуже?  
Ты, словно Гретхен, мечтаешь о муже.  
Другом ли, мужем ли буду, о том  
Мы объясниться успеем потом.  
Прежде всего откровенно обсудим:  
Как мы с руками ужасными будем?  
Личиком, ножкой и всем ты взяла.  
Жаль, что ручонка твоя не бела!  
Средства найдутся: лекарства, помады...  
Разве с тобой дикари мы, номады?  
Им не грешно эти руки иметь...  
Будет же плакать. Довольно, не сметь!»

## VII

Красные руки слезу утирали.  
Он говорил: «Мне в театр не пора ли?»  
Нынче Островского будет «Гроза»...  
И убегал. Закрывая глаза  
Красной рукою, Оленка стонала.  
...Бедная, бедная! Ты и не знала,  
Что нищета да мучительный труд  
Страх живущи: никогда не умрут.  
Глупая! Даже не знала того ты:  
Руки белеют всегда без работы.  
Руки, как лилни, чисты всегда,  
Если не знают святого труда.

## VIII

Красные руки с упорным стараньем  
Долго лечили себя «притираньем»,  
Чистились, мылись душистой водой:  
Так приказал Дон-Жуан молодой.  
Сладко жилось москвичу Дон-Жуану.  
Как, почему? Объяснять вам не стану.  
Но голодала бедняжка моя,

«Красные руки», Оленка швея.  
...Мальчик родился, красавчик—

в папашу...

Верю я слепо в «чувствительность» вашу:  
Жаль вам Оленки и жаль сироты?  
Мальчик, на свете не лишний ли ты?

## IX

Красные руки томишь ты собою,  
Делаешь мать подневольной рабою,  
Грудь истощаешь.. А грудь так плоска,  
Словно твоя гробовая доска.  
Лучше умри преждевременно, птенчик!  
Может быть, он разорится на венчик,  
Может быть, купит он гробик простой?  
...Нет, не ложися в могилку, постой,  
Здесь поживи, в этом мире широком,  
Будь для «папашы» жестоким упреком;  
Но, прижимаясь к родимой груди,  
Белые руки ласкать погоди!

## X

Красные руки, склонясь к колыбели,  
С каждым днем больше и больше грубели.  
Умер ребенок. За гробом одна  
Шла «краснорукая» мать — холодна,  
Мрачно сурова. Ей жизнь надоела.  
Часто машина стояла без дела.  
Бедность просилась: «стук-стук!» у дверей.  
«Мне умереть бы пора, поскорей!  
Милый придет—озирается букой,  
Злобно ругает меня «краснорукой».  
Батюшки-светы! Да кем же мне стать,  
Чтоб благородные руки достать?»

## XI

Красные руки остались, чем были,  
Койку в больнице «для бедных» добыли.  
Номер седьмой, пред кончиною, вдруг  
Стал образцом благороднейших рук.  
Смерть приближалась. В мгновения эти

Белые руки повисли, как плети.  
«Холодно, спрячь их!»—сиделка твердит.  
Нежно Оленка на руки глядит,  
Думает: «Боже! Теперь бы он встретил,  
Чистые руки сейчас бы заметил,  
К сердцу прижал бы меня от души..  
Как мои руки теперь хороши!»

## XII

Белые руки, изящные руки!  
К вам подошел «представитель науки»,  
Жрец Эскулапа. Пожавши плечом,  
Он усмехнулся: «Я здесь—ни при чем.  
Даром я бросил собрание наше...»  
И—погрузился опять в ералаше.  
Некто спросил: «Оторвали дела?»—  
«Да, белоручка при мне умерла.  
Знал ты ее, как мне помнится? Умер  
В злейшей чахотке седьмой этот номер».—  
«Нумер не мой. Невиновен здесь я:  
Красные руки имела моя!»

1882

## В БОЛЬНИЦЕ

Догорала румяная зорька,  
С нею вместе и жизнь догорала.  
Ты одна, улыбаясь горько,  
На больничном одре умирала.  
Скоро ляжешь ты в саване белом,  
Усмехаясь улыбкою кроткой.  
Фельдшера написали уж мелом  
По-латыни: «Страдает чахоткой».

Было тихо в больнице. Стучали  
Лишь часы с деревянной кукушкой,  
Да уныло березы качали  
Под окошком зеленой верхушкой...  
Ох, березы, большие березы!  
Ох, кукушка, бездушная птица!  
Непонятны вам жгучие слезы,  
И нельзя к вам с мольбой обратиться.

А ведь было же время когда-то,  
Ты с природою счастьем делилась,  
И в саду деревенском так свято,  
Так невинно о ком-то молилась.  
Долетели молитвы до неба:  
Кто-то сделался счастливым... Но, боже!  
Богомолку он бросил без хлеба  
На больничном страдальческом ложе.

Упади же скорей на подушку  
И скрести исхудалые руки,  
Допросивши вещунью-кукушку:  
Скоро ль кончатся тяжкие муки?  
...И кукует два раза кукушка.  
Две минуты—и кончено дело!  
Входит тихо сиделка-старушка  
Обмывать неостывшее тело.

## СОЛДАТСКИЙ КЛАД

### Рассказ

В кафтан изношенный одетый,  
Дьячок Иван сидит с газетой,  
Читает нараспев.

К нему подходят инвалиды;  
Они видали также виды,  
Они дрались в горах Тавриды,  
Врага не одолев.

И говорит один калека:  
«Читаешь ты, небось, про грека,  
Не то — про басурман?  
Скажи нам, братец, по газете:  
Что нового на белом свете,  
И нет ли драки на примете?  
Да не введи в обман!»—

«Зачем обманывать, служивый,  
Но за рассказ какой поживой  
Утешен буду я?  
Поставьте мне косушку водки,  
И, не жалея сильной глотки,  
Все, значит, до последней нотки  
Вам расскажу, друзья!»  
Друзья пошли в «приют веселья»;  
Они дьячку купили велья  
На кровный пятачок.  
И закипели живо речи:  
О митральезах, о картечи,  
Об ужасах седанской сечи  
Витийствовал дьячок.

«Теперь (сказал дьячок с усмешкой)  
Играет немец, будто пешкой,  
Французом. Наш сосед,  
Глядишь, и к нам заглянет в гости...»—  
«А мы ему сломаем кости,  
Мы загрызем его со злости.  
Храбрее русских нет!»—

«Старуха надвое сказала...  
Альма вам дружбу доказала:  
Фельдфебель без ноги;  
Ты, унтер, также петушился,  
Зато руки своей лишился;  
А Севастополь порешился:  
В него вошли враги».

Вздыхнули усачи уныло.  
И горько им, и сладко было  
При имени Альмы.  
Дьячок задел их за живое,  
Он тронул сердце боевое,  
И оба думают: нас двое,—  
Дьячку отплатим мы.  
«Послушай, человек любезный,  
Едали мы горох железный,  
А ты едал кутью.  
Есть у тебя и голосище,  
И в церкви служишь ты, дружище,  
И мы служили, да почище,  
В особую статью.

Егорья дали нам не даром,  
Им не торгуют, как товаром.  
А дело было так:  
Угодно, значит, было богу,  
Чтоб на попятную дорогу  
Мы отступали понемногу  
От вражеских атак.

Отдав врагу позицию нашу,  
Мы встали, заварили кашу:  
Солдатик есть здоров.  
И ели мы, ворча сквозь зубы:

На первый раз французы грубы,  
Они согрели нас без шубы,  
Паля из штуцеров.

Владимирцы и все другие,  
Все наши братья дорогие,  
Могли бы счет свести  
С французами. Да обманула,  
Ружьем кремневым всех надула  
Заводчица родная—Тула,  
Господь ее прости!

Настала ночь. «Петров, Фадеев!  
В ночную цепь, искать злодеев!»  
Мы, ружья на плечо,  
Идем—отборное капральство,  
Идем, куда ведет начальство,  
Вдруг рана у меня—канальство!—  
Заныла горячо..

Я ранен был, как видишь, в руку,  
Но затаил на время муку  
От наших лекарей:  
И дело смыслят, и не плуты,  
Да в обращеньи больно люты,  
Отрежут лапу в две минуты,  
Чтоб зажило скорей.

Тихонько говорю Петрову:  
«Ты по-добру, да по-здорову,  
А я... я ранен, брат!»  
Петров сказал в ответ сердито:  
«И мне ударили в копыто,  
Да это дело шито-крыто:  
Я схоронил мой клад».

И что ж? Подслушал, как лазутчик,  
Нас сзади молодой поручик;  
Он не из русских был;  
Хоть не какой-нибудь татарин,  
По-нашенски молился барин;  
Не то он—серб, не то—болгарин,  
Фамилию забыл.

Как бешеный, он вскрикнул дико:  
«Вы мертвых грабить? Покажи-ка  
Мне этот клад сюда.  
Скорей! Разбойников не скрою  
И вас сейчас, ночной порою,  
Сам расстреляю и зарюю  
Без всякого суда.

Вы—звери! Вы достойны плахи,  
Вы рады сдернуть и рубахи  
С убитых честных тел;  
Спокойно, не моргнувши бровью,  
Умоетесь родною кровью..  
А я, глупец, с такой любовью  
В Россию прилетел!

Кажь свой клад!»—«Да мне зазорно,—  
Сказал ему Петров покорно,  
Не чувствуя вины:—  
Я в ногу ранен, и, примером,  
Никоим не можим манером  
Стащить с себя пред офицером  
Казенные штаны».

Поручик обласкал нас взглядом.  
«И ты, Фадеев, с тем же кладом?  
Признайся, брат, не трусь!»  
А в чем мне было сознаваться?  
И без того мог догадаться,  
Что и безрукому подражаться  
Желательно за Русь.

Нас потащили в госпитали,  
И там, как водится, пытали,  
И усыпили нас  
Каким-то дьявольским дурманом  
И искалечили обманом,  
Чтоб не могли мы с басурманом  
Еще сойтись хоть раз.

Пошли мы оба в деревеньку,  
Где я оставил сына Сеньку,  
Лихого молодца.



Когда нагрянут супостаты,  
Сам поведу его из хаты  
И сдам охотою в солдаты—  
Подрагаться за отца.

А у Петрова—дочь девица.  
Бела, свежа и круглолица..  
Петров, не забракуй:  
По девке парень сохнет, вянет.  
И только мясоед настанет,—  
Не правда ли, товарищ?—грянет  
«Исаия, ликуй!»—

«Согласен, братец, с уговором,  
Чтоб не якшаться с этим вором.  
Дьячок, але-машир!  
На свадьбу ты имеешь внды,  
Но за насмешки и обиды  
Тебе отплатят инвалиды:  
Не позовут на пир

Мы не остались без награды  
За наши раны, наши *клады*,  
И, доживая век,  
Свои кресты с любовью носим,  
Людей напрасно не поносим.  
Засим у вас прощенья просим,  
Любезный человек.

И молвим снова, друг любезный:  
Едали мы горох железный,  
А ты едал кутью.  
Есть у тебя и голосище,  
И в церкви служишь ты, дружище,  
И мы служили, да почище,  
В особую статью».

1871

## ПЕРВЫЙ ГРОМ

Я весеннее раннее утро люблю:  
Чудно всходит оно над землею родной.  
И о том только бога усердно молю,  
Чтобы гром, первый гром загремел  
надо мной.

Оживится земля со своими детьми;  
Бедный пахарь на ниве вздохнет  
веселей...  
Первый гром, чудный гром, в небесах  
загреми  
И пошли дождь святой для засохших  
полей!

Как раскинется туча на небе шатром —  
Всколыхнется душа, заволнуется грудь...  
Первый гром, чудный гром, благодетельный  
гром,  
Для отцов и детей ты убийцей не будь!

Никого не убей, ничего не спали,  
Лишь засохшие нивы дождем ороси,  
Благодетелем будь для родимой земли,  
Для голодной, холодной, но милой Руси.

## СТАРОЕ И МОЛОДОЕ

(Из Гервега)

### I

Ты слишком молод. Рассуждать  
Тебе еще нельзя.  
Умей, как мы, дней светлых ждать  
Спокойно, не грозя.  
Да поклонись пониже нам  
И пыл в своей груди,  
Подобный бешеным волнам,  
Смири и остуди!

### II

Ты слишком молод. Все дела  
Твои ничтожны, верь!  
Мы слышим: речь твоя смела,  
И ты рычишь, как зверь.  
Но, в тесной клетке разъярясь,  
Не мучь страны родной  
И прежде череп свой укрась  
Священной сединой.

### III

Учись почтительно к седым  
Склоняться волосам.  
Пусть *пламя* обратится в *дым!*  
Пусть закуешься сам  
В вериги *опыта!* Потом,  
Разбив свои мечты,  
Бог даст, в отечестве святом  
Полезен будешь ты.

#### IV

— Вы правы, деды и отцы,  
Не смеем вас винить.  
Но вам, седые мудрецы,  
Грешно и нас казнить.  
Вы—стражи *прошлого*; оно ж  
Содержит вас в плену.  
Мы не поднимем меч и нож  
На вашу седину.

#### V

Но вслушайтесь и в нашу речь,  
Жрецы отживших каст:  
Кто может *будущность* сберечь,  
И кто ее создаст?  
Поверьте, люди древних лет,  
Без нас наступит тьма!  
Вы шли... И мы проложим след  
Под знаменем ума.

#### VI

Умом, наукой и трудом,  
Мы сбережем скорей,  
Чем вы, наш милый старый дом  
И наших матерей.  
А ваши дочери... Без нас  
Кто будет их любить?  
За что же нас в тяжелый час  
Вы вздумали губить?

#### VII

Но старцы слушать не хотят,  
Что любим мы добро.  
Седины их во тьме блестят,  
Блестят, как *серебро*.  
А мы *вперед* пойдем бодрей,  
Не внемля их речам,  
И *золотистый* шелк кудрей  
Раскинем по плечам.

## VIII

О, не казните молодежь  
    За гордый, вольный крик!  
В нем правду, может быть, найдешь  
    И ты, седой старик?  
Мы ценим славу и добро  
    Твоих минувших дней;  
Мы уважаем серебро,  
    Но золото... ценней!

КОНЬ  
(Из Барбье)

О Франция! Во время мессидора,  
Как дикий конь, ты хороша была,  
Не ведала, что значит бич и шпора,  
Стальной узды носить ты не могла.

Ничья рука к тебе не прикасалась,  
Чтоб оскорбить лихого скакуна;  
Под всадником враждебным не сгибалась  
Могучая широкая спина.

Как хорошо, как девственно-прекрасно  
Блистала шерсть, не смятая никем!  
Подняв главу, ты ржала громогласно,  
И целый мир был от испуга нем.

Но овладел скакуньею игривой  
Герой-центавр; пленился он тобой:  
И корпусом, и поступью, и гривой.  
Сел на тебя... И стала ты рабой!

Любила с ним ты разделять походы  
При свисте пуль, в дыму пороховом,  
И пред тобой склонились народы,  
Разбитые на поле боевом.

Ни день, ни ночь очей ты не смыкала,  
Работала без отдыха с тех пор,  
По мертвецам, как по песку, скакала,  
В крови по груди неслась во весь опор.

Пятнадцать лет, взметая поколения,  
Носилась ты на кровожадный пир,  
Пятнадцать лет в боях без сожаленья  
Копытами давила целый мир.

Но наконец, без цели и предела  
Устав скакать и прах в крови месить,  
Изнемогла и больше не хотела  
Топтать людей и всадника носить.

Под ним дрожа, шатаясь, умирая,  
Усталые колена преклоня,  
Взмолилась ты; но бич родного края  
Не пощадил несчастного коня.

На слабый стон он отвечал ударом,  
Бока сдвинул у лошади сильней,  
И в бешенстве неукротимо-яром  
Всю челюсть вдруг он сокрушил у ней.

Конь поскакал, но в роковом сраженьи,  
Невзнузданный, свой бег остановил,  
Упал, как труп, и при своем паденьи  
Он под собой центавра раздавил.

1867

## ШУТ

(Картинка из чиновничьего быта)

### I

В старом вицмундире с новыми заплатами  
Я сижу в трактире с крезами бородатыми.  
Пьяница, мотушка, стыд для человечества,  
Я—паяц, игрушка русского купечества.

«Пой, приказный, песни!»—крикнула  
компания. —

«Не могу, хоть тресни, петь без возняния».  
Мне, со смехом, крезы дали чарку пенного,  
Словно вдруг железы сняли с тела брэнного.  
Выпивши довольно, я смотрю сквозь

пальчики,

И в глазах невольно заскакали «мальчики».  
«Ох, создатель! Эти призраки унылые—  
Все родные дети, дети мои милые.

Первенца, Гришутку, надо бы в гимназию...  
(Дайте на минутку заглянуть  
в мальвазию!)

Сыну Николаю надо бы игрушечку...  
(Я еще желаю, купчики, косушечку!)

Младший мой сыночек краше утра  
майского...

(Дайте хоть глоточек крепкого ямайского!)

У моей супруги талья прибавляется...  
(Ради сей заслуги выпить позволяется!)»—  
«Молодец, ей-богу, знай с женой

пошаливай.

Выпей на дорогу и потом—проваливай!»



## II

Я иду, в угаре, поступью несмелою,  
И на тротуаре все «мыслете» делаю.  
Мне и горя мало: человек отчаянный,  
Даже генерала я толкнул нечаянно.  
Важная особа вдруг пришла в амбицию:  
«Вы смотрите в оба, а не то в полицию!»  
Стал я извиняться, как в театре комики:  
«Рад бы я остаться в этом милом домике;  
Топят бесподобно, в ночниках есть

фитили, —

Вообще удобно в даровой обители;  
В ней уже давненько многие спасаются..  
Жаль, что там маленько клопки кусаются,  
Блохи эскадроном скачут, как военные..  
Люди в доме оном все живут почтенные.  
Главный бог их—Бахус.. Вы не хмурьтесь  
тучею,  
Ибо вас с размаху-с я толкнул по случаю».  
И, смущен напевом и улыбкой жалкою,  
Гривну дал он, с гневом, погрозивши  
палкою.

## III

Наконец я дома. Житие невзрачное:  
Тряпки да солома—ложе наше брачное.  
Там жена больная, чахлая и бледная,  
Мужа проклятая, просит смерти, бедная.  
Это уж не грезы: снова скачут мальчики,  
Шепчут мне сквозь слезы, отморожив  
пальчики:

«Мы, папаша, пляшем, потому что голодно,  
А руками машем, потому что холодно.  
Отогрей каморку в стужу нестерпимую,  
Дай нам хлеба корку, пожалей родимую!  
Без тебя, папаша, братца нам четвертого  
Родила мамаша—худенького, мертвого...»

## IV

Я припал устами жадно к телу птенчика.  
Не отпел попами, он лежал без венчика.

Я заплакал горько... Что-то в сердце  
рухнуло...  
Жизнь птенца, как зорька, вспыхнувши,  
потухнула.  
А вот мы не можем умереть—и маемся.  
Корку хлеба гложем, в шуты нанимаемся.  
Жизнь—плохая шутка... Эх, тоска  
канальская!  
Пропивайся, ну-тка, гривна генеральская!

1866

## ПЕСНЯ О ДРЕМЕ И ЕРЕМЕ

По селу ходит Дрема. Коробейник Ерема  
Истомился и лег на полати;

А его-ста бабенка, спать уклавши ребенка,  
Молвит слово: «Чего пожелати?»—

«Пожелай мне, родная, чтобы выпил до  
дна я,

Хоть во сне, чарку водки хорошей.

Пожелай мне с любовью, чтоб не кашляла я  
кровью,

Нагибаясь под грузною ношей.

Пожелай также чуда, чтоб хозяин-нуда  
Уплатил мне по чести деньжонки»...

По селу ходит Дрема. Коробейник Ерема  
Засыпает под песенку женки:

«Спи, мой милый, желанный! Наш сынок  
бесталанный

В рост войдет—и умнее нас станет.

Не кручинься, мой светик! Наше детище-  
цветик,

Даст господь, не замрет, не завянет.

Я вот так разумею, что тебе, Еремею,  
Да и мне жить осталось мало.

Пожелать только надо, чтобы наше-то чадо,  
Пробираясь вперед, не дремало.

Я, ученая в школе, не привыкла к неволе  
И, ее завсегда проклиная,

Чую бабьим умншком, что над нашим  
сынишком

Зарумянится зорька иная.

А и в некую пору будет каждому вору  
На Руси жить отменно негоже;  
А и в некое время народится же племя,  
На людей-ста свободных похоже.

Выйдет парень рабочий и до воли охочий!»  
...И уснула над люлькой бабенка.  
Спит и бедный Ерема. Но не спит только  
Дрема  
И пугливо бежит от ребенка.

1882

## ЯМЩИК

(Из Владислава Сырокомли)

Мы пьем, веселимся, а ты, нелюдим,  
Сидишь, как невольник, в затворе.  
И чаркой и трубкой тебя наградим,  
Когда нам поведаешь горе.

Не тешит тебя колокольчик подчас,  
И девки не тешат. В печали  
Два года живешь ты, приятель, у нас;  
Веселым тебя не встречали.

«Мне горько и так, и без чарки вина,  
Не мило на свете, не мило!  
Но дайте мне чарку; поможет она  
Сказать, что меня истомило.

Когда я на почте служил ямщиком,  
Был молод, водилась силенка.  
И был я с трудом подневольным знаком,  
Замучила страшная гонка.

Скакал я и ночью, скакал я и днем;  
На водку давали мне баря.  
Рублевик получим и лихо кутнем,  
И мчимся, по всем приударя.

Друзей было много. Смотритель не злой;  
Мы с ним побратались даже.  
А лошади! Свистну—помчатся стрелой...  
Держися, седок, в экипаже!

Эх, славно я ездил! Случалось, грехом,  
Лошадок порядком измучишь;

Зато как невесту везешь с женихом,  
Червонец наверно получишь.

В соседнем селе полюбил я одну  
Деву. Любила не на шутку;  
Куда ни поеду, а к ней заверну,  
Чтоб вместе пробыть хоть минутку.

Раз ночью смотритель дает мне приказ:  
«Живей отвези эстафету!»  
Тогда непогода стояла у нас;  
На небе ни звездочки нету.

Смотрителя тихо, сквозь зубы, браня  
И злую ямщицкую долю,  
Схватил я пакет и, вскочив на коня,  
Помчался по снежному полю.

Я еду, а ветер свистит в темноте,  
Мороз подирает по коже.  
Две персты мелькнули, на третьей  
версте...  
На третьей... О, господи боже!

Средь посвистов бури услышал я стон,  
И кто-то о помощи просит,  
И снежными хлопьями с разных сторон  
Кого-то в сугробах заносит.

Коня понукаю, чтоб ехать спасти;  
Но, вспомнив смотрителя, трушу.  
Мне кто-то шепнул: на обратном пути  
Спасешь христианскую душу.

Мне сделалось страшно. Едва я дышал;  
Дрожали от ужаса руки.  
Я в рог затрубил, чтобы он заглушал  
Предсмертные слабые звуки.

И вот на рассвете я еду назад.  
Попрежнему страшно мне стало,  
И, как колокольчик разбитый, не в лад  
В груди сердце робко стучало.

Мой конь испугался пред третьей верстой  
И гриву вскосматил сердито:  
Там тело лежало, холстиной простой  
Да снежным покровом покрыто.

Я снег отряхнул—и невесты моей  
Увидел потухшие очи...  
Давайте вина мне, давайте скорей,  
Рассказывать дальше—нет мочи!»

## ЛЮБОВЬ И БИРЖА

(Из Каатса)

### I

В Меддельбурге это было. Похоронный  
звон уныло

В божью церковь призывал.  
Отпевали в ней поэта. Он ушел туда, где  
Лета

Тихо катит сонный вал.  
В одеянии убогом он уснул, прощенный  
богом;

Но, сурова и слепа,  
Пред поэтом волновалась и над мертвым  
издевалась

Беспощадная толпа;  
Он не думал о «червонце», воспевал  
«любовь» и «солнце»,

Леденел он, чуть дыша;  
Не имел он ассигнаций, воспевал каких-то  
Граций...

Жаль поэта-голыща!

### II

В Меддельбурге это было. Над покойником  
уныло

В церкви плакало дитя  
(Не совсем дитя: невеста), целомудренно,  
как Веста,

На меня взор обратя.  
Службу патер кончил вскоре, но не  
кончилась горе

В тайнике души больной:



На рассвете и в потемки чудный образ  
незнакомки

Все сверкал передо мной.  
Я писал к ней: «Умираю... Где найти  
дорогу к раю?»  
Мне без Пери рая нет!  
(Адрес там-то). Не отсрочьте и доставьте  
мне по почте—  
Жизнь или смерть—один ответ!»

### III

В Меддельбурге это было. Поэтически  
уныло

В небе плавала луна,  
И мелькала предо мною, озаренная луною,  
Дева чудная — она.—  
«Пери, дивное создание! Ты явилась на  
свиданье

С нежно-пламенным лицом;  
А давно ли ты страдала и отчаянно рыдала  
Над поэтом-мертвецом?»—  
«Он любил меня, как нищий; он меня  
телесной пищей

Никогда б не напичкал...  
Не создаст червонцев лира! Дочь богатого  
банкира—

Я имею капитал...»

### IV

В Меддельбурге это было. Друг спросил  
меня уныло:

«Не сошел ли ты с ума  
Или сделался поэтом?»—«Я—жених, и...  
под секретом...

У невесты денег тьма».—  
«Кто она, кто эта Пери?»—  
Обольстительная  
Мери,

Дочь банкира Фандерфлот.

Он богат; он крез».—«Едва ли! Мне на  
бирже толковали,  
Тесть твой будущий—банкрот».  
Как в светильнике без масла, вдруг любовь  
моя угасла:  
Без червонцев счастья нет.  
И ответил я по почте: «Наше счастье  
отсрочьте,—  
Вы бедны, а я—поэт».

## СКУТАРСКАЯ КРЕПОСТЬ

*Сербская легенда*

### I

Печально, задумчиво царь Вукашин  
По берегу озера ходит;  
Он тяжело вздыхает и с горных вершин  
Очей соколиных не сводит.  
Хотел он твердыню построить вдали,  
Опору для сербской прекрасной земли,  
Но злая нечистая сила  
По камню ее разносила.

\*\*  
\*

Никто Вукашину не может помочь:  
Работают все без измены,  
Что сделают днем, то развалится в ночь—  
Фундамент, и башни, и стены.  
И зодчие, в страхе молитвы творя,  
Толпами бегут за чужие моря:  
Царь выстроить крепость торопит,  
И головы рубит, и топит.

\*\*  
\*

Скутарское озеро плещет волной  
О берег со злобою дикой,  
И вот выплывает сам царь водяной  
И речь начинает с владыкой:  
—«Здорово, приятель, земной  
властелин!»  
К тебе выхожу из подводных долин,  
Услугой платя за услугу  
Любезному брату и другу.

\*\*  
\*

Сердечно за то я тебя полюбил,  
За то, Вукашин, ты мне дорог,  
Что в озере много людей утопил:  
По верному счету—сто сорок.  
Тяжелым трудом разгоняя тоску,  
Они мне построят дворец из песку,  
И царство подводное наше  
Блистательней будет и краше.

\*\*  
\*

Запомни же ныне советы мои:  
Несчастье можно исправить,  
Лишь женщину стоит из царской семьи  
Живую в стене замуравить,—  
И будет твердыня во веки сильна...  
А есть у тебя молодая жена,  
И братья твои, ведь, женаты...  
Решайся, не бойся утраты!»

\*\*  
\*

И царь возвратился домой: на крыльцо  
Идет он, как прежде, угрюмый.  
Но вдруг у него просняло лицо  
Зловещею, тайною думой:  
«Спасая от смерти царицу-жену,  
Из братьев моих одного обману,  
И крепость себе над горою,  
Сноху замуравив, построю.

\*\*  
\*

Брат средний Углеша разумен, толков,  
Не хуже меня лицемерит;  
Но младший брат Гойко совсем не таков,  
Он царскому слову поверит.  
По силе—он витязь, младенец—душой,  
И, нужно сознаться, хитрец не большой;  
Его обману я, слукавлю,  
Княгиню его замуравлю».

## II

За царскими братьями едут гонцы:  
 Они потешались охотой.  
 Сваливши медведя, пришли молодцы,  
 Смущенные тайной заботой:  
 Зачем их призывали? Быть может, теперь  
 И царь Вукашин разъярился, как зверь,  
 Недавно убитый сразмаху?  
 Быть может, готовит им плаху?

\*\*  
 \*

Но царь очень весел, сидит за столом,  
 Не морщит суровые брови,  
 Не учит придворных бичом и жезлом,  
 Не требует крови, да крови.  
 И братья смиренно к нему подошли,  
 Ударили оба челом до земли,  
 И оба промолвили разом:  
 «Явились к тебе за приказом».

\*\*  
 \*

— Приказ мой, о братья, храните от жен,  
 Храните до самого гроба!  
 Вы знаете, братья, чем я раздражен,  
 Какая свирепая злоба  
 Терзает мне душу, сосет как змея:  
 Не строится горная крепость моя.  
 Казну золотую я трачу,  
 А вижу одну неудачу.

\*\*  
 \*

Известно мне средство исправить беду,  
 Но стоит великой утраты.  
 От вас послушания рабского жду,—  
 Нас трое, и все мы женаты,  
 И наши подруги цветут красотой:  
 Царица моя—словно месяц златой,  
 Княгини—как звезды... Но вскоре  
 Постигнет их лютое горе.

\*\*

Из них кто пойдет на Баяну-реку,  
Домой во дворец не вернется,  
Ее на ужасную смерть обреку:  
Живая в стене закладется.  
И будет твердыня грозна и сильна,  
Врагов в нашу землю не пустит она.  
Нам дороги жены... Но, боже,  
Прости нас! — отчизна дороже.

\*\*

Ни слова об этом! Решит все судьба.  
Кто завтра придет на Баяну,  
Хотя бы царица, — она мне любя,  
По ней сокрушаясь, завяну, —  
Но первый, клянуся, возьму молоток  
И буду безжалостен, буду жесток:  
Царицу в стене замуравлю  
И крепость над нею поставлю!»

\*\*

Все трое клянутся молчанье хранить,  
Целуют святое распятие:  
«Да будет над тем, кто дерзнет изменить,  
Во веки господне проклятье!»  
И братья поспешно ушли из дворца;  
У них трепетали от страха сердца,  
А царь Вукашин усмехался,  
И ночью царице признался:

\*\*

— «Жена, не ходи на Баяну-реку,  
Домой во дворец не вернешься,  
Тебя на ужасную смерть обреку:  
Живая в стене закладешься!»  
И хитрый Углеша поведал жене,  
Кто будет на-утро заложен в стене.  
Лишь Гойко, поклявшись святыней,  
Молчал пред своею княгиней.

\*\*

Вот утро настало. Царица к жене  
Углеши пришла и сказала:

— «Невестушка, сильно неможется мне!»  
И — пальчик больной показала.  
«Сходи за меня на Баяну-реку,  
Обед отнеси моему муженьку».  
— «Охотно пошла бы, родная,  
Да ноги не ходят: больна я».

\*\*  
\*

И младшей невестке такие слова  
Сказала лукаво царица:  
— «Сегодня болит у меня голова,  
Сходи за меня, Гойковица,  
Сходи поскорей на Баяну-реку,  
Обед отнеси моему муженьку».  
— «Царица, дитя не обмыто,  
И платье мое не дошито».

\*\*  
\*

— «Пустой отговоркой меня не серди,  
Племянника-князя умою  
И платье дошью я... Поди же, поди  
К Баяне дорогой прямою!»  
Смеясь Гойковица на жертву идет,  
Дорогой веселые песни поет.  
И Гойко воскликнул, рыдая:  
— «Пропала жена молодая!»

\*\*  
\*

— «О чем же ты плачешь, скажи, не таясь?»  
Спросила княгиня. Рукою  
Махнувши, ответил задумчиво князь:  
— «Сегодня я шел над рекою  
И перстень алмазный в нее уронил,  
А как этот перстень был дорог и мил!»  
Смеется княгиня: — «Так что же?  
Мы купим другой, подороже».

\*\*  
\*

Ни слова в ответ. Опустивши глаза,  
Стоял он пред ней как убитый.  
А к ним приближалась в то время гроза:  
Царь ехал с вельможною свитой.  
С коня соскочивши, бежит он вперед.  
Княгиню за белые руки берет,

Приветствует грозно, сурово:  
— «Сноха молодая, здорово!

\*\*  
\*

Работники, плотники! Живо, сюда!  
Где зодчий придворный мой Рада?  
Ташите княгиню.. Не много труда,  
А знатная будет награда.  
По-царски я вас серебром награжу,  
Когда молодицу в стене заложу...»  
И царь молотком потрясает,  
И гневные взоры бросает.

\*\*  
\*

Княгине смешно показалось. Она  
Бежит легконогою серной,  
И думает: много хмельного вина  
Хватил Вукашин благоверный!  
Забавно княгиня играет, шалит,  
Себя на закладку поставить велит, —  
И вскрикнула весело, бойко:  
— «Простись же со мною, князь Гойко!»

\*\*  
\*

И князь обнимает жену горячо,  
Целует у бедной голубки,  
Целует стократно, еще и еще,  
И щечки, и глазки, и губки.  
— «Прощай навсегда, дорогая жена!»  
— «Прощай, мой хороший!» смеется она,  
Не зная предсмертной печали...  
Но вдруг молотки застучали.

\*\*  
\*

И вот до колен заложили ее,  
А все Гойковица смеется,  
И верить не хочет в несчастье свое,  
Стоит, как овечка, не бьется.  
До пояса плотники бревна кладут,  
Тяжелые камни княгиню гнетут.  
Тогда поняла Гойковица,  
Что сделала с нею царица.



\*\*  
\*

Не стонет кукушка средь горных вершин,  
Не крик раздается орлиный,  
То плачет княгиня: — «Спаси, Вукашин,  
Мой царь, повелитель единый!  
Здесь душно, здесь страшно в холодной  
стене...  
Князь Гойко! Скорее на помощь к жене!»  
Стена поднимается выше,  
А вопли все тише и тише.

\*\*  
\*

И водчему Раде она говорит:  
— «Оставь небольшое оконце,  
Чтоб видеть могла я, как в небе горит  
Прекрасное сербское солнце.  
Я буду смотреть на поля и луга  
И землю родную стеречь от врага.  
Увижу, хотя на минутку,  
И милого сына-малютку».

\*\*  
\*

И слезно она умоляет людей:  
— «Прошу вас, жестокие люди,  
Оставить оконце для белых грудей  
И вынуть две белые груди:  
Пусть будет питаться, от дяди тайком,  
Сынок мой Иова родным молоком!»  
И Рада, придя в умиление,  
Исполнил ее повеленье.

\*\*  
\*

Неделю в стене Гойковица жила  
И грудью младенца питала;  
В восьмые же сутки она умерла  
И грустно пред смертью шептала:  
— «Сынок мой Иова! Навеки прости,  
За мать Вукашину—убийце не мсти!  
Как сладко мне быть, умирая,  
Защитницей сербского края!»

5 мая 1871

## ТРИ ЛЕНТЯЯ

(Из Гримма)

Князек-добряк когда-то жил  
Спокойно, беззаботно,  
И ни о чем он не тужил  
И кушал очень плотно.  
Храня в душе своей покой,  
Он на дела махнул рукой,  
Министрам был послушен,  
И знали подданные все,  
Что лишь к копченой колбасе  
Князек неравнодушен.

Его высочество весьма  
Любил еще сосиски  
(«Без них он мог сойти с ума!» —  
Гласят одни «Записки»)  
Но, сверх любимой колбасы,  
Князь посвящал свои часы  
Трем принцам-малолеткам;  
Их удаляя от труда,  
Он был подобен иногда  
Заботливым наседкам.

И от начала до конца  
Поняв его уроки,  
Цыплята выросли в отца —  
Лентяи, лежебоки.  
Князек судьбу благодарил;  
Но вдруг желудок не сварил  
Копченую колбаску.  
Больной ложится на кровать,  
Велит детей к себе призвать,  
Предчувствуя развязку.

Князек со стоном говорит:  
«Плохая вышла шутка!  
Желудок пищи не варит,  
Я гибну от желудка.  
Кому же я оставляю трон?  
Вы любите считать ворон,  
Вы ленитесь на славу;  
Но кто ленивей из троих  
Детей возлюбленных моих,  
Тому отдам державу».

Слезу печально уронив  
На батюшкино ложе,  
Воскликнул старший: «Я ленив,  
Мне лень всего дороже,  
Мне жизнь без лени не красна:  
Когда наступит время сна,  
Когда под кровом ночи  
Храпит измученный народ,  
И я во весь зеваю рот,  
Но лень закрыть мне очи!»

«И я лентяй большой руки! —  
Второй князек воскликнул:  
Болтает братец пустяки:  
Он к лени не привыкнул.  
А я по совести скажу:  
Когда пред печкою сижу,  
В лицо мне пышет пламень.  
Но удалиться от огня —  
Большая трудность для меня:  
Не двигаюсь, как камень».

Воскликнул младший ротозей:  
«Моя, моя корона!  
Из всех ленивейших князей  
Один я стою трона.  
Когда, народ ожесточа,  
Я был бы в петле палача  
И нож бы дали в руки,  
Чтоб петлю перерезал я, —  
Не двинется рука моя  
От лени и скуки».

Князек, душою умилясь,  
Схватила сына в объятья.  
«Ты всех ленивей, младший князь,  
Тебя не стоят братья!  
Тебе достанется мой трон!  
Владея им, считай ворон,  
Пей вдоволь, кушай жирно,  
Люби сосиски с ветчиной,  
И процветет наш край родной,  
Как цвел при мне он мирно».

*20 января 1872*

## НЯНИНЫ СКАЗКИ

Вспомнил я нянины старые сказки,  
Мальчик пугливый, пугливее лани.  
Ждал я хорошей, спокойной развязки  
Чудных рассказов заботливой няни.

Я был доволен, когда от чудовищ  
Храбрый Иван-королевич спасался;  
С ним я, искатель несметных сокровищ,  
В царство Кощея под землю спускался.

Если встречался нам Змей шестиглавый,  
Меч-кладенец вынимал я и в битву  
Смело бросался и бился со славой,  
После победы читая молитву.

Бабы-яги волшебство и коварство  
Мы побеждали с улыбкою гневной,  
Мчались стрелой в тридцатое царство,  
Вслед за невестой, за Марьей-царевной.

Годы прошли... Голова поседела...  
Жду я от жизни печальной развязки.  
Няня, которая так мне радела,  
Спит на кладбище, не кончивши сказки.

Грустно могилу ее обнимаю,  
Землю сырую целую, рыдая.  
Сказки твои я теперь понимаю,  
Добрая няня, старуха седая!

Я — не Иван-королевич, но много  
В жизни встречалось мне страшных  
чудовищ;

Жил и живу безотрадно, убого,  
Нет для меня в этом мире сокровищ.

Тянутся грустно и дни и недели;  
Жизнь представляется вечным  
мытарством.

Жадные люди давно овладели  
Славной добычей—Кашеевым царством.

Змей, как и прежде, летает по миру  
В образе хитрого грешника Креза.  
Молятся люди ему, как кумиру,  
Золота просят, чуждаясь железа.

Баба-яга (безысходное горе)  
В ступе развозит и холод и голод;  
В ступе ее я, предчувствую, вскоре  
Буду раздавлен, разбит и размолот.

Солнце, как факел, дымит, не блистая;  
В сумрак вечерний народы одеты..  
Марья-царевна, свобода святая,  
Зорюшка наша! Да где же ты? Где ты?

*13 сентября 1878*

## НЕ Я ПОЮ

### I

### II

Не я пою — народ поет.  
Во мне он песни создает;  
Меня он песнею связал,  
Он ею сердце пронизал  
И братски-нежно приказал  
О зле и радостях в тиши  
Петь, по желанию души.  
Народом песня создана,  
И электрически она  
На душу действует мою,  
И я, бедняк, ее пою.  
Я только эхо песни той  
Святой, младенчески-простой.  
Я только ею грею кровь,  
При ней лишь чувствую любовь.  
Отрадно сердцу моему,  
Когда к груди своей прижму  
Десницу брата: под рукой  
Трепещет грудь моя с тоской;  
Но с верой в близость лучших дней  
В груди становится вольней.  
...Так создается песня в ней!

### III

Не я пою — весь мир поет;  
Во мне он песни создает,  
И вижу я его красу  
В родной реке, в родном лесу.  
Когда они заговорят,  
Когда помчится тучек ряд,

Когда вдруг ветерок порхнет —  
С души спадет тяжелый гнет,  
И я, открывши грудь мою,  
Гостей свываю и пою.  
Мои мечты, слетев ко мне,  
В моей душевной глубине  
Не могут поместиться в ряд,  
И беспорядочно шумят,  
И веселят меня игрой,  
Шумят-жужжат, как пчелок рой,  
Пророчат много светлых дней,  
И дышит грудь моя полней.  
...Так создается песня в ней!



## ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

*Картинка*

*(Из Вл. Сырокомли)*

Старая дева близ церкви жила,  
Богу молясь понемножку,  
И на потеху себе завела  
Моську, соседа и кошку.  
Славное, мирное было житье;  
Время текло беззаботно.  
Деву собачка и кошка ее  
Слушали очень охотно.  
Дева любила чесать язычок...  
(Правда, подчас, за рассказом,  
Кошка, собачка и гость старичок  
Трое дремали все разом).  
Хитрый сосед был себе на уме:  
Он, соблюдая учтивость,  
В руку зевал при соседке-куме,  
Ловко скрывая сонливость.  
Если всхрапнет иногда, невзначай,  
Все же ответит он метко.  
— «Так ли, сосед, говорю? Отвечай!»  
— «Так, дорогая соседка!»

\*\*  
\*

— «Слушайте, друг мой! Ассессор-ворчун  
Мне сообщил по секрету:  
Земским судам зададут карачун;  
Всех их притянут к ответу.  
С мертвого взятку готов получить  
Каждый, желая быть Крезом.  
Нужно б таких лиходеев учить  
Палкой, дубинкой, железом!  
Правду святую открыть вам могу.

Тайны судейские зная,  
Но... не хочу, никому ни гу-гу!  
Слишком не кстати скромна я...  
Здесьний исправник с кого-то слупил;  
Дрянь и его писаришки:  
«Игрек» неделю «мертвецки» все пил;  
«Зет» проигрался в картишки.  
Бог с ними! Пусть доживают свой век,  
Правдой и честью играя!  
Дело известное: плут-человек,  
Это — не ангел из рая.  
Лишь за собой я прилежно смотрю,  
А за приказными — редко...  
Так ли, соседушка, я говорю?»  
— «Так, дорогая соседка!»

\*\*  
\*

— «Сплетни болтают у нас без стыда.  
Как только лгать не устанут!  
Слушаешь, слушаешь... Просто беда, —  
Уши краснеют и вянут.  
Барыня купит красивый чепец  
И на затылок напялит.  
Люди увидят, — делу конец:  
Барыню сплетня ужалит.  
Сплетня по свету бежит, как волна.  
Тайный грешок обнаружа.  
«В новый чепец нарядилась жена  
Не для рогатого мужа».  
«Нрав у нее неприличный, дескать!»  
Молвят все кумушки хором.  
Станут любовника зорко искать,  
Ночью и днем, под забором.  
Это — ошибка. Какой тут забор!  
Вам доложу без огласки:  
Барынька эта, явившись в собор,  
Франтикам делает глазки.  
Впрочем, ее за грехи не корю:  
Это — простая заметка...  
Так ли, соседушка, я говорю?»  
— «Так, дорогая соседка!»

\*\*  
\*

— «Сгинь, пропади, клевета-болтовня!  
Я задыхаюсь от злости.  
Сплетни сдавили всю грудь у меня.  
В горле стоят, будто кости.  
Сплетни, исчадье мирской суеты,  
Рада бы вас не слышать я!  
Все говорят, что символ чистоты —  
Девичьи белые платья...  
Скромность! Невинность! Вчера, за стеной,  
Белое платье мелькало.  
Верно, мужчину, отец мой родной,  
Платьице это искало?  
Глазки так чисто, так ясно горят,  
Светом невинным блистая...  
Просто—Мадонна! Однако, навряд  
Это — Мадонна святая?  
Знаем мы этих невинностей, да!..  
Если, соседушка милый,  
Ты мне убавишь немножко года  
Чудной, волшебною силой, —  
Эту кокетку легко усмирю,  
Спрячется в угол кокетка...  
Так ли, соседушка, я говорю?»  
— «Так, дорогая соседка!»

\*\*  
\*

— «Славить, хвалить, не желая себя,  
Вспомню о прошлом, о старом.  
Юноши, пылко меня полюбя,  
Просто горели пожаром.  
Я издевалась над ними; они  
Гордость мою уважали;  
Но — промелькнули цветущие дни,  
Все женихи убежали.  
Где женихи? — Костылями стучат,  
(Стук костылей неприятен!)  
Или качают детей и внучат...  
(Свет современный развратен!)  
Верьте, голубчик, что нынешний свет  
Душу для девочек губит;

Кроме вакханок шестнадцати лет,  
Он никого не полюбит.  
Нынешний свет не браню, не виню...  
Скромно спрошу: для кого же  
Я, как весталка, с любовью храню  
Чистое девичье ложе?  
Я, потерявшая в жизни зарю,  
Волосы крашу нередко...  
Так ли, соседка, я говорю?»  
— «Так, дорогая соседка!»

\*\*

— «Ложь, клевета! Старикашка ты сам!  
Это тебе не простится.  
Буду, в угоду святым небесам,  
Долго, усердно поститься.  
Буду молиться всю ночь напролет,  
Слова не молвлю худого.  
В виде награды создатель пошлет  
Мне жениха молодого.  
Буду красивей, любезнее всех,  
Вкус мой изящен и тонок.  
Я подыму непременно на смех  
В танцах негодных девчонок.  
Нынче я стала, живя с простотой,  
Немошной, слабой, убитой...  
Но (между нами!) Антоний Святой  
Будет моею защитой:  
Юность и свежесть он мне сохранит,  
Снова румянчиком вешним  
Вспыхнет поблекшая прелесть ланит —  
В пику красавицам здешним.  
Снова себе женихов покорю,  
Страшная буду кокетка...  
Так ли, соседка, я говорю?»  
— «Так, дорогая соседка!»

## ВЕКОВЕЧНАЯ СТАРУХА

Бедность проклятую знаю я смолоду.  
Эта старуха, шатаясь от голоду,  
В рубище ходит, с клюкой, под окошками,  
Жадно питается скудными крошками.  
В диких очах видно горе жестокое,  
Горе тоскливое, горе глубокое,  
Горе, которому нет и конца...  
Бедность гоняют везде от крыльца.

Полно шататься из стороны в сторону!  
Верю тебе я, как вещему ворону.  
Сядь и закаркай про горе грядущее,  
Горе, как змей ядовитый, ползущее,  
Горе, с которым в могилу холодную  
Я унесу только душу свободную;  
Вместе же с нею в урочном часу  
Я и проклятье тебе унесу.

Не за себя посылаю проклятия:  
О человеке жалею — о брате — я.  
Ты надругалась руками костлявыми  
Над благородными, честными, правыми.  
Сколько тобою миллионов задавлено.  
Сколько крестов на могилах поставлено!  
Ты же сама не умрешь никогда,  
Ты *вековечна*, старуха-нужда!

## ВЕЛИКИЙ МУЖ

(Из *Вл. Сырокомли*)

«Великий муж, ... читаю я в газете, —  
Отправился ad patres...» Вот беда!  
Что этот муж существовал на свете,  
Не ведал я, клянусь вам, господа!  
Богатые скрываются в могилах,  
Но и туда, угаснув, вносят спесь;  
А я, бедняк, покуда мыслить в силах,  
Мечтаю так, что не угасну весь,  
Что хоть денек после моей кончины  
Я в песенках моих останусь жив,  
Что вы, друзья, в минуту злой кручины  
Припомните тоскливый их мотив.

Но, может быть, мечтаю я напрасно  
И дерзостно? Простите мне, друзья!  
Мечтать — не грех. Мечтают безопасно  
И пахари и гордые князья.  
Мечтает тот, кто орошает потом  
Свой тяжкий труд. Мечтает и богач...  
Иди пешком, отдавшись заботам,  
Или помчись в карете барской вскачь, —  
Не все ль равно? Одной достигнешь цели,  
Отправившись в сырую землю-мать,  
С той разницей, что я в досках из ели  
На кладбище улягуся дремать,  
А ты уснешь, великих дел сподвижник,  
Муж доблестный, под мраморной плитой!  
А надо мной увесистый булыжник  
Окажется близ сосенки густой.  
Там — кипарис, а здесь — сосна... Но вздохом  
Безумно я не выражу тоски:  
Булыжник мой покроется лишь мохом,  
А мрамор твой рассыплется в куски.

## БУЙНОЕ ВЕЧЕ

(Из «Записок земца»)

...И часто  
Я отгадать хотел, о чем он пишет:  
О грозном ли владычестве татар?  
О буйном ли новгородском вече?

*Пушкин.*

Гой еси, читатель! Слушай, человек,  
Некое сказанье о недавнем вече...

.....

За столом сидели умные «особы»  
И решали плавно, чинно и без злобы  
О хозяйстве сельском хитрые вопросы.  
Это были «наши». Это были «россы»,  
Люди с головами, все экономисты.  
Помыслы их были радужны и чисты,  
Как душа младенца; взоры—не свирепы;  
Ибо, рассуждая о посадке репы  
Или о горохе самым важным тоном,  
Трудно быть Маратом, трудно быть Дантоном.  
Даже сам картофель, скажем для примера,  
Может ли из земца сделать Робеспьера?  
Но, на всякий случай, средь экономистов  
Важно поместился местный частный пристав,  
Ради ли хозяйства, или ради страха,—  
Это предоставим веденью аллаха.

«Съехались сюда мы из пяти губерний  
(Начал Клим Степаныч) с целью, чтоб из терний  
Вырастить пшеницу. Важная задача!  
Что теперь хозяйство-с? Это... это кляча  
Жалкая, худая, без ума, без силы:

Где копытом топнет—выроет могилы,  
Где лягнет ногою—вырастет терновник...  
Словом: эта кляча есть прямой виновник.  
Наших зол и бедствий, нашего банкротства,  
Так сказать, источник «русского сиротства».  
К вечу обращаюсь я с мольбою рабской:  
Пусть из русской клячи выйдет конь арабский,  
Гордый и свободный! Пусть на русском поле  
Золотистый колос нежится на воле...»—

«Ваше выраженье не совсем удачно!»—  
Молвил частный пристав, брови хмурия мрачно.—  
Нужно, Клим Степаныч, быть поосторожней!  
Здесь я представляюсь нравственной таможеней,  
Так сказать—заставой... в идеальном роде.  
Говорите больше, больше о народе,  
О народных пользах, о народном благе,  
Но не повторяйте в буйственной отваге  
Эти каламбуры, «экивоки», «вицы»...  
У меня, заметьте, жестки рукавицы!  
Я имею право, Клим Степаныч... Впрочем,  
Вас «призвать к порядку» мы еще отсрочим.  
Смело объясните, но без красноречия:  
В чем лежит основа сельского хозяйства?»—

«В чем? Но очень просто-с: в трезвости народной!—  
Молвил Клим Степаныч с миной благородной.—  
Наш мужик шпичужка. Это всем известно.  
Кабани находити пиниче похвастливо,  
И напротив риндет сельский обыватель,  
Что его марает чересчур создатель:  
Сам он и том пиночен, небо раздражая,  
Что ему создатель не дал урожая...»—  
«Что грех какой же?»—кто-то молвил с места.—  
«Я не разумею вашего протеста!—  
Отвечал оратор, улыбаясь кротко.—  
Грех сей всем известен. Это... это водка.  
От нее—и лень, от нее пороки,  
От нее и трудность собирать оброки;  
От нее и царство наше без кредита...  
(Частный пристав что-то промычал сердито).  
У меня, примерно, есть наделов триста.  
Правда, что земелька больно неказиста,—



Кое-где песочек, кое-где болотца;  
Но мужик с природой мог бы сам бороться!  
У него есть руки. Но и думать даже  
Пьяница не хочет вовсе о дренаже.  
Эта неподвижность, эта закоснелость,  
Я боюсь, разрушит в государстве целостность...»—  
«Вы... о государстве?! Ради бога, тише!—  
Вскрикнул частный пристав.—Велено так свыше.  
Мы о сем предмете ничего не скажем,  
А займемся снова водкой и дренажем...»—

«Весь вопрос исчерпан!— грянул вдруг октавой  
Водочный заводчик, земец тучный, бравый.—  
Водка есть, конечно, горе для народа,  
Но ее велит нам пить сама природа.  
Если (с сильным чувством продолжал оратор),  
Если попадем мы, чудом, под экватор,  
Ну, тогда мне с вами можно быть согласным:  
Водку что за радость пить под небом ясным?  
Там растут бананы, пропасть винограду,  
А у нас лишь водка всем дает отраду.  
Там, на солнце нежась, зреют апельсины,  
А у нас в уезде—ели да осины...  
Полус и экватор—разница большая.  
Мы, родным напитком сердце утешая  
И живя под снегом, здесь, в Гиперборее,  
Чувствуем, что водка делает бодрее  
Русского героя, русского пейзажа...  
Здесь ведь не экватор-с, даже не Лозанна!  
Каждый добрый русский к водке меньше жаден,  
Если он приедет даже в Баден-Баден;  
Но туда не часто ездят пошехонцы,  
Для вояжа нужны звонкие червонцы,  
А у нас их мало; но на рубль кредитный  
Можно выпить водки славной, аппетитной  
(Я мои изделия вам рекомендую)...  
А за Русь святую я и в ус не дую:  
Все снесет, все стерпит добрая старуха!  
Горе унесется к небу легче пуха...  
Заявляю вечно прямо, без коварства,  
Что налог питейный—щит для государства...»—  
«Вы... о государстве?!»—грянул частный  
пристав.

Взор его был мрачен, голос был неистов.  
Все затрепетали, выслушав угрозу,  
И—ragdon!—решились перейти... к навозу.  
(Слово это грубо, дерзко, неопрятно,  
Но для русских земцев столько же приятно,  
Столь же благозвучно, как «fumier» французу,  
Если он захочет беспокоить Музу).

Сидор Карпыч начал, с целью примиренья:  
«Вовсе несподручно жить без удобренья.

Это всем известно, это аксиома.  
У меня в деревне есть мужик Ерема.  
У сего Еремы чахлах две лошадки,  
И дела Еремы очень, очень шатки;  
У сего же кума, у бедняги Прова,  
Только и осталась бурая корова,  
Да и ту, я слышал, вскоре он утратит,  
Ибо государству подати не платит...»—

«Вы... о государстве?! Как же это можно?—  
Вскрикнул частный пристав злобно и тревожно.  
Несколько убавьте пыл ваш либеральный,  
А не то... на свист мой выгянет квартальный.  
(Чтоб пресечь мгновенно злобные баклуши,  
Он стоит за дьерью, наостривши уши).  
Впрочем, не желая вас послать на полюс,  
От дальнейших прений я уж вас уволью-с...»—  
Кара Богданяч (немец, сильно обрусевший,  
Давно бутерброды неохотно свиний,  
Давно гинорящий вместо «эти» «эйти»)  
Утверждал хозяйство на бакинской нефти.  
«Нефть свистет хозяйство, нефть сго осветит.  
Ране лишь незрячий факта не заметит,  
Что теперь, при нефти, менее поджогов,  
Что она потребна для палат, острогов,  
Барских кабинетов и бобыльской кельи,  
Что она удобна и при земледельи,  
Ибо (Кара Богданяч очень любит «ибо»)  
Каждый русский нахарь скажет ей спасибо,  
Смазывая нефтью ось своей телеги...  
Мы не азиатцы, мы не печенегил  
(Так гремел оратор). Нефть необходима.  
«В дни новгородца храброго Вадима

Русь еще не знала нефтяных заводов,  
Ибо представляла сонмище народов  
Диких и свирепых...»—говорит Устрялов.  
Сей Вадим, прапращур наших либералов,  
Как они, был неуч. Сей республиканец  
Знал один лишь деготь...»—

«Вы, как иностранец,—  
Крикнул частный пристав,—целы, невредимы.  
Мне подсудны только русские «Вадимы».  
Ваша речь, явившись в нашем протоколе,  
Русского могла бы водворить и в Коле;  
Но за эту дерзость, за такое слово,  
Вашу братию гонят... через Вержболово!»—  
Бедный Карл Богданыч, проворчавши под нос,  
Низко поклонился...

«Эвто как угодно-с,  
Но за нефть держаться я имел причину...»—  
«Я за соль держуся...»—

«Я же—за овчину...»—  
«Соль нужна в хозяйстве...»—

«Да-с. Но за овечку  
Следует поставить пред иконой свечку...»—  
«Да-с. Но для овечки нужен свежий клевер;  
Если этой травкой мы засеем север...»—  
«Да-с. Нам поработать нужно над лугами,  
Также над коровой, и над битюгами:  
В битюгах вся сила!»—

«Да-с. Битюг—битюгом,  
Но займитесь прежде, Петр Игнатьич, плугом...»—  
«Вы, Авдей Авдейч, совершенно правы,  
Но исправьте прежде нравы, нравы, нравы...»  
«Эх, куда хватили, батенька, ей-богу!  
Предоставим нравы исправлять острогу.  
«Нравы» нам известны-с. Это—не новинка.  
Нам не нравы нужны-с. Нам потребна свинка.  
Нет на свете лучше бекширской породы!  
Так решил весь Запад, то есть все народы..  
Чем же мы их хуже... в свиноводстве,  
право?»—  
...Вече зашумело: «Браво, браво, браво!»

«Мы златою пчелкой Русь обезопасим!—  
Грянул, протестуя, вдруг отец Герасим.—

В оном свиноводстве слишком мало толку...  
Главное забыли: мы забыли пчелку.  
Пред почтенным вечем утаить могу ль я  
Важное значенье для хозяйства улья?  
Карамзин глаголет, что во время оно  
Украшал сей улей дорогое лоно  
Матушки-России. Такжеже Советов  
Много дал изрядных о пчеле советов.  
Гавриил Державин пел: «Пчела золотая!»  
Без нее несладок чудный дар Китая,  
Сиречь, чай цвсточный... Нужен воск, понеже  
Токмо анархисту, злобному невеже,  
В храмах не известны свечи восковые...  
У одной просвирни, у одной вдовы, я  
Видел ульев сорок... И сия вдовица  
С них собирает «взяток», якобы царица  
С подданных...»—

«Позвольте,—молвил частный пристав,—  
Вас самих причислить к сонму анархистов.  
Ваши рассужденья, батюшка, отсрочьте,  
А не то владыке донесу по почте!»—  
Батюшка смутился, потупивши очи,  
Ибо частный пристав был мрачнее ночи.  
Добрый шеф уездный (то есть предводитель)  
Молвил очень кстати:

«Кушать не хотите ль?»

В грязь челом не лягу даже при султানে:  
Так отменно вкусны караси в сметане!»—

«Сельское хозяйство еле-еле дышит.  
Что его шатает? Что его колышет,  
Как былинку в поле?—Барская рутина!—  
Так один из земцев, пасмурный детина,  
Твердо вставил слово.—Силой красноречья  
Вас, народолюбцы, не могу увлечь я.  
Это и не нужно, добрые сеньоры!  
Ни к чему не служат наши разговоры,  
Ни гроша не стоят съезды и «дебаты»:  
Будем ли прямыми, если мы горбаты?  
А ведь мы... горбаты! Мы перед народом  
Вечно, вечно будем нравственным уродом.  
Да-с, «дебаты» наши лишь игра в бирюльки.  
Мы играем вечно, начиная с люльки

До сырой могилы, волею народа,—  
Видим в нем лентяя, пьяного уroda,  
Или же, напротив, в нем «героя» видим...  
Это по-латыни—idem et per idem,  
Наш народ—не мальчик, вас самих поучит,  
Если.. если голод в досталь не замучит  
Вашего «героя», вашего «пьянчужку».  
Слез о нем не лейте ночью на подушку:  
Слезы крокодила—это не алмазы.  
Хлеб народу нужен, а не ваши фразы.

Мы стоим высоко и кричим с вершины:  
«Проводи дренажи, заводи машины,  
Распростиись с системой старою, трехпольной,  
Ведь теперь, голубчик, человек ты вольный!  
По тебе мы страждем либеральной болью,  
Ибо ты не знаешь, сколь полезно солью  
Питие и пищу приправлять скотине.  
Ангел мой, не следуи дедовской рутине!  
Миленький, скорее заведись ты пчелкой!  
Бедненький, зубками с голоду не щелкай!»—  
Так поем мы песни, слаще канареек...  
А ведь хлеб-то черный стоит пять копеек!  
Не стократ ли лучше, чем играть в бирюльки,  
Этот стол назначить для вечерней пухли?  
Или, как сказал наш добрый предводитель,  
Карася в сметане скушать не хотите ль?  
Или, сознавая русские мытарства,  
Голод, холод, бедность, гнет для государства...»—  
«Так лишь рассуждали в запорожской сече!»—  
Рявкнул частный пристав...

И закрыл он вече.

1881

## ИЗ ПРЕРАДОВИЧА

### *1. Два сердца*

Волнуется синее море,  
А по морю лодка плывет;  
А в лодке — на счастье и горе —  
Два сердца стремятся вперед.  
Два сердца сливаются в душу  
Одну — навсегда, навсегда;  
Им хочется выплыть на сушу,  
Но вместе им смерть — не беда!  
И храброе сердце все стонет:  
«Мне страшно! Раскатистый вал  
Нас к берегу — в рабство — пригонит  
Иль в море убьет наповал»...  
А робкое сердце смеется:  
«О чем же, мой милый, тужить?  
И в рабстве проклятом придется  
С тобою мне весело жить!»

### *II. Звездный хоровод*

На лазурном небосводе  
Звезды ходят в хороводе;  
Все столпились в тесный ряд,  
И о страннице печальной,  
О Земле многострадаальной,  
Робко, нежно говорят.

Тихо молвила Денница:  
«Наша бедная сестрица  
И печальна и темна.  
Не судите Землю строго:  
У нее заботы много,  
Истомилась она.

Сколько ног босых блуждает,  
Твердой почвы ожидает  
На мельчайшей из планет!  
Сколько рук там крепких страдает  
И работы алчет, жаждет,  
А работы — нет как нет!

Сколько там сердец с любовью,  
Обливающихся кровью  
И болящих за народ!  
Не будите Землю! Тише!»  
И, смотря на Землю свыше,  
Разошелся хоровод.

## МОГИЛЬЩИК

(Из *Вл. Сырокомли*)

Гроб стоит в костеле, и органа звуки  
Слышны издалека. Нищих хор поет.  
Пьяненький могильщик, опустивши руки  
На тяжелый заступ, речи с ним ведет:  
— «Ты, почтенный заступ, служишь мне  
исправно!  
И песок, и глина знают твой удар...  
Раз... два... три... четыре... Вырыл ты недавно  
Две могилы хлопам, столько же для бар.  
И теперь скончался пахарь небогатый.  
Знать, ему такая доля суждена?  
Он ребят оставил: был мужик женатый...  
Бедные сиротки, бедная жена!  
Ну, да что бабенка! Знаем вдовье дело:  
Молится и хнычет, а потом тайком...  
Экой я философ! Рассуждаю смело,  
Потому что, грешник, нынче... под хмельком.  
Кто-нибудь, примерно, побродив по свету,  
Кончится: могилау живо смастеришь...  
Меньше человеком, человека нету, —  
Кажется, потеря? А, глядишь, барыш.  
Божие подобье — человек разумный;  
Так его не бросишь, как бросают скот...  
И звонарь получит за трезвон свой шумный,  
И на гроб, на свечи явится расход.  
Ксендзу, за молитвы, попадет копейка,  
Нам — за то, что яма вышла хороша.  
Каждому — доходец... Смерть, хоть лиходейка,  
А приносит людям пропасть барыша.  
Что один теряет на земле с кручиной,  
То другой находит: бог премудр и благ...



А в могиле тело делается глиной;  
 Остов человека распадется в прах;  
 Змейка вокруг младенца обовьется нежно;  
 Мышь чрез ухо влезет в череп мудреца,  
 Съест мозги и деток выведет прилежно,  
 И довольна будет милостью творца.  
 Эх, кажись я плачу?.. Молваю без досады:  
 Не один же создан человек с душой!  
 Всемогущим также созданы и гады,  
 И они имеют аппетит большой.  
 Трусами людскими «ближний» поживится;  
 Прах и кости станут пылью гробовой,  
 А от этой пыли почва утучнится  
 И зазеленеет сочною травой.  
 Да травой ли только?—Если был мошенник,  
 Если был покойник с ближними жесток,  
 На его могиле явится репейник,  
 А добряк-покойник вырастит цветок.  
 Деревцо красиво встанет на кургане,—  
 И оно годится для людских потреб...  
 Да и так бывает: бедные крестьяне  
 Все кладбище вспашут и посеют хлеб.  
 Из зерна родится пышная пшеница...  
 Ох, как будет славно, хорошо, когда  
 На груди отцовской молодая жница  
 Свяжет сноп тяжелый, не боясь труда!  
 Что за важность, если труп мой червь изгложет?  
 О такой безделке я не хлопочу.  
 Если труп истлевший землякам поможет—  
 Вот моя награда! Вот чего хочу!  
 Я, бедняк, на бога слепо уповаю.  
 Смолоду я много пролил горьких слез,  
 И теперь, под старость, тело прикрываю  
 Рубищем, и зябну в зимушку-мороз.  
 Мне вчера так сладко, с умилением, с жаром,  
 Обещал священник, что за нищету,  
 За мое терпенье, получу недаром  
 Славное местечко... там, на том свету.  
 Боже! Наградишь ли, как сложу я кости,  
 Чудною наградой?—Будет дар хорош,  
 Если мои кости внукам на погосте  
 Вырастят цветочек да густую рожь».

## ВОИН АНИКА

Воин Аника в глухой стороне  
Едет на добром и верном коне,  
Едет и думает:

«Что за беда?

Нету-ста здесь человечья следа,  
Даже зверье не бежит на пути,  
В поле пустом хоть шаром покати!  
Некого здесь за грехи покарать...  
Гой! Выходи, супротивная рать!  
Низость, Коварство и Барская спесь,  
Все на меня ополчайтесь! Я—здесь...  
Здесь я — Аника, как воин христов,  
Доблестно биться за Правду готов.  
Только она мне любя, дорога,  
Только за Правду пойду на врага...  
Нужно на этом печальном свету  
Мне защитить Бедноту-Наготу.  
Мы-ста еще за Народ постоим,  
Мы не падем пред оружием твоим...  
Что же не внемлете грозным словам?  
Праздновать трусу—не стыдно ли вам!»

Отклика нету... Пустынно. Темно.  
Солнышко спать улеглося давно.  
Звездочки в небе высоком зажглись,  
Шепчут Анике: «Аника, молись!»—  
«Что мне молиться! О ком и о чем?  
Я ли не витязь в забрале с мечом!  
Волюшку давши коню и мечу,  
Словно былинку, врага растопчу.  
Силу мою всяк язык разумеи!  
Злая ли ведьма, трехглавый ли змей,

Или бессмертный Кашей-лиходей  
Будут терзать неповинных людей—  
Всех разобью, всяка нечисть умрет,  
Если за Правду помчуся вперед!»

Дремлет земля—утомленная твердь...  
Вдруг пред Аникой является Смерть;  
Кости ее, как доспехи, звучат...  
Молвила Смерть: «Ни детей, ни внучат  
Ты не увидишь, защитник земли,  
Воин Аника! Внемли мне, внемли!  
Тысячи тысяч людей истребя,  
Русь погублю, подкошу и тебя.  
Правды не будет на вольной Руси...»—  
«Ладно, посмотрим... Сражайся, коси!  
С добрым конем пред оружием твоим  
Мы-ста за Правду и Русь постоим.  
Если умрем—мертвым нету стыда...  
Верный мой конь, понатужься...

Айда!»—

Конь поскакал. Начинается бой.  
Звезды дрожат в высоте голубой.  
Звезды, усеяв небесную высь,  
С трепетом просят: «Аника, молись!»—  
«Что мне молиться! О ком и о чем?  
Струшу ль пред Смертью—лихим палачом?  
Я—богатырь, слава богу, не стар!»—  
...Новая сшибка... Смертельный удар.

Смотрят уныло на бой небеса.  
Блещет при звездах у Смерти коса.  
Молвила Аника, упавши с коня:  
«Чудище Смерть, ты сразила меня!  
Жаль не себя: ведь не я, так другой  
Правду спасет на Руси дорогой.  
Биться смертельно за русский народ  
С Правдой на Кривду пойдет он вперед!»

1893

## ПЛЕННИЦА

*Литовская баллада*

*(Из Одынца)*

Перестань же плакать, полька! Ты в руках  
моих! Изволь-ка

Сесть на лошадь как-нибудь.

Будешь ты моей рабою. Я замешкался  
с тобою,

А далек и труден путь!

Заковавши пленных в цепи, наши всадники  
по степи

Ускакали впереди.

Не догнать их в чистом поле... И с тобою  
поневоле

Расплачусь я, погоди!

Но убью тебя, так кто же ляжет спать  
на брачном ложе,

Приласкавшись ко мне?

Есть у нас, в Литве, обычай, чтоб  
с красавицей-добычей

Возвращаться на коне.

Снова просишь робким взглядом. Все  
напрасно! Сядь же рядом,

Сядь со мною на седло!

Мы с богатством незнакомы; наши седла  
из соломы,

Но в избе у нас светло.

Дома—славные мы люди. Мой скакун  
лихой из Жмуди

Ждет, хозяйку полюбя;

А вечернею порою я от холода закрою

Волчьей буркою тебя.

И о чем же ты жалеешь? Ничего здесь не  
имеешь,

Все исчезло без следа:  
Дом родимый, дом отцовский подожен  
рукой литовской,—  
Оглянись, смотри сюда!  
А! Ты плакать перестала, веселей, живее  
стала,

Кровь прихлынула к лицу;  
Взоры к небу ты возносишь: проклинаешь,  
или просишь,

Или молишься творцу?  
Девки—ветренное племя!.. Как она поспешно  
в стремя

Вдела ногу—и к огню  
Мчится вихрем, вдруг прыгнула, побежала,  
обманула..

Врешь!.. Стрелюю догоню.  
Осторожнее! Смотри же, пламя вьется  
ближе, ближе.

Удались! Прошу, молю...  
Клятва страшная—залогом: я клянусь  
Перкуном богом,

Что люблю тебя, люблю!  
На тебе одежда пышет... Сумасшедшая, не  
слышит!

Стой! Назад, сюда, ко мне!  
Но она, поднявши руки, не пугаясь  
страшной муки,

Вдруг исчезнула... в огне.

## ГРАМОТКА

Дарья-молодка от радости плачет:  
Есть письмецо к ней,—из Питера, значит.  
Стало быть, муж посылает поклон.  
Скоро ли сам-то воротится он?  
Незачем медлить в холодной столице,  
Время вернуться к жене-молодице,  
Платьем-обновкой утешить ее...  
Славное будет в деревне житье!  
Сбегала Дарья к дьячку Еремею,  
Просит его: «Я читать не умею,  
Ты прочитай мне, хоть ради Христа!  
Дам я за то новины и холста». —  
Горло прочистив забористым квасом,  
Начал читать он октавою-басом,  
Свистнул отчаянно, в нос промычал  
И бороною с тоской покачал.  
«Дарья голубушка! Вести о муже...  
Жаль мне тебя, горемычная, вчуже!  
Слез понапрасну ручьями не лей...  
Умер в больнице твой муж Пантелей». —  
Грохнулась оземь со стоном бабенка.  
«Как воспитаю без мужа ребенка?  
Я ведь на сносях!» — «Сие вижу, сам.  
Значит, угодно сие небесам;  
Значит сие испытание свыше.  
Ты причитай, ради чада, потише!  
Главное дело, терпенье имей! —  
Молвил любовно дьячок Еремей. —  
Слушай, что пишут тебе из артели:  
«Вас письмецом известить мы хотели,  
Что уж давненько, великим постом,  
Умер супруг ваш и спит под крестом.



## ДВА МОРОЗА МОРОЗОВИЧА

Сказка

### I

Ветер холодный уныло свистит.  
По полю тройка, как вихорь, летит.  
Едет на тройке к жене молодой  
Старый купчина с седой бородой,  
Едет и думает старый кашей:  
«Много вежу драгоценных вещей,  
То то обрадую дома жену!  
С ней на лебяжьей перине усну,  
Утром молотки пошам вакажу:  
Грешни я, грешни, мамоне служу!  
Если милан барыша получу—  
Право, Николе поставлю свечу».

### II

Ветер, что дальше, становится злей,  
Снег обметает с широких полей,  
Клонит верхушки берез до земли.  
Тройку, за вьюгой, не видно вдали.  
Следом за тройкой, в шубенке худой,  
Едет мужик, изнуренный нуждой,  
Едет и думает: «Чорт-те возьми!  
Плохо живется с женой и детьми;  
Рад я копейке, не то что рублю...  
Грешник, казенных дровец нарублю;  
Если за них четвертак получу—  
Право, Николе поставлю свечу».

### III

Два молодца под березкою в ряд  
Сели и вежливо так говорят:



«Братец мой старший, Мороз Синий-Нос,  
Что это вы присмирили давно-с?»—  
«Братец мой младший, Мороз Красный-Нос,  
Я предложу вам такой же вопрос».—  
«Видите, братец, случилась беда:  
Добрые люди не ходят сюда;  
Только медведицы злые лежат,  
Няньчат в берлогах своих медвежат;  
Шуба у них и тепла и толста.  
Нет здесь добычи, глухие места».—

#### IV

«Правду изволили, братец, сказать:  
Некого в здешнем краю наказать.  
Наш Пошехонский обширный уезд—  
Это одно из безлюднейших мест.  
Но погодите, не плачьте пока:  
Я замечаю вдали седока.  
Вот и добыча пришла наконец!  
С ярмарки едет богатый купец,  
Вы догоните его на скаку,  
Да и задайте капут старику!  
Пожил, помучил крещеный народ.  
Что же стоите? Бегите вперед!»—

#### V

«Братец любезный, Мороз Синий-Нос,  
Это исполнить весьма мудрено-с.  
Старый купчина отлично одет;  
В шубу медвежью мне доступу нет.  
Как подступиться к мехам дорогим?  
Лучше потешусь сейчас над другим.  
Едет на кляче мужик по дрова...  
Эх, бесшабашная дурь-голова!  
Ветхая шапка... овчинный тулуп...  
Братец, признайтесь: мой выбор не  
глуп?»—  
«Ладно, посмотрим. Да, чур, не пенять!  
Живо, проворней, пора догонять!»

## VI

Ночью в лесу два мороза сошлись;  
 Крепко, любовно они обнялись.  
 Старший не охает: весел и смел;  
 Младший избитую рожу имел.  
 «Что с вами, братец, Мороз Красный-  
 Нос?»

«Ах, я желаю вам сделать донос!»—  
 «Жалобу-просьбу я выслушать рад,  
 Хоть и пора бы ложиться нам, брат.  
 Сон так и клонит к холодной земле;  
 Полночь пробили в соседнем селе;  
 В небе спокойно гуляет луна,  
 Так же, как вы, и грустна и бледна».

## VII

«Братец, мне больно: везде синяки,  
 Страшные знаки мужицкой руки.  
 Как еще только дышать я могу,  
 В лапы попавшись лихому врагу!  
 Я невидимкой к нему подбежал.  
 Вижу: разбойник, как лист, задрожал,  
 Морщится, ежится, дует в кулак,  
 Крепко ругается, так вот и так:  
 «Стужа проклятая, дьявол-мороз!»  
 Я хохотал втихомолку до слез,  
 Ловко к нему под шубенку залез,  
 Начал знобить,—и приехали в лес.

## VIII

Лес был огромный. Зеленой стеной  
 Он, нахмурившись, стоял предо мной.  
 Сосны и ели шумели кругом,  
 Чужая смертельную битву с врагом.  
 Вот он вскочил и, схвативши топор,  
 Ель молодую ударил в упор.  
 Брызнули щепки... Работа кипит...  
 Вздрогнуло дерево, гнется, скрипит,  
 Просит защиты у старых подруг—  
 Елок столетних—и падает вдруг  
 Перед убийцей... А он, удалой,  
 Шапку отбросил, шубенку—долой!

## IX

Вижу: согрелся злодей-мужичок,  
 Будто приехал не в лес—в кабачок,  
 Будто он выпил стаканчик винца:  
 Крупные капли струятся с лица...  
 Мне под рубашкою стало невмочь,  
 Вздумал я горю лихому помочь,  
 В шубу забрался с великим трудом—  
 Шуба покрылась и снегом и льдом;  
 Стала она, как железо, тверда...  
 Тут приключилась другая беда:  
 Этот злодей, подскочивши ко мне,  
 Ловко обухом хватил по спине.

## X

Спереди, сзади, больней палача,  
 Долго по шубе возил он сплеча,  
 Словно овес на гумне молотил,—  
 Сотенки две фонарей засветил.  
 Сколько при этом я слышал угроз:  
 «Вот тебе, вот тебе, дьявол-мороз!  
 Как же тебя, лиходея, не бить?  
 Вздумал шубенку мою зазнобить,  
 Вздумал шутить надо мной, сатана?  
 Вот, тебе, вот тебе, вот тебе, на!»—  
 Мягкою стала овчина опять,  
 И со стыдом я отправился вспять».—

## XI

С треском Мороз Синий-Нос хохотал,  
 Крепко себя за бока он хватал.  
 «Господа бога в поруки беру,  
 Моченьки нету, со смеху умру!  
 Глупый, забыл ты, что русский мужик  
 С детских пеленок к морозам привык.  
 Сمولоду тело свое закалил,  
 Много на барщине поту пролил,  
 Надо почтенье отдать мужику:  
 Все перенес он на долгом веку,  
 Силы великие в нем не умрут.  
 Греет его—*благодетельный труд!*»



Что прошли времена-с, позабыли о нас...

По латыни-с: O, tempo, mores!»

Генерал выпивал. Поп главою кивал,

Восклидая: «Из праха изыдем,

Обращаемся в прах!»—Снова рюмочку тррах...

Так и дальше. Все idem per idem.

Допивая шалфей, раз вздремнул Ерофей.

Вдруг влетает волшебница-фея

И пред ним держит речь: «Чтобы силы сберечь,

Не вкушай, друг любезный, шалфей!»—

«Как же быть мне с попом?—В онеменьи тупом,

Побледневши белее рубашки,

Генерал спросил:—Я в отставке, без сил,

И мои прегрешения тяжки!»—

«Человече простой, ты травами настой

Свой напиток. Есть чудные травы.

Вот рецепт мой, бери. И держу я пари:

Ты очистишь российские нравы.

Каждый любит свое—и еду и питье.

Шнапс у немцев... Вас? Шпрехен зи дейч?..

У французов—клик; а тебе так легко,

Ерофей, сочинить «ерофейч»!»

И мила и нежна улетела она—

Легкокрылая, резвая фея.

Вместо злата и лепт, очутился рецепт

В генеральских руках Ерофея.

Он настойки вкусил—и прибавилось сил,

Заскакал, как лихой кабардинец,

И вскричал Ерофей: «Для чего пить шалфей,

Если дан мне волшебный гостинец?»—

У любого спроси: кто у нас на Руси

От гостинца сего не шатался?

Улетел в царство фей генерал Ерофей,

Но его «ерофейч» остался.

## ПОХОРОННАЯ ПРОЦЕССИЯ

При моем последнем смертном ложе  
Трех друзей, не больше, соберу,  
И врагов найдется трое тоже,  
Если я, на радость их, умру.

Шесть особ проводят гроб сиротский  
На погост, в последний мой приют;  
Поп — седьмой, посьмой — дьячок приходский  
Обо мне уныло запоют.

И еще найдется провожатый,  
И при нем мне будет веселей:  
Ветерок (по счету он девятый)  
Прилетит ко мне с родных полей.

А десятый — дождь с родного неба  
Хлынет вдруг из темных облаков,  
И земля даст много, много хлеба  
Для таких, как я же, бедняков.

Как дитя, закрыв спокойно очи,  
Лягу спать и горе утаю;  
Буду ждать, чтоб ветер с полуночи  
Тихо спел мне: «Баюшки-баю!»

Я хочу, чтоб сладки были грезы,  
Чтоб постель-земля была мягка,  
Чтоб меня оплакали не слезы,  
А дождем весенним облака.

## ТЕНИ

Тени ходили толпою за нами;  
Были мы сами мрачнее теней,  
Но, утешаясь отрадными снами,  
Ждали—безумные!—солнечных дней.  
Солнце взошло. И пред солнцем колени  
Мы преклонили... Но снова из туч  
Вдруг появились ужасные тени  
И заслонили нам солнечный луч.  
Снова мы ропщем и жалобно стонем,  
Грезим отрадно лишь только во сне...  
Мы ли ужасные тени прогоним,  
Или опять одолеют оне?

1881

## СПОКОЙСТВИЕ

Смотри на родник: как вода в нем свежа!  
Сначала журчит он, чуть видимый оком,  
Ударится в гору и, пенясь, дрожа,  
С горы упадает бурливым потоком.

Кружится, волнуясь, и мчится вперед,  
И, стиря камни поднявши, грохочет;  
В нем жизнь ни на миг не заснет, не замрет,  
О мертвом покое он думать не хочет.

Теперь посмотри: от стоячей воды  
Дыханием вест убийцы-злодея;  
Зеленая плесень покрыла пруды;  
Там гады клубятся, трясиной владея.

О мысль человека, беги и спеши  
Вперед и вперед, как поток без преграды!  
Покой—это гибель и смерть для души;  
Покою, забвенью—лишь мертвые рады.

Но если, о мысль, утомившись в труде,  
Вперед не пойдешь ты дорогой прямою,  
Ты будешь подобна болотной воде,  
И гады покроют вселенную тьмою.

2 июня 1879



## ЧУМА

*(Из Тараса Шевченко)*

Пришла с лопатою чума,  
Могилы рыла и сама  
Бросала в землю мертвецов—  
Детей, и женщин, и отцов,  
И «Со святыми упокой!»  
Не пела жалобно, с тоской.  
С лопатой шла Чума селом,  
Людей мела, как помелом.

Весна. В селе цветут сады.  
Росой умылся поля.  
Не чувствуя людской беды,  
Пирует весело земля.

Покрылись зеленью луга,  
Но люди небеса винят,  
И от жестокого врага,  
Как стадо струсивших ягнят,  
Укрылись в хатах: там и мрут.  
Волы голодные ревут;  
Пасутся сами табуны  
На всем раздолни степном;  
Под обаянием весны  
Уснули люди вечным сном.

Неделя светлая пришла,  
Но не гремят колокола,  
Не вьется синий дым из труб,  
Огни в избушках не горят.  
Везде лежит близ трупа труп,  
Везде могил чернеет ряд.

Покрывшись шкурой, засмолясь,  
Могильщики селом идут  
И, труп увидя, не молясь,  
Крючком зацепят—и кладут  
Погибших братьев, как рабов,  
В сырую землю без гробов.

Минули месяцы. Село  
Крапивой жгучей поросло  
И онемело. И в пыли  
Близ хат могильщики легли  
И тихо спят, уснув навек;  
Не выйдет добрый человек,  
Чтоб их с молитвой схоронить;  
Они должны открыто гнить...

Как оазис, в чистом поле  
Нива зеленеет;  
Но никто туда не ходит,  
Только ветер вест,  
Листья желтые разносит,  
Сея их по полю,  
Людам песню напевая  
Про лихую долю.

Долго поле зеленело,  
Разнося заразу;  
Наконец решились люди  
Истребить все сразу.

Подожгли—село сгорело,  
Нет ему и следу...  
Так-то люди одержали  
Над Чумой победу!

*3 марта 1878*

## ЗАГАДОЧНЫЙ ОГОНЕК

(Мотив из Виктора Гомулицкого)

### I

Только что сумрак вечерний настанет,  
Вдруг огонек у соседа в окне  
Звездочкой вспыхнет и тайно ко мне  
Через занавеску, сверкая, заглянет.  
Лампа не гаснет всю ночь напролет,  
То потухает и слабо трепещет,  
То, разгоревшись, загадочно блещет...  
Кто же привет мне таинственно шлет?  
Как отгадать тайну странного блеска?  
Тайну скрывает кусок полотна:  
Спущена низко в окне занавеска.  
И не колышется ветром она.

### II

Может быть, там посевший философ  
Мудро решает один из «вопросов»:  
*«Истина где? На тернистом пути  
Можно ли эту святыню найти?»*  
Над фолиантом ли старым он дремлет?  
Звезды ль считает, как древний халдеи,  
А погибающих темных людей  
Видеть не хочет, их столам не внемлет?..  
*Истина—в бедности, жалкий чудак!!*  
Верь, что она пред дворцом не слукавит  
И, озарясь огоньком, не оставит,  
Ради палат, свой угрюмый чердак.

### III

Может быть, это—швея молодая  
Шьет подвенечный наряд дорогой,

Не для себя—для невесты другой,  
Розой поблекшей сама увядая?  
Через занавеску мне видятся грезы:  
Бледное личико жгут и палят  
Адским огнем безотрадные слезы...  
Мать и отец ей трудиться велят:  
«Грешница! Ты наградила нас внучкой...  
Если умела любить и грешить,  
Так не сиди госпожой-белоручкой,—  
Плакать нет времени: надобно шить!»

#### IV

Может быть, это—поэт благодушный  
Борется с рифмой, ему непослушной?  
Страстно в нее он влюблен, а она—  
Рифма-шалунья—ему неверна...  
Бог тебе на-помочь, милый коллега!  
В лампе храни огонек и в груди,—  
Лампа и жизнь догорят... Погоди,  
Скоро и ты добредешь до ночлега!  
Звонкою рифмой свой стон заглуша,  
С рифмой в борьбе, как невольник, без силы  
Спустишься ты с чердака—до могилы,  
Но вознесется поэта душа!

#### V

Кто бы ты ни был, сосед неизвестный,  
Я обращаюсь с любовью к тебе!  
Пусть огонек твой таинственно-честный  
Нам маяком будет в грустной судьбе.  
Станем молиться с надеждою сладкой  
И пред иконой с грошовой лампадкой,  
И перед люстрой с сотней огней,  
И перед солнцем—властителем неба:  
«Дай нищете и свежей и полней  
Новые всходы духовного хлеба!  
Красное солнышко, в темные дни  
Ты на чердак, хоть тайком, загляни!»

## ДВЕ ДОРОГИ

(Из Юрия Якича)

Предо мною две дороги, два пути;  
На одном—цветы, терновник—на другом.  
По которому же должен я идти,  
Чтобы встретиться с противником-врагом?

Первый, легкий путь тому я уступаю,  
У кого скользит изнеженно нога.  
Я—не женщина! Я ноги наколю,  
Но достигну за терновником врага!

## ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

### I

Если хочешь, друг мой, лето увидеть,  
Лето чудное, как божья благодать,—  
На себя ты, дорогая, посмотри:  
Взор твой ярче и отраднее зари.

Этот взор, во тьме сверкающий,  
Мне напомнит небеса.  
Я, больной, изнемогающий,  
Вновь поверю в чудеса;  
Как пустыня—степь бесплодная,  
Оживет душа холодная.

### II

Если хочешь, друг мой, осень увидеть,  
Если хочешь волноваться и страдать,  
Если хочешь знать лихие наши дни,—  
Ты мне в сердце наболевшее взгляни.

Устреми глаза лазурные  
В это сердце: видишь, в нем  
Есть порывы—вихри бурные,  
Что шумят в ночи и днем,  
Колыхая степь бесплодную  
В осень темную, холодную.

### III

Осень темная несет с собой дожди.  
В осень темную ты солнышка не жди!

Но когда ты, голубица-чародей,  
Взглянешь ласково на страждущих  
людей,—

Оздоровеют болящие,  
Что шатаются, как тень,  
И ослепшие, незрячие  
Вдруг увидят светлый день,—  
И тогда, подруга милая,  
Оживится степь унылая.

#### IV

Эта степь—мои бесплодные мечты.  
В темном омуте житейской суеты  
Я плыву... плыву, не зная сам—куда?  
Посвети мне, путеводная звезда!

Сжался, друг мой, над страдающим,  
Озари мой путь скорей!  
Маяком будь, освещающим  
Тайны страшные морей,  
Где пловцы погибли многие—  
Духом слабые, убогие.

## К РОССИИ

К коленам твоим припадая,  
Страдаю я вместе с тобой  
И жду той минуты, когда я  
Увижу тебя не рабой.

И в рабстве ты чудно-могуча,  
Не видя свободы лучей;  
Грозна ты, как темная туча,  
Для диких твоих палачей.

Они всю тебя истерзали,  
Пронзили железом, свинцом  
И руки и ноги связали,  
Покрыли терновым венцом...

Надейся! исчезнут тираны,  
Исчезнут коварство и ложь.  
Надейся! Ты вылечишь раны,  
Венец твой терновый сорвешь.

Терпи же, моя дорогая,  
Покуда есть силы, терпи!  
Сверкай, огонечком мигая,  
В широкой унылой степи!

Потом огонек разгорится  
На поле угрюмом, нагом,—  
И мрачная степь озарится  
Далеко, далеко кругом!



## ЧТО Я УМЕЮ НАРИСОВАТЬ?

Я художник плохой: карандаш  
Повинуется мне неохотно.  
За рисунок мой денег не дашь,  
И не нужно, не нужно... Когда ж  
Я начну рисовать беззаботно,  
Все выходит картина одна,  
Безотрадная, грустно-смешная,  
Но для многих, для многих родная...  
Посмотри: пред тобою она!

...Редкий, мелкий сосновый лесок;  
Вдоль дороги—огромные пеня  
Старых сосен (остатки именья  
Благородных господ) и песок,  
Выводящий меня из терпенья.  
Попадаешь в него, будто в плен:  
Враг, летающий желтою тучей,  
Враг опасный, коварный, зыбучий,  
Засосет до колен, до колен...

Ходит слух, что в Сахарской степи  
Трудновато живется арабу...  
Пожалей также русскую бабу  
И скажи ей: «Иди и терпи!  
Обливаячи потом сорочку,  
Что прилипла к иссохшей груди,  
Ты, голубка, шагай по песочку!  
Будет время: промаявшись ночью,  
Утром степь перейдешь, погоди!»

Нелегко по песочку шагать:  
Этот остов живой истомился.

Я готов бы ему помогать,  
На картине построил бы гать,  
Да нельзя: карандаш надломился!  
Очиню. За леском, в стороне,  
Нарисую широкое поле,  
Где и я погулял бы на воле.  
Да куда!.. Не гуляется мне.  
Нет, тому, кто погрязнул давно  
В темном омуте, в жизненной тине,  
Ширь, раздолье полей мудро  
Рисовать на унылой картине.  
Нет, боюсь я цветущих полей,  
Начертить их нехватит отваги...  
Карандаш, не жалея бумаги,  
Деревеньку рисует смелей.

Ох, деревня! Печально и ты  
Раскидалась вдоль речки за мостом,  
Щеголяя обширным погостом...  
Всюду ставлю кресты да кресты...  
Карандаш мой, не ведая меры,  
Под рукою дрожащей горит  
И людей православных морит  
Хуже ведьмы проклятой—холеры.

Я ему подчинился невольно:  
Он рукою моею, как злодей,  
Овладел и мучительно, больно  
Жжет ее...

Мертвых слишком довольно,  
Нам живых подавайте людей!  
Вот и люди... И дякон и поп,  
На гумне утомившись, молотят  
И неспелые зерна, как гроб  
Преждевременный, глухо колотят.

...Вот и люди... Огромный этап  
За пригорком идет вереницей...  
Овладевши моею десницей,  
Карандаш на мгновенье ослаб,  
Не рисует: склонился, как раб  
Перед грозной восточной царицей.  
Я его тороплю, чтобы он

Передал в очертаниях ясных  
И бряцание цепи, и стон,  
И мольбу за погибших, «несчастных»...  
У колодца молодка стоит,  
Устремив на несчастных взор бледный...  
Подойдут к ней — она наградит  
Их последней копейкою медной...

...Вот и люди, веселые даже,  
Подпершись молодецки в бока,  
Входят с хохотом в дверь кабака...  
...О, создатель, создатель! Когда же  
Нарисую я тонко, слегка,  
Не кабак, а просторную школу,  
Где бы люд православный сидел,  
Где бы поп о народе радел?  
Но, на грех, моему произволу  
Карандаш назначает предел.  
Он рисует и бойко и метко  
Только горе да жизненный хлам,  
И ломаю зато я нередко  
Мой тупой карандаш пополам.

1870

## ПОХОРОНЫ

Хоронили его в полуночном часу,  
Зарывали его под березой в лесу.  
Бросив в землю его, без молитв, без попа,  
Разошлась по домам равнодушно толпа.

\*\*  
\*

И о нем плакал только нахмуренный лес;  
На могилу смотрели лишь звезды с небес;  
Мертвеца воспевал лишь один соловей,  
Притаившись в кустах под навесом ветвей.

\*\*  
\*

Тот, кто пулей свинцовой себя погубил,  
Этот лес, это небо и звезды любил;  
Он лесного певца на свободу пустил,  
Потому—что и сам о свободе грустил.

## ПЕСНЯ РАБОЧИХ

(Из Пьера Дюпона)

### I

Мы все встаем поутру с петухами,  
Когда, дымясь, мерцают ночники,  
Мы, бедняки, питаемся крохами,  
И свет дневной нас гонит в рудники.  
Работают там плечи, ноги, руки,  
С природою в убийственной борьбе;  
Но ничего за тяжкий труд и муки  
Под старость мы не сбережем себе.  
Дружно, братья, станем в ряд,  
Выпьем все из братской кружки!  
Пусть палят во весь заряд  
Истребительницы-пушки,  
Посылая смерть народу!  
Мы встаем,  
Дружно пьем:  
«За всемирную свободу!»

### II

В глуби морской мы перлы собираем,  
Из недр земли сокровища берем.  
Мы сделали родную землю раем,  
Но под землей, в аду своем, умрем.  
За вечный труд какая нам награда?  
Останемся мы сами не при чем...  
Ведь не для нас сок сладкий винограда,  
Ведь не себя мы в бархат облечем.  
Дружно, братья, станем в ряд,  
Выпьем все из братской кружки!  
Пусть палят во весь заряд  
Истребительницы-пушки,

Посылая смерть народу!  
Мы встаем,  
Дружно пьем:  
«За всемирную свободу!»

### III

Безвременно, согнув в труде жестоком  
Наш тощий стан, мы гибнем ни за грош.  
Зачем наш пот бежит с чела потоком,  
И нас зовут «машинами» за что ж?  
Объявна земля нам чудесами;  
Построили мы новый Вавилон.  
Но пчеловод, насытившись сотами,  
Рабочих пчел из ульев гонит вон.  
Дружно, братья, станем в ряд,  
Выпьем все из братской кружки!  
Пусть палят по весь заряд  
Истребительницы-пушки,  
Посылая смерть народу!  
Мы встаем,  
Дружно пьем:  
«За всемирную свободу!»

### IV

Презренного ребенка-чужестранца  
Питает грудь несчастных наших жен,  
А он потом — дитя штыка и ранца —  
Стоит, в крови кормилиц погружен.  
Он мучит их, тиранит, угнетает,  
Нет для него святого ничего:  
Себе за честь и славу он считает  
Разрушить грудь, кормившую его.  
Дружно, братья, станем в ряд,  
Выпьем все из братской кружки!  
Пусть палят во весь заряд  
Истребительницы-пушки,  
Посылая смерть народу!  
Мы встаем,  
Дружно пьем:  
«За всемирную свободу!»

## V

И в рубищах, в подвалах наших бедных  
 Скрываясь, под гнетом торгашей,  
 Мы жизнь влачим из-за копеек медных  
 В сообществе нетопырей-мышей.  
 Они, как мы, друзья угрюмой ночи,  
 Они, как мы, не насладятся днем,  
 Хоть и у нас горят, как звезды, очи,  
 И кровь кипит живительным огнем.  
 Дружно, братья, станем в ряд,  
 Выпьем все из братской кружки!  
 Пусть палат во весь заряд  
 Истребительницы-пушки,  
 Посылая смерть народу!  
 Мы встаем,  
 Дружно пьем:  
 «За всемирную свободу!»

## VI

И каждый раз, когда из нас струится  
 Кровь честная и обагрят мир,  
 Свободой мы не можем насладиться  
 И создаем из деспота кумир.  
 Побережем свои поля для хлеба,  
 А не для битв: *Любовь сильнее войны!*  
 Мы будем ждать, когда повеет с неба  
 На всех рабов дыхание весны.  
 Дружно, братья, станем в ряд,  
 Выпьем все из братской кружки!  
 Пусть палат во весь заряд  
 Истребительницы-пушки,  
 Посылая смерть народу!  
 Мы встаем,  
 Дружно пьем:  
 «За всемирную свободу!»

28 октября 1873

## КАЗАЧОК

Фонари кругом бросают свет унылый, бледный.  
На забитой, жалкой кляче едет «Ванька» бедный.  
Седоков у «Ваньки» двое: барыня-старушка  
Да в истасканной диврее казачок Петрушка;  
Зибнет он, закрыв глазенки, с холоду трепещет,  
А паявчик в рукавицах лошаденку хлещет.

Ты не бей ее напрасно! Полно, перестань-ка  
За двуриненный тиранить лошаденку, Ванька!  
Посмотри: она устала, снег ей по колесо...  
Вадорожалл нынче, Ванька, и овес и сено,  
У твоей несчастной клячи кожа лишь да кости,  
Привезти еще успеешь старушонку в гости!

При фонарном слабом свете на нее взгляни ты:  
Очи смотрят тускло, дико; сморщены ланиты...  
А на них, бывало, страстно люди любовались,  
Вкруг красавицы толпою шумной увивались;  
Все ласкали, баловали барышню-резвушку...  
Жаль ее... и жаль мне также казачка Петрушку!  
Вот приехала старуха к внуку молодому,  
Отказал бы он охотно бабушке от дому,  
Да боится: у старухи водятся деньжонки.  
«Эти ведьмы очень скупы, и хитры, и тонки...  
Может быть, она оставит все наследство внуку?»—  
И целует внук с почтеньем бабушкину руку.

Занялась она с гостями, по копейке, вистом,  
А Петрушка спит в передней и храпит со свистом.  
У старухи худы карты: двойки да семерки,  
А Петрушке с голодухи снятся хлеба корки.  
Обыграли на целковый барыню-старушку...  
Жаль ее... и жаль мне также казачка Петрушку!



## ПОЧЕМУ ОНИ ПОЮТ О ДЕВАХ И РОЗАХ?

«Беда тому, кто любит гнев,  
Кто род людской влачит на плаху:  
Он не увидит гурий-дев  
И не приблизится к аллаху.  
Беда тому, кто, словно зверь,  
За человеком-братом рыщет:  
Пророк пред ним захлопнет дверь,  
А балагур его освищет...»

Так пел поэт перед дворцом  
Калеки грозного, Тимура.  
«Хромой», с пылающим лицом,  
Сказал: «Словите балагура!»  
Певца к Тимурю привели.  
«Раскайся в балагурстве глупом,  
Прощения проси, моли,  
Не то, злой раб, ты будешь трупом!»—

«Могу покаяться, но в чем?  
Пророку предан я с любовью.  
Я не был лютым палачом  
И не запятнан братской кровью.  
От сердца песенки пою,  
Влагая в них и смех и душу...»—  
«А если голову твою  
Велю срубить, ты струсил?»—«Струшу.

Еще б не струсить, хан! И ты  
Вздогнешь, как человек пропащий,  
Увидя камень, с высоты  
На голову твою летящий.

Еще б не струсить! Ты и сам  
Струхнешь, заметив льва в пустыне...  
Отдай мой труп голодным псам,  
Да помни то, что пел я ныне!»

Захотел хромой Тимур:  
«Возьми мой перстень изумрудный,  
Но только помни, балагур,  
Что я не лев в степи безлюдной.  
Еще прими совет благой:  
Не пой мне песен не по нраву,  
Или тебя с кривой ногой  
Я догоню.. и дам расправу!»

От самаркандского дворца  
Певец бежал, главу понуря.  
В душе спободного певца  
Горел огонь, шумела буря;  
Но он преодолел свой гнев  
И, помня ханскую угрозу,  
Стал воспевать.. невинных дев  
И обольстительную розу.

20 июня 1893

## ЧУДЕСНАЯ ХАТА

Как прекрасна, как чудесна у меня бывает хата,  
Если сладким вдохновеньем вся душа моя объята;  
Если, сидя у оконца, я под шум густой березы  
Стройно складываю в песни золотые думы-грезы.  
Из груди моей открытой вдохновенье звучно  
льется,

И каким-то чудом песня для народа создается.  
Из окна она промчится легкой ласточкой игривой  
Над соседней деревенькой, над соседней братской  
нивой—

И она прогонит горе, если кто в селе горюет,  
И отрадно засмеется с тем, кто весело пирует.  
Эта песня укрепляет в сердце веру в провиденье,  
Для любви давнишней, старой в ней таится  
наслажденье.

И она с собой приносит благодатные надежды,  
У рыдающих, гонимых утирает тихо вежды.  
Я тогда себя считаю властелином Мира-Света,  
Воскликая: «Как чудесна хата бедного поэта!»

Как приветливо встречает чародейка, эта хата,  
Гостя милого, родного, дорогого гостя-брата!  
Как ему она радушно настезь двери отворяет  
И в стенах веселым эхом речи гостя повторяет!  
Этой хате-чародейке все знакомо, все известно,  
И она хлеб-соль и мысли разделяет с гостем честно,  
Вторит звону чаш застольных и своим чудесным  
эхом

Отвечает гостю-другу задушевым громким смехом.  
И звучит отрадно эхо в чудной хате без измены,  
И каким-то дивным блеском озаряются в ней стены;  
В ней, как встанешь после пира, так из каждого  
оконца  
На тебя не солнце светит, а уж ровно... по два  
солнца!

## НЕВЕСТА ССЫЛЬНОГО

Что за мысли злые,  
Как мне тяжело!  
Капли дождевые,  
Глухо бьют в стекло,  
Льются через крышу,  
На полу вода...  
Голос няни слышу:  
«Сидь, дружок, сюда!  
Идиная овсчка,  
Примсчаю я:  
Тасчь ты, как свечка,  
Умница моя,  
Сохнешь и страдаешь,  
Долго ль до греха?  
Ждешь да поджидаешь  
Друга-жениха.  
Грешен он во многом,  
Люди говорят...»—  
«Но, клянуса богом,  
Предо мной он свят!»—  
«Твой жених в Сибири,  
В тундрах да в степях;  
На руках-то гири,  
Ноженьки — в цепях.

Рассуди же толком,  
Как бежать ему:  
Обернуться волком?  
Подкопать тюрьму?  
Али от острога  
Подобрать ключи?»—  
«Няня, ради бога,

Будет, замолчи!  
В этот день ненастный,  
В дальней стороне,  
Друг мой, друг несчастный,  
Вспомни обо мне!»

Нянюшка вздремнула...  
Посмотрю в окно,  
Я рукой махнула:  
Там и здесь—темно!  
Та же непогода,  
Тот же ветра вой...  
Около «завода»  
Ходит часовой...  
Грезится мне Лена...  
Чумы дикарей...  
Возвратись из плена,  
Милый, поскорей!  
Колокольчик где-то  
Затрезвонил вдруг...  
Няня, няня! Это—  
Мой прощенный друг.  
Верю я сердечку:  
Как оно дрожит!»

И, покинув печку,  
Нянюшка бежит,  
Говоря с упрском:  
«Сердце не вещун,  
Едет за оброком  
Становой-драчун»...  
Долго будут звякать  
Эти бубенцы.  
Долго будут плакать  
Дети и отцы.

## ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ БРАТЬЯ

(Из Вильяма Купера)

Я хотел бы удалиться, убежать  
В беспредельную пустыню от людей,  
Чтоб меня не мог жестоко раздражать  
Торжествующий над правдою злодей.

Цени рабства ненавистны для меня:  
Эти цени так пронзительно звучат!  
И их слушаю я, голову склоня,  
Жду, когда они утихнут, замолчат.

Но покруг меня—разврат и нищета;  
Кровь людская льется быстро, как поток.  
Мы не помним слов распятого Христа:  
«Да не будет ближний с ближними жесток!»

«Братство», «равенство»—забытые слова;  
Мы теперь их презираем и клянем.  
Братство крепко, как иссохшая трава,  
Истребленная губительным огнем.

Наше равенство? Мы разве не равны?  
И о чем же я, безумствуя, скорбел?  
Я скорбел о том, что негры все черны,  
А плантатор, властелин их, чист и бел.

В чем их разница? Один из них богат;  
Кожа тонкая прозрачна и бледна;  
У другого кожа блещет, как агат,  
В этом вся его ужасная вина.

«Белый» «черного» преследует с бичом,  
И не брата в нем он видит, а раба...

Будь тот проклят, кто родился палачом,  
Пусть казнит его жестокая судьба!

Нет, невольником владеть я не могу,  
Не желаю, чтобы в полдень, в летний  
зной,

Негр давал прохладу белому врагу,  
Опахалом тихо вея надо мной.

Нет, невольником владеть я не хочу,  
Не желаю, чтоб он в рабстве изнывал  
И, послушный беспощадному бичу,  
Кровью-потом нашу землю обливал.

В человеке человека полюбя,  
Не хочу я и не в силах им владеть.  
Легче цепи возложить мне на себя,  
Чем на брата-человека их надеть.

## НАКАНУНЕ КАЗНИ

Тихо в тюрьме. Понемногу  
Смолкнули говор и плач.  
Ходит один по острогу  
С мрачною думой палац.  
Завтра он страшное дело  
Ловко, законно свершит:  
Сделает... мертвое тело,  
Душу одну... порешит.  
Петля пеньковая свита  
Опытной, твердой рукой,  
Рвать—не порвешь: знаменита  
Англия крепкой пенькой.  
Сшит и колпак погребальный...  
Как хорошо полотно!  
Женщиной бедной, печальной  
Тяглось с любовью оно;  
Детям оно бы годилось,  
И прав, словно снежок,  
Но в кабачке омутилось  
Искоре за батьки должок.  
Там англичанин, заплечный  
Мастер, буянил и пил;  
Труд горемыки сердечной  
Он за бесценок купил.  
Дюжины три иль четыре  
Он накроил колпаков  
Равных—и уже и шире,  
Для удалых бедняков.  
Все колпаки—на исходе,  
Только в запасе один;  
Завтра умрет при народе  
В нем наш герой-паладин.



Кто он?.. Не в имени дело;  
Имя его—ни при чем;  
Будет лишь сделано «тело»  
Нашим врагом-палачом.

Как эту ночь он выносит,  
Как пред холодной толпой  
Взор равнодушный он бросит,  
Или, безумно-тупой,  
Как в содраганиях повиснет,  
Затрепетав, словно лист?  
Все разузнает и тиснет  
Мигом статью журналист.  
Может быть, к ней он прибавит,  
С едкой сатирою так:  
«Ловко палач этот давит,  
Ловко он рядит в колпак!  
Скоро ли выйдет из моды  
Страшный, проклятый убор?  
Скоро ли бросят народы  
Петлю, свинец и топор?»

1865

## ДОЧЬ ОХОТНИКА

«Холодно мис, холодно, родимая!»—  
«Крепче в холод спится, дочь любимая!  
Богу помолиться не мешало бы,  
Бог услышит скоро наши жалобы.  
Тятышка твой с добычею воротится;  
В роуце за медведем он охотится.  
Он тебя согреет теплой шубкою,  
Ногенну ватинет над голубкою.

Сни, спи, спи, дочь охотничка,  
Сни, спи, спи, дочь работничка!  
Сейчас же он  
Пришлет поклон  
Мне с ребятушками.  
О чем реветь?  
Убит медведь  
С медвежатунками».—

«Голодно мис, голодно, родимая!»—  
«Нету в доме хлеба, дочь любимая!  
Богу помолиться не мешало бы,  
Бог услышит скоро наши жалобы.  
Тятышка твой охотится с рогатиной;  
Он тебя накормит медвежатинной.  
Вдоволь мяса жирного отведаем,  
Слаще, чем купчина, пообедаем.

Спи, спи, спи, дочь охотничка,  
Спи, спи, спи, дочь работничка!  
Сейчас же он  
Пришлет поклон  
Мне с ребятушками.  
О чем реветь?  
Убит медведь  
С медвежатунками».—

«Снится сон тяжелый мне, родимая!»—  
«Что же снится? Молви, дочь любимая!»—  
«Тянька-охотничек мерещится:  
Будто под медведем он трепещется,  
Будто жалко стонет, умираючи,  
Кровь-руду на белый снег бросаючи...»—  
«Бог с тобой, усни, моя страдалица!  
Верь, что бог над нами скоро сжалятся.  
Спи, спи, спи, дочь охотничка,  
Спи, спи, спи, дочь работничка!  
Сейчас же он  
Пришлет поклон  
Мне с ребятушками.  
О чем реветь?  
Убит медведь  
С медвежатушками.»—

Тук... тук... тук!.. Соседи постучались,  
Старые ворота закачались.  
«Эй, скорей вставайте, непроворные!  
Мы приносим вести злые, черные:  
Вышли мы из лесу из дремучего,  
Встретили Топтыгина могучего  
Целою артелью без оружия...  
Мишка встал на лапы неуклюжие.  
Смял, смял, смял он охотничка,  
Сшиб, сшиб, сшиб он работничка,  
Пропал потом  
В лесу густом  
С медвежатушками,  
В тяжелый день  
Кошель надень  
Ты с ребятушками!»

## ОСЕНЬ

Осень настала—печальная, темная,  
С мелким, как слезы, дождем;  
Мы же с тобой, ненаглядная, скромная,  
Лета и солнышка ждем.

Это безумно: румяною зорькою  
Не полюбимся мы;  
Вскоре увидим, с усмешкою горькою,  
Бледное царство зимы.

Вскоре снежок захрустит под обозами,  
Холодно будет, темно;  
Поле родное скуется морозами..  
Скоро ль растает оно?

Жди и терпи! Утешайся надеждою,  
Будь упованьям верна:  
И под тяжелою снежной одеждою  
Всходит зародыш зерна.

## ТРИ ПОЭТА

(Лирическая сцена)

Гений человечества  
Ты куда убегаешь, страдалец?

Первый поэт

Туда—  
К древним храмам бездушным, холодным!  
Свежесть, юность меня не пленит никогда.  
Я стремлюсь к мертвецам благородным.  
К мавзолеям спешу; в них герои лежат  
Отдаленной великой эпохи.  
Здесь мне страшно! Боюсь, здесь меня  
раздражат  
Жалкой черни рыданья и вздохи.

Гений человечества  
Где живешь ты, безумец?

Первый поэт

В минувшем живу,  
Только в нем я вкушаю отраду...  
Отойди от меня! Не во сне—на яву  
Я желаю увидеть Элладу.  
Перед ней, с умилением руки сложив,  
Поклонюсь величавому праху...  
Пусть мне голову срубят с размаху,  
Но в Элладе душою останусь я жив!  
На живых мертвецов негодуя,  
Вижу в них слабосильных борцов,  
Но великие мысли найду я  
У бессмертных моих мертвецов.

Гений человечества

Ты куда держишь путь?

Второй поэт

По тропинке лесной,

Покидая бесплодные степи,

Я стремлюсь к берегам с вечно юной

весной.

Не звучат там презренные цепи;

Там, вдали от рабов, я не буду склонять

Низко голову—сильным в угоду.

Только там я надеюсь с любовью обнять

Вечно чистую *деву-природу*.

Бури бешеный стон и дыханье весны,

Злое горе и радость—все вместе

Я увижу в *природе-невесте*,

И пригрезятся мне благодатные сны,

В яркий солнечный луч и в туман облаков

Я охотно готов погрузиться.

Лишь *природа* не носит тяжелых оков,

Я желаю с *природою* слиться,

Перед ней трепетать...

Гений человечества

А молиться

Можешь ты за страдальцев—людей

бедняков?

Второй поэт

Не могу! О народе я тихо пою, v

И зачем громко петь о народе,

Если сердце мое, если душу мою

Посвятил я *царице-природе*?

За народ иногда я в потемках грущу:

Погибает он, слабый и дикий;

Но не в нем мысли светлые жадно ищут,

А в *природе* бессмертной, великой. v

Гений человечества

Ты куда?

Третий поэт

До свиданья! Нет, сердце мое

Не похоже, коллеги, на ваше.

Это сердце отыщет другое жилье—  
 В шумном городе. Лучше и краше  
 Там живется среди вековечной борьбы  
 Низкой хижины с гордым чертогом.  
 Там... клянусь и природой и богом,  
 Существуют святые герои-рабы.  
 ...Почему на меня вы глядите с тоской?  
 Иль во мне узнаете злодея?  
 Не ужасен мне шум, вечный шум городской:  
 В нем есть также живая идея.  
 Пусть услышу в столицах проклятья и стон,  
 Пусть увижу там бездну разврата,  
 Но в толле я найду друга-брата,  
 Мудреца, как ваш древний великий Платон.  
     Воспою ли ручьи и долины?  
     Поклонюсь ли я вам, исполины  
     Старой спящей Элады, в полночном часу?  
     Я в вертепах найду не природу-красу,  
     Не обломки костей... Нет, я женщин спасу:  
     И в вертепах живут Магдалины.

✓ Утешать погибающих, слабых, больных,  
 В павшем брате не видеть злодея—  
 Вот в чем истина, вот в чем идея  
 Для смиренных людей, для поэтов земных! ✓

#### Гений человечества

Убежали все трое, исчезли вдали...  
 Но из них подлюблю я кого же?  
 Ты, мой третий поэт, друг печальной Земли,  
 ✓ Для меня всех милей и дороже!  
 Ты не враг величавый старинных гробниц,  
 Но пред ними безумно не падаешь ниц;  
 От природы не ждешь ты привета...  
 Пусть по-братски, отрадно звучит для темниц  
 ✓ Утешающий голос поэта!..

.25 января 1891

## ПЕРА СОЗДАНИЯ

Смех сквозь слезы — это верх страдания.  
Пережить бы только мрачный век...  
Может быть, как лучший *перл создания*,  
Заблестит *работник-человек?*  
Но теперь ему блистать нет времени,  
Тяжело идти вперед, вперед;  
Бродит он, без роду и без племени,  
И зсмелюку пашет и орет.  
Он глядит с тоской на землю серую  
И, краснея, плачет от стыда;  
Но земле он верен...  
Сам я верую,  
Что земля—светило, господа!

Над Землей когда-нибудь да сжалится  
Батько-Солнце, светлый чародей,  
И Земля пред Солнышком похвалится,  
Приютит работников-людей.  
На Земле не будет пушек грохота,  
Навсегда умолкнет звук мечей,  
И народ, сквозь слезы, после хохота,  
Позабудет предков-палачей.  
Мир-Любовь украсятся победою,  
И окрепнет царствие Труда...  
Это будет, будет... Сердцем ведаю,  
Но когда?—Не знаю, господа!



## ГУСЛЯР

Аль у сокола  
Крылья связаны?  
Аль пути ему  
Все заказаны?

*Кольцов.*

Гой вы, ребята удалые,  
Гусляры молодые,  
Голоса заливные!

*Лермонтов.*

Жил гусяр. Во дни минувшие  
Правду-матку проповедывал;  
Он будил умы уснувшие,  
По кривым путям не следовал.

Пел гусяр: «Веди нас, боженька!  
Невтерпеж тропинка узкая...  
Гой ты, славная дороженька!  
Гой еси ты, песня русская!

Не в тебе ли светит зорюшка  
Для народа исполнского?  
Долетай до Бела морюшка,  
Вплоть до морюшка Хвалынского.

Не кружись вокруг да около!  
У тебя ли крылья связаны?  
Для тебя ли, ясна сокола,  
К небесам пути заказаны?»

Околдован словно чарами,  
Пел гусяр... В нем сердце билось..  
А теперь, на грех, с гусярами  
Злое горюшко случилось.

Ни пути нет, ни дороженьки...  
Нет орлов; не видно сокола.  
Устают больные ноженьки,  
Бродят все вокруг да около.

Гой ты, песенка-кручинушка,  
Песня бедная, болящая,  
Не угасни, как лучинушка,  
Тускло-медленно горящая!

Вместо песни, слышны жалобы  
На судьбу злодейку гневную...  
Спать гусярам не мешало бы  
Песню чудно-задушевную,—

Чтобы сердце в ней не чахнуло,  
Не дрожало перед тучею,  
Чтобы в песне Русью пахнуло,  
Русью свежеею, могучею!

1893

СТИХОТВОРЕНИЯ,  
НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИК 1894 г.

СТРЕЛОК

Догорела уж лампада,  
Свечи тоже догорели...  
Грустных дней моих отрада  
Почивает в колыбели.  
Спи, моя малютка,  
Спи, ребенок нежный,  
Цветик незабудка,  
Ландыш белоснежный!

Ты, закрыв лениво глазки,  
Лепетала мне упрямо:  
«Говори скорее сказки,  
Говори же, душка мама,  
Как стоит избушка  
Там на курьих ножках,  
Как живет вострушка  
В красненьких сапожках?»

Я баюкала и пела,—  
И теперь мой голос звонок,—  
Только быль одну не смела  
Рассказать тебе, ребенок.  
Жил стрелок когда-то,  
Жил по-барски, строго;  
Погубил, проклятый,  
Красных девок много!

Он ведь не был людоедом  
И не лакомился мясом  
Бедных девок за обедом,  
А ласкал их поздним часом.

Всех держал в неволе,  
Мучил за работой,  
И частенько в поле  
Ездил за охотой.

И ни зайцы, ни лисицы  
Пули меткой не боялись;  
Только бабы да девицы  
От него не укрывались...  
Встретится старуха.  
— Где?—он грозно скажет.  
Та ответит глухо  
И на рожь покажет...

И оттуда он поспешно  
Уходил, позвав Фингала...  
Кто-то плакал неутешно,  
А стрелку и горя мало!  
Ведь охота—шутка,  
Честное занятие...  
О, пошлем, малютка,  
Мы стрелку проклятье!

1865



Я легко спорхнула, с матушкой не споря,  
Полетела к мужу, умереть от горя.  
Вижу, муж-изменник вышел на охоту,  
Распевая песни, ходит по болоту;  
В дерево он метит, в самую верхушку,  
И на ней подстрелит серую кукушку.

1867

## ЛИТОВСКАЯ ПЕСНЯ

— «Знаю, ворон, твой обычай:  
Ты сейчас от мертвых тел;  
Ты с кровавою добычей  
К нам в деревню прилетел.  
Где же ты летал по свету?  
Где, кружась, над мертвецом,  
Ты похитил руку эту,  
Руку белую с кольцом?»  
— «Все скажу тебе, невеста,  
Не таясь перед тобой.  
За горами это место,  
Где кипел кровавый бой.  
Много в нем легло убитых,  
Пораженных наповал;  
Да и ранами покрытых  
Я не мало заклевал.  
Пир кровавый, пир богатый  
Буду помнить целый век;  
Но пришел туда с лопатой  
Ненавистный человек.  
Он прогнал меня насилу,  
И, спасая от зверей,  
Закопал в одну могилу  
Мертвецов-богатырей.  
Волки их теперь не тронут,  
И в могильной тишине,  
На курган, упавши, стонут  
Только матери одни...»  
Кровь прихлынула к сердечку,  
Пошатнулась я слегка:  
И узнала по колечку,  
Чья у ворона рука.

Из родительского дому  
Перстенок я унесла  
И литвини молодому  
На прощанье отдала.

1868



## БАРСКИЕ СНЫ

Ночь. На стареньком диване  
Барин сладко спит;  
Покраснел он, будто в бане,  
И храпит, храпит.  
Вдруг супруга молодая,  
Хороша, мила,  
От бессонницы страдая,  
К мужу подошла.  
В бок его толкнула нежно  
Крошкой-кудачком,—  
Но супруг храпит прилежно  
И лежит ничком.  
Оскорбилася супруга:  
— «Встань, проснись, тюлень».  
И вскочил он от испуга,  
Победивши лень..  
— «Что такое, что такое?»  
— «Душка, обними»...  
— «Ах, оставь меня в покое,—  
Сплю я, топ апі.  
Снилось мне, что будто в поле  
Русаков травлю  
И кричу по барской воле:  
Тю-лю-лю-лю-лю!  
За бедняжкой косоглазым  
Я скачу в кусты..  
Ты пришла — и скрылась разом  
Сладкие мечты.  
Спи, мой ангел, будь здорова, —  
Я всхрапну слегка  
И, авось, увижу снова  
В поле русака».

Ночь. Петух запел вторично,  
Барин сладко спит  
И весьма негармонично  
Фистулой храпит.  
Вновь супруга молодая,  
Хороша, мила,  
От бессонницы страдая,  
К мужу подошла.  
Будит мужа. — «Что с тобою?»  
— «Ангел, обними».  
— «Да оставь меня в покое, —  
Сплю я, топ апі.  
Снилось мне, что бюрократом  
Я служу добру;  
Не гнушаясь, впрочем, златом,  
Вяточки беру.  
Распеклю всех со злобой  
И кричу: «Под суд!»,  
И меня уже «особой  
Важною» зовут.  
Ты, прилично генеральше,  
Как и муж, горда...  
Но затем случилась дальше  
Страшная беда:  
Ты пришла и сокрушила  
Рой волшебных грез,  
Места теплого лишила,  
Чорт тебя принес...  
Спи, мой ангел, будь здорова, —  
Спать и я хочу,  
И, авось, местечко снова  
Теплое схвачу».

Утро. Солнце светит ярко,  
Барин сладко спит  
И, порою, как кухарка  
Пьяная, храпит.  
Вновь супруга молодая,  
Хороша, мила,  
От бессонницы страдая,  
К мужу подошла.  
Будит мужа. — «Что такое?»  
— «Душка, обними».

— «Ах, оставь меня в покое,  
Чорт тебя возьми!  
Снился сон: иду я с веком  
Нашим наравне,  
Стал я «земским человеком»,  
Либерал вполне;  
Преисполненный страданья,  
Тьму реформ ввожу  
И для земского собранья  
Глотки не щажу.  
Я на земские налоги  
Сыт с тобой, с детьми.  
Но при том у нас дороги  
Лучше, чем в Перми...  
И представь, мои проекты  
Русь читает вся...»  
Но в ответ супруга: — «Эк ты,  
Душка, заврался.  
Без тебя я не уснула, —  
Все будил сверчок...»  
И опять она толкнула  
Мужа под бочок.

## МОЛОДО-ЗЕЛЕНО

Свыше нам сказано, свыше нам велено:

«Не торопитесь! Молодо-зелено!

Нужно сперва подрасти...»

Так-то всё так... Деревца мы зеленые,

Жизненным опытом не закаленные;

Выросли мы на пути

К свежему, к доброму, к благу народному...

Дайте же, дайте скорее свободному

Деревцу вновь расцвести!

## К МОЕМУ СТИХУ

Мой бедный неуклюжий стих  
Плохими рифмами наряжен,  
Ты, как овечка, слаб и тих,  
*Но, слава богу, не продажен.* —  
«Слова! Слова! Одни слова!» —  
О нет, зачем же мне не верить?  
Пусть ошибется голова,  
Но сердцу стыдно лицемерить.

*5 ноября 1870*

## БОРЬБА

Бранное поле я вижу.  
В поле пустынном, нагом  
Братьев ищю, пораженных  
Насмерть жестоким врагом.

Гневом душа загорелась,  
Кровь закипела во мне.  
Меч обнаживши, скачу я,  
Вперед на врагом, на коне.

Что-то издали раздается —  
Гром или бряцанье мечей..  
Все мне равно, лишь догнать бы  
Диких моих палачей!

Сивко мой гриву вкосматил,  
Весь он и кровавом поту...  
Как бы желал я за братьев  
Жизнь потерять на лету!

Милые братья, их было  
Шесть, молодец к молодцу;  
Каждый погиб за свободу  
Честно, прилично бойцу.

Пусть и седьмой погибает,  
Жизнь отдавая свою!  
Дай же, судьба, мне отраду  
Пасть за свободу в бою!

1877

## ПАН ДАНИЛО

(Белорусская песня)

Поехал пан Данило на страшную войну,  
Оставил мать-старуху да верную жену.

Ему старуха пишет: «Сынок родимый мой,  
У нас в семье неладно, вернись скорей  
домой.

Жена твоя гуляет все ночи напролет,  
И выпила до капли из бочек сладкий мед.

Все сукна износила, замучила коней,  
И денег ни полушки не водится у ней».

Данило воротился и смотрит палачом,  
Жена его встречает, невинная ни в чем,

Сынка в объятьях держит.. Суровый  
человек,  
Данило, саблю вынув, ей голову отсек;

Внимательно и зорко он осмотрел подвал:  
Никто из бочек меду ни капли не пивал;

Сундук тяжелый отпер: целехонько сукно,  
Убитою женою не тронута оно.

Отправился в конюшню обманутый злодей:  
Овса и сена вдоволь у бодрых лошадей.

Он бросился в светлицу: там золото лежит,  
А мать его, старуха, над золотом дрожит.

«Здорово, мать, здорово... Жена моя в избе.  
Ее убил я саблей, но грех весь на тебе;

Твой первый грех, что рано Данило овдовел,  
А грех второй, что сын мой теперь осиротел,

А третий грех... покайся, родная, пред концом...»  
Данило речь не кончил, он досказал, свинцом.

1868



## ЖЕЛЕЗНАЯ ПИЛА

Мне не нужно золота,  
Не хочу.  
Я отдам все золото  
Палачу,  
Лишь бы друга милого  
Не губил,  
С плеч его головушку  
Не рубил.

Мне не нужно звонкого  
Серебра:  
В серебре и золоте  
Нет добра.  
Но железо твердое  
Я люблю,  
Им решетки ржавые  
Распилю!

Ничего не сделаю  
Без пилы,  
Не сниму я с узника  
Кандалы.  
Ой, пила железная,  
Не звучи —  
Чутко спят угрюмые  
Палачи.

М. Н. КАТКОВУ

Живется тяжело на Руси,  
И плачем мы, склонясь над урной...  
В наш век тревожный, в век наш бурный  
Нас от урядников спаси  
Хоть ты, жандарм литературный!

*6 апреля 1878*

## ЕЛКА

Много елок уродилось в лесу.  
Я одну из них тихонько унесу.  
Елку бедную навеки погубя,  
Не детей хочу утешить, а себя;  
Для себя ее украшу как могу...  
Только вы, друзья, о елке—ни гу-гу.

Ни картинок, ни игрушек, ни огней —  
Ничего вы не увидите на ней.  
Я по-своему украшу деревцо:  
У меня вдруг затуманится лицо,  
Слезы брызнут—слезы жгучие—из глаз  
И на веточках заблещут, как алмаз.

Пусть на хвое, как таинственный наряд,  
Эти слезы — эти блесочки горят.  
Пусть погаснут лишь пред солнечным  
лучом,—  
Вот тогда я не заплачу ни о чем...  
Нет, заплачу. Но тогда уж ель мою  
Я свободными слезами оболью.

*25 декабря 1879*

## МЕЛОДИИ ИЗ «ЖЕЛТОГО ДОМА»

(Из *Вл. Сырокомли*)

### I

И владею целым миром, всем, что в мире обитает,  
Что в нем плавает и ходит, пресмыкается, летает.  
И неман, и спод небесный — все мое! Владея ими,  
И божьи власть утратить над вассалами мои.  
Набога канчом и запер осторожно, со споровкой,  
И свивла я твердь земную дашшой, крешкою перевкой;  
Ключ в мармане, а перяку нам не пирвать и тискамы:  
За кощы се схватился я обеими руками...  
Люди, тише! Духи, тише! Вы себя ведите строже!  
Не шуметь, не волноваться — а не то... избави, боже!  
Покосель на вас сердито, так и топну, погодите,  
Что и смущенья и тревоге кувыркком вы полетите!  
Тише, тише... Спать хочу я, но сомкнуть глаза нет мочи.  
Загасить скорее солнце! Блеск его мне колет очи...  
Если ж солнце не захочет прекратить мое терзанье,  
Голову ему обрейте без пощады, в наказанье,  
Как и мне ее обрили мраколюбцы-лиходеи,  
Чтоб она не проливала в свет блестящие идеи.

### II

Смотрите! Вот в печку чертенок вскочил.

И встретил его, будто кума, учтиво.

Чертенок из всех выбивается сил,

Огонь раздувает он крыльями живо.

Микстуру для света готовит и рад,

Что оншум с маком мешает когтями;

Вала капсельку крови, чтоб был аромат,

Дополил, для вкуса, лекарство... слезами.

Горчицы достал из французских газет,  
Кваску — из немецких; взяв мелкие крохи  
Надутаго чванства из них же, чтоб свет  
Понюхал, чем пахнет от нашей эпохи.

Микстуру в бутылку старательно влил,  
Закупорил крепко с улыбкою злою,  
И горлышко склянки своей засмолил  
Смолою кипящею, адской смолою.

Потом сигнатурку принялся писать,  
И вот что на ней написал он сурово:  
«В столетье три раза ее принимать,  
Тогда человечество будет здорово».

### III

Ах, войдите, милый доктор, вы учились, без сомненья,  
Различать все минералы, и металлы, и каменья.

Вас просить я смею:

Повнимательней взгляните, как мне люди порадели,  
Удивительные четки люди добрые надели

На больную шею.

Тверды, будто бриллианты, и воды прозрачней, чище,  
Эти четки озаряют наше бедное жилище:

Будто солнце блещут, —

И миллионами сияний, чрез мгновение, проворно  
Изменяясь, отливаясь, удивительные зерна

Радужно трепещут.

Как головка у булавки, посредине каждой четки

Капля красная из крови, точно у сиротки,

Светится алмазом.

И от них благоуханье к небу ясному струится,  
Но внутри их — ты не пробуй — горечь адская таится.

Отравишься разом.

Назови же этот камень. Отвечай мне, доктор. Ну-ка!

Или знать всего не может эскулапская наука!

Мой ученый жалкий?

Мне же сердце подсказало, сердце—вещий мой оратор:

То сухие слезы негра. Вызвал их злодей плантатор

И бичом и палкой.

## ДО ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ И БЕЛЫХ СЛОНОВ

(Ярмарочные монологи)

### I

Господи! господи! Что это мне  
Все нехорошее снится во сне?  
Кажется, я человек не безбожный,  
Кажется, и не ямечен ни в чем...  
И коммерсант до того осторожный,  
Что перестал торговать кумачом,  
Ибо кумач есть материя красная,  
Стало быть, очень и очень опасная...

...К чорту — кумач!  
Женка, не плачь!  
Дай-ка мне водочки,  
Дай мне селедочки!..  
Выпить до чортиков смею!  
Если же явится врач —  
В шею!

### II

Слушай, жена! Хоть ворчи — не ворчи:  
Все на подбор либералы врачи.  
Я охмелел, но все вижу и слышу,  
Буду всегда с либералами яр..  
Красною краской желает всю крышу  
Вымазать нанятый мною маляр..  
Цыц! Не шалить!! Мы живем под опаскою.  
Крышу мне выкрасить дикою краскою!

...Вот мой совет:  
Дикость — не вред..

Дай-ка мне водочки,  
Дай и селедочки...  
Выпить я смею!  
А для врача — «Дома нет»!—  
В шею!

### III

...Весь я дрожу. На душе кипяток, —  
Баба напялила красный платок.  
«Марья! Ведь это есть цвет либеральный, —  
Предупреждаю, хозяйку любя, —  
Явится в гости свирепый квартальный  
Да и отправит в кутузку тебя...  
Впредь же платки от хозяина честного  
Ты покупай только цвета небесного».

Грозен я сам:  
Всех — по усам!  
Дайте мне водочки,  
Дайте селедочки!  
Выпить до чортиков смею...  
Врач если явится к нам —  
В шею!

### IV

...Я взбушевался. В башке ураган...  
Книжку читает мой сын-мальчуган,  
Книжку с проклятою красной обложкой...  
Значит: не чисто! Я все разгадал:  
И над моим гимназистиком-крошкой  
Может сейчас разразиться скандал:  
Петьку сейчас из-за этой грамматики  
В красной обложке отправят в солдатики...

Петька! Не тронь!  
Книжку — в огонь!  
Дай еще водочки,  
Дай и селедочки!  
Выпить я смею...  
Явится лекарь — гони его  
В шею!

Экое времечко нажали мы!  
 Красного цвета боюсь, как чумы.  
 Некогда плакал пророк Еремия,  
 Плачу я тоже... Послушай, жена!  
 Пусть я допьюсь до зеленого змия  
 Или до белого даже слона;  
 Белый, зеленый — цвета не опасные,  
 Стало быть, очнь и очнь прекрасные...

Боже, храни..  
 Марья! Ни-ни!..  
     Дай еще водочки,  
     Дай и селедочки!..  
 И на слона  
 Выпить смею..  
 Кажется, армари конь?!  
 И шон!

1999



## РУЧКА, РУКА И ЛАПА

### I

Я смущаюсь и дрожу,  
Ручку я твою держу,  
Ручку нежную,  
Белоснежную.  
Ах! Зачем же так она  
И бледна и холодна,  
Ручка нежная,  
Белоснежная?

Эта милая рука  
Наградит ли бедняка  
И пожатием  
И объятием?  
Прочь, игривые мечты!..  
Устремись, ручонка, ты  
Пальцев кончики  
На червончики...

### II

Я смущаюсь и дрожу,  
С «озлоблением» держу  
В ночь морозную,  
Руку грозную.  
Эта грозная рука  
Пошадит ли бедняка?  
Не задавит ли?  
Не отправит ли?..  
...А куда? Куда? Куда?  
Много стран есть, господа.

Удивительных,  
Прохладительных!

### III

Лапу твердо я держу  
И, по совести скажу,—  
Лапу милую,  
Непостылую.  
Эта лапа мужика,  
Хоть мозольна, но легка,—  
Лапа важная,  
Не продажная!

...Иль я слеп и бестолков?  
Иль на лапе перстеньков  
Не имеется?  
Но мозоль на лице той,  
Честной, доброй и простой,  
Мне видится...  
И она дороже их  
Перстеньков дорогих,  
Разумеется!

1983

## ПИИТА

Раз народнику-пите  
Так изрек урядник-ундер:  
«Вы не пойте, погодите,  
Иль возьму вас на цугундер!»

Отвечал с улыбкой робкой  
Наш певец, потупя очи:  
«Пусть я буду пешкой, пробкой,  
Но без песен жить нет мочи.

Песня в воздухе несется,  
Рассыпаясь, замирая,  
С песней легче сердце бьется,  
Песня—это звуки рая.

Песне сладкой все покорно,  
И под твердью голубою  
Песнь не явится позорно  
Низкой, подлою рабою.

Песня—радость в день печальный,  
С песней счастлив и несчастный...»  
Вдруг—свисток. Бежит квартальный,  
А за ним и пристав частный.

Отбирают показанья  
Твердой, быстрою рукою:  
«Усладили вы терзанья  
Русской песней, но какою?»

Вы поете о народе,—  
Это вредно. Пойте спроста:  
«Во саду ли, в огороде»...  
«Возле речки, возле моста»...

Много чудных русских песен  
Как пиите вам известно...  
Мир поэзии не тесен,  
Но в кутузке очень тесно».

Внявши мудрому совету,  
Днесь пиита не лукавит:  
Он теперь в минуту эту  
Лишь Христа с дьячками славит.

*21 декабря 1884*

## NOTTURNO

Далеко до блеска мая...  
Ночь холодная, немая  
Смотрит мрачным палачом.  
В окна вьюга бьет тревогу,  
И на улицу, ей-богу,  
Не заманишь... калачом.

Ночь темна. Играй хоть в жмурки.  
Леденя, у конурки,  
Вторит вьюге бедный пес.  
Ох ты, пес мой, пес мохнатый,  
Сколько ты в ночи проклятой  
Злого горя перенес!

Далеко до блеска мая...  
Вьюге жалобно внимая,  
Встал с полатей мужичок,  
От бабенки отвернулся,  
Почесался, потянулся  
И умчался... в кабачок.

Далеко до блеска мая...  
Спотыкаясь и хромая,  
Утопая вся в снегу,  
Лошаденка страх-худая.  
Колокольчик, «дар Валдая»,  
Приуныл—и ни гу-гу.

Ночь темна. Луна не блещет.  
Мужичок кобылку хлещет.  
Бесконечно, без числа,  
У кобылки поступь шатка...

Сколько муки ты, лошадка,  
В злую ночь перенесла!

Ночь светлеет понемногу,  
Месяц выступил в дорогу,  
Озаря небосвод..  
Небо зимнее лазурно,—  
И тоскливое «Nottugno»  
Ведьма-вьюга не поет.

*1 февраля 1889*

## ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

Сегодня много лет минуло нам... О Муза!  
Состарились с тобой мы оба... Грустно мне,  
Но я еще бодрюсь и не хочу союза  
С тобою разрушать в душевной глубине.

Не обольщали нас небесные светила,  
Не увлекались мы в мечтах: «Туда, туда!»  
Со мной ты злилась, смеялась и грустила,  
Когда царил Порок и плакала Нужда.

Как юноша-поэт, «восторгами объятый»,  
Я к небу не летал (царит на небе мгла).  
Родимая земля с печальной русской хатой  
И с грустной песенкой к себе меня влекла.

Ты не являлась мне в венке благоуханном:  
Он не к лицу тебе, союзница, поверь.  
Но...—грешный человек...—в мечтании туманном,  
Я верил, что для всех есть «милосердья дверь».

Как сказочный Иван, «по щучьему веленью»,  
Я с трепетом молил смиренно вот о чем:  
«Пусть Солнце-батюшко младому поколенью  
Даст с неба весточку живительным лучом.

Пусть юноша-поэт забудется, срывая  
«С одежды облачной цветы и янтари».  
Не так поется мне... Пою, не унывая:  
«Ох, Солнце-батюшко! Весну нам подари!

Пусть скроется навек земное «горе-лихо»...  
Тогда, в желанный час, мы с Музою вдвоем,  
Забывшие людьми, уснем спокойно, тихо,  
И песню сладкую в могиле допоем».

1889.

## ДУША-ЧЕЛОВЕК

Живя согласно с строгою моралью,  
Я никому не делал в жизни зла...

*Некрасов.*

### I

Он был в душе прекрасен... если ночь,  
Ночь темную назвать прекрасной можно,  
(Он на нее поком был...) Даже дочь  
Красавицу преследовал безбожно.  
Убежище в стенах монастыря  
Она нашла от батюшкиной сети...  
...И умерла...

«О, дети! Наши дети!»

Отец стоял, поминки сотворя.

### II

Он был добряк: менял на пяточки  
По праздникам для нищих рублик медный.  
Толпа пред ним рвала себя в клочки,  
А он вздыхал: «Как добр народ наш бедный!»  
И жарко он молился... (Если вы  
Считаете молитвою простою  
И чистою—пред девою пресвятою  
Кивание злодейской головы).

### III

Оратор был он также не плохой  
И возглашал прекраснейшие тосты  
За жирною янтарною ухой:



«Брат-мужичок! Как высоко возрос ты!  
Пью за тебя, кормилец и герой!»  
...А про себя он думал в то же время:  
«Проклятое все хамовское племя,  
С охотою прогнал бы я сквозь строй!»

#### IV

...Оратору смертельный выпал номер.  
Он спит в гробу... Звонят в колокола.  
Толпа ревет: «Наш благодетель помер,  
Свершив свои великие дела.  
...Спи, мирно спи, герой наш благородный,  
И на суде последнем не робей!  
Ты чист и свят, невинней голубей!»  
И к небесам несется глас народный:  
«Он нищету любил и в год голодный  
Пожертвовал... два пуда отрубей!»

*23 июня 1891*

## АЛЕКСАНДР III и ПОП ИВАН

Поп входит и благословляет царя, который  
целует у него руку.

Ц а р ь

Глава моя покрыла туман:  
Страдную и от муки адской...  
Ты кто такой?

П о п

И . И о а н н .  
Твой богомолец, поп Кронштадтский<sup>1</sup>.  
Раскаяться желаешь?..

Ц а р ь

Да...  
И опасюсь скорой смерти...  
Ведь и с царями иногда  
Пешехливы бывают черти.  
Боюсь, что в «жупел» попаду...  
Спаси меня от чорта, друже!  
Я не хочу сидеть в аду:  
Он Гатчины гораздо хуже...  
О, Гатчина, мой милый кров,  
Приют спокойный и любезный!  
Там без немецких докторов,  
Владея силою железной,

<sup>1</sup> Ионин Кронштадтский—кронштадтский поп Иван Сергеев, мра-  
водец, лютый реакционер, черносотенец, член «Союза русского на-  
родо».

Я был, как толстый бык, здоров.  
Там под «особенной охраной»<sup>1</sup>  
Любил я полуночный мрак,—  
От света пятился, как рак,  
И озарялся лишь... Дианой.

П о п  
Луною, сиречь?

Ц а р ь

Точно так...  
Я мифологии когда-то  
Учился тоже, но потом  
Все позабыл...

П о п

Умно и свято  
Ты поступил...

Ц а р ь

Себя с кротом  
Любил я сравнивать, бывало...  
Крот ненавидит светлый день,  
Ему в норе приятна тень,  
Ему до солнца дела мало!  
Пускай на небесах оно  
Горит и пышет, землю грея:  
Кроту забавно и смешно...

П о п

Замечу на сие одно  
Тебе по долгу иерея:  
Ты судишь здраво... Мы—попы,—  
Псалтырь и святцы взявши в руки.  
Давно решили: для толпы  
И для царей—зачем науки?  
Тебе—царю, как пастуху,  
Чтобы пасти народов стадо,  
В руках иметь лишь плети надо,

---

<sup>1</sup> Намек на «Положение о чрезвычайной охране», введенной при Александре III.

А не науку—чепуху!  
Она зловредна. Верь мне, чадо!

Ц а р ь

Да, правда: в оны дни, попович,  
Профессор Константин Петрович  
Премудро наставлял меня,  
Что «ночь» гораздо лучше «дня»...

П о п

Сие похвально! Крестоносцев  
Храбрей сей хитроумный муж:  
Забывая о спасеньи душ,  
Воюет наш Победоносцев<sup>1</sup>,  
Со «штундой» борется умно  
В союзе с праведным монархом;  
Его попы зовут давно  
Святым «гражданским патриархом».  
С Победоносцевым вдвоем  
Ты посвал, как божий воин!  
Ты рая светлого достоин,  
И о бессмертии твоём  
Молебен живо мы споем..

Ц а р ь

Нет, не поможет твой молебен!

П о п

Отчаяние есть смертный грех.  
Верь мне, властитель полумира,  
Еще крика твоя порфира..

Ц а р ь

Нет, слишком много в ней прорех.  
Она в дырах, она в заплахах,  
Не рыцарь я в блестящих латах...<sup>2</sup>

<sup>1</sup> К. Победоносцев — один из вдохновителей крепостнической реакции в 80-е и 90-е гг. и в начале нынешнего века. Имел огромное влияние на Александра III.

<sup>2</sup> Стихотворение не закончено.

## ИМЯ-РЕК, ИЛИ НЕМО

Сын. Папенька, что значит выражение «Имя-рек»?

Отец. Это значит очень просто: где-нибудь имя, преимущественно плебейское: Сидор, Карп, Иван, Матрена, Дарья, ну и так далее.

Сын. А как правильно перевести по-русски слово «Немо»?

Отец. Гм! Чертовски «латынь» ослабили: вашего брата за подобный вопрос сечь бы следовало. А я, как любящий родитель, только уши тебе надеру... Что, больно, негодяй? Не визжи! Помни, болван, что «Немо» значит «Некто», т. е. такой «Некто», от которого зависит и казнить и миловать... Пошел в угол, негодяй.

*(Из будущей комедии:  
«Мы ваши и вы наши»).*

### I

Ты знаешь ли край, где в июле с косой  
Идет «Имя-рек» по траве изумрудной?  
Идет он, увлажненный свежей росой,  
На страдное поле, на подвиг свой трудный,  
В лаптишках худых или вовсе босой...  
Ему ль наслаждаться природою чудной?  
Ведь он не француз, не испанец, не грек.  
Он (знаешь ли, Немо?) мужик... Имя-рек:

### II

Ты знаешь ли край, где осенней порой  
В лачуге сверкает и гаснет лучина?  
От смрада в лачуге очей не открой...

Какая тоска в ней, какая кручина!  
О, кто бы ты ни был, мой Нето-герой,  
Желаю тебе и богатства и чина,  
Желаю, условно, чтоб он—Имя-рек—  
Тобой был обласкан, как «брат-человек».

### III

Ты знаешь ли край, где сурова зима,  
Где солнца не видно, роскошного солнца,  
Где царствует холод, где сходят с ума,  
Где совесть и честность дешевле червонца?  
Безумец! Он верит, что скроется тьма,  
И солнышка-ведрышка ждет у оконца.  
Ужель на погост—в свой последний  
ночлег—  
Без зорьки, без света пойдет Имя-рек?

### IV

Ты знаешь ли край, где весна хороша,  
Где веет черемуха запахом свежим,  
Где нужно от сна разбудить голыша,  
Которого мы так «отечески» нежим?  
Ты знаешь ли Нето? Жива в нем душа...  
Ужели мы душу израним, изрежем?..  
По-братски, и ныне, и присно, вовек,  
Да будут жить Нето и он... Имя-рек.

1891

## НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ

Недопетая песня допета,  
Будет лучше в грядущие дни,  
А теперь... не казните поэта:  
Все мы грешнице Музе сродни.

Наша грешница Муза сквозь слезы  
Напевает со смехом: «Молчи!  
Стыдно петь, как румяные розы  
Соловьев полюбили в ночи».

Верю слепо: добрей и чудесней  
Будет мир в наступающий век.  
С недопетой страдальческой песней  
Не погибнет поэт-человек.

Все, что живо, светло, благородно,  
Он тогда воспоеет от души,  
Покарает злодейство свободно,  
Наяву, а не в темной глуши.

Ждите, братья, святого рассвета,  
А теперь... погасите огни.  
Недопетая песня поэта  
Допоется в грядущие дни.

15 января 1892

## ПЛЯСКА ВЕСНЫ

Я не поэт, но с любовью глубокой  
Музе-шалунье, как эхо, служу,—  
И на полянках, и в роще широкой,  
Всюду в природе певцов нахожу.  
Веет ли ветер спасительный с юга,  
Дождь ли струится в ненастные дни,  
Злится ли ведьма проклятая—выюга,—  
Все... в своем роде... поэты они.  
Каждый по-своему, кто как умеет,  
Так и поет... Запретить им нельзя.  
Только Весна петь зимою не смеет,  
В обуви легкой по снегу скользя.  
Жаль мне ее—ненаглядную крошку,  
Боязно мне: упадет вдруг ничком.  
...Встань, чародейка, и ножка об ножку  
Живо, свободно ударь каблучком.  
Мир будет лучше, светлей и чудесней,  
Если душа в нем навек не замрет.  
Если с веселой «Камаринской песней»  
Рядом с «Весной» мир помчится вперед.  
Гой, ты еси, плясовица! Кто пашет,  
С тем и гулай, веселя мужика.  
Он под весенние песни запляшет,  
Если сыграешь пред ним трепака.  
Гой ты, Весна-плясовица, воскресни!  
Ждут не дождутся тебя голыши...  
Ловко, под звуки «Камаринской песни»,  
Ты—со свободным народом пляши!

20 января 1892



## РАК И ЧЕРЕПАХА

*Басня*

Насмешник Рак, увидев Черепаху,  
Язвительно ее спросил:  
«Куда, сударыня, бежите вы с размаху,  
До истощенья слабых сил?»

На это Черепаха так  
Ответила: «Любезный Рак!  
Я быстрым ходом не хваляюсь,  
Но все-таки *вперед* стремлюсь,  
Не ползала презренно вспять,  
А ты опять  
Ползешь назад, насмешник дерзкий,  
Ни дать, ни взять,  
Как «рак журнальный» — князь Мещерский!»

*5 декабря 1892*

С. Д. ДРОЖЖИНУ

Век жестокий, век проклятый  
Я едва ль переживу,  
Я чудесный век двадцатый  
Не увижу наяву.  
Вы, мой друг, меня моложе,  
Вы—поэт и человек,—  
Дай вам счастье, правый боже,  
Увидать свободный век!

9 января 1894

## В ГЛУХОМ САДУ

Пусть в вальсе игривом кружится  
Гостей беззаботных толпа,—  
Хочу я в саду освежиться,  
Там есть невидимка-тропа.  
По ней в час последней разлуки  
Я тихо и робко иду...  
Гремят соловьиные звуки  
В глухом саду.

Гремят соловьиные звуки...  
В саду мы блуждаем одни.  
Пожми горячее мне руки,  
Головку стыдливо склони!  
Под пологом северной ночи,  
Не видя грядущей беды,  
Пусть светят мне милые очи,  
Как две звезды.

Пусть светят мне милые очи,  
Пусть громче свистит соловей!  
Лицо мне, под сумраком ночи,  
Косой шелковистой обвей!  
Не видят нас звезды, мигая  
Миллионами радужных глаз...  
Еще поцелуй, дорогая,  
В последний раз!

Еще поцелуй, дорогая,  
Под вальс и под трель соловья!  
И я, от тебя убегаю,  
Сокроюсь в чужие края.  
Там вспомню приют наш убогий

И светлые наши мечты.  
Пойдем мы неровной дорогой—  
И я и ты.

Пойдем мы неровной дорогой  
На жизненном нашем пути...  
Ты издали с нежной тревогой  
Тернистый мой путь освети.  
Забудешь ты старое горе,  
Но вальс и певца-соловья  
Мы оба забудем не вскоре,  
Ни ты, ни я.

Мы оба забудем не вскоре,  
Как шли невидимкой-тропой,  
Как в темном саду на просторе  
Смеялись над жалкой толпой.  
Пора! Наступил час разлуки...  
Мне слышится в чудном бреду:  
Гремят соловьиные звуки  
В глухом саду.

*18 февраля 1894*

## БЕЗЫМЕННЫЙ ПЕВЕЦ

Жил когда-то гусяр.  
Не для знатных бояр—  
Для народа он песни слагал.  
Лишь ему одному  
В непроглядную тьму  
Вольной песней своей помогал.

Пел он звонко: «Не трусь,  
Православная Русь!  
Перестань голубком ворковать.  
Будь могучим орлом  
И иди напролом,  
Не дремли, повалясь на кровать...

Как не стыдно тебе  
В дымной тесной избе  
При лучинушке плакать вдовой?  
Ты по белым снежкам,  
По зеленым лужкам  
Пронесись, словно конь боевой!»

И от звуков певца  
Разгорались сердца,  
Молодела народная грудь,—  
И, надежды полна,  
Подымалась она  
И старалась поглубже вздохнуть...

Где скончался певец,  
Много-много сердец  
Пробуждавший на старой Руси?  
Где он спит под крестом

Сладко, крепко? О том  
У могил безыменных спроси...

Современный поэт!  
Дай правдивый ответ:  
Для кого, для чего ты поешь?  
С неизменной тоской,  
Для улады людской  
Что народу ты в песнях даешь?

Кроткий друг и собрат!  
Сладкой песне я рад.  
Ты поешь, как лесной соловей.  
Одного я боюсь—  
Что народную Русь  
Не разбудишь ты песней своей.

1897

## МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

(Из Томаса Гуда)

Жизнь, прощай! Слабеют чувства... Смерти шлю привет.  
Предо мной густые тени застилают свет.  
Наступает полночь жизни... Смерть—не за горой...  
Вижу я туман холодный, страшный и сырой;  
Слышу я могильный запах, чувствую в бреду,  
Что он запах роз цветущих заглушил в саду.  
Здравствуй, жизнь! Надежда снова освежила грудь,  
Темный страх исчез, и сладко я могу вздохнуть.  
Скрылись грозные виденья, нет их вокруг меня:  
Разлетелись, словно тени, на рассвете дня.  
Вновь блестят земля и небо... Свет дневной так мил...  
И слышней мне запах розы запаха могил.

27 октября 1895

## РУЧЕЙ

Скованный льдом, истомился ручей;  
Ждет он с небес благодатных лучей,  
Вырваться хочет,—как пленник, на  
волю,—

Думает: скоро ли вспыхнет весна?  
Скоро ли он, после зимнего сна,  
Змейкой завьется по чистому полю?

Как он—малютка—бывает хорош  
В летнее утро!.. Зеленая рожь  
Шепчет ему: Мой полец-дружнице,  
Ты не гордишься, как Волга, собой;  
С нею не споришь волной голубой:  
Струйки твои Волги-матушки чище...

Матушку-Волгу царицей зовут.  
Разные чудища Волгой плывут,  
Со свистом и грохотом дым развевая...  
Волга, по слухам, для всех—благодать;  
Но и она заставляла... страдать,  
Лямкой народную грудь надрывая.

Много под лямкой струилось слез!  
Ты не видал их. Малюткой ты рос,—  
Так и остался малюткою вечно...  
Крови и слез ты в себе не таишь,  
Ниву родную по-братски поймишь  
Кротко, любовно, сердечно.

1897





И ближнего страданьем не взволнован,  
Он не встает, да встать и мудроно,  
Не хочется: он негой очарован.

## V

А колокол гудит... Разочарован  
Встал «Человек»... и злится он смешно;  
Кто разбудил?.. Поведать мудроно..  
Не сердце ли набат свой бьет давно?  
Да, в тот раб,—раб честный,—весь  
взволнован—  
Звучит в груди, неволей не закован.

## VI

О сердце-раб! Да будет не закован  
Твой колокол! Тобой я очарован,  
И умили, и радостно взволнован..  
...Не правда ли, в набат я бил смешно?  
Плохой звонарь, я устарел давно, —  
Ведь разбудить всех спящих мудроно.

*1 января 1898*

## КРОВАВЫЙ ПОТОК

Сонет

Утихнул ветерок. Молчит глухая ночь.  
Спит утомленная дневным трудом природа,  
И крепко спят в гробах борцы—вожди народа,  
Которые ему не могут уж помочь.

И только от меня сон убегает прочь;  
Лишь только я один под кровом небосвода  
Бестрепетно молюсь: «Да здравствует свобода —  
Недремлящих небес божественная дочь!»

Но всюду тишина. Нет на мольбу ответа.  
Уснул под гнетом мир—и спит он... до рассвета,  
И кровь струится в нем по капле, как ручей...

О кровь народная! В волнении жестоком  
Когда ты закипишь свободно—и потоком  
Нахлынешь на своих тиранов-палачей?..

22 сентября 1899

## ПЕСНЯ ДЕРВИША

(Из «Гюлистана»)

Дервиш сшивал свои заплаты  
Перед дворцом и громко пел:  
«На что мне ханские палаты?  
У хана слишком много дел:  
То на войну ходи, купайся  
В крови людей, то их суди,  
И постоянно опасайся  
Кинжала тайного в груди.  
Тебя зарежут, как барана,  
И, не успеешь ты прочесть  
Стихов священных из Корана,  
Изволь в крови на небо лезть!  
Там напугаешь гурий кровью;  
Зато, пленительно дыша,  
Они с восторгом и любовью  
Обнимут нежно голыша!»

1899

## РУСНАЦКАЯ ПЕСНЯ

Трели соловьиные,  
Песни лебединые  
Ночью, притаившись,  
Слышу у калины я.

Ох, моя калинушка,  
Гордая, зеленая,  
Как ты пышно выросла,  
Солнцем не спаленная.

Нежно ты румянишься  
Под ночную зорькою;  
Но зачем ты славишься  
Над осинной горькою?

Не гордись, не важничай,  
Барыня-калинушка, —  
Ведай, что здоровое  
Деревцо-осинушка...

Листья на осинушке  
Трепетно колышатся.  
В этом робком трепете  
Голоса мне слышатся:

«Да, мы листья горькие,  
Но зато здоровые;  
Вынесем безропотно  
Наши дни суровые.

Вырастем, сравняемся  
Мы с калиной свежею;  
Как она, не будем мы  
Деревцом-невежею».

## ГРАМОТЕЙКА

Голова моя, головушка,  
Голова моя свободная!  
Не золовки, не свекровушка,  
Баба злая, сумасбродная,  
И не ласки свекра пьяного  
Извели тебя, измучили...  
Нет! Слова Петра Иванова  
Голове моей наскучили.

Петр Иванович все ругается,  
Говоря слова несладкие:  
«Книжки здесь не полагаются,  
Изорву твои тетрадки я.  
Грамотейка, вишь, явилася,  
И гордиться стала, знамо, ты!  
В земской школе обучилася  
И сошла с ума от грамоты...

Не учен я батькой смолоду,  
Мне смешно за книгой париться,  
А от холоду и голоду  
Мы сумеем отбаяриться:  
Наши руки молодецкие  
Три тягла несут без малого...  
Мы-ста люди не немецкие,  
Роду русского, удалого!..

Али дочка ты поповская?  
Али барыня ученая?  
Ах ты, дурища таковская,  
Кулаком не окрещенная!  
Перед мужем будь овечкою,  
Знай, в избе сиди за кринками,

Пусть валяются под печкою  
Книжки глупые с картинками...

Цыц, молчать, жена-сударушка,  
Не читать азов с мальчишкою!  
Али хочешь, чтоб Макарушка  
Погубил себя за книжкою?  
Бывши в городе с товарами,  
Там ребят я видел... Бедные,  
Тащат ранцы, ходят парами,  
Истомленные да бледные...»

Голова моя, головушка,  
Голова моя свободная!  
Ты придумай, чтоб свекровушка,  
Баба злая, сумасбродная,  
Муж, и свекор, и золовушки  
(Хороша ли ты, убога ли)  
Тайных замыслов головушки  
Не тревожили, не трогали!

В нашем доме тьма кромешная..  
Я встаю одна, украдкою,  
И рыдаю, безутешная,  
Над сыновнею кроваткою.  
Не боясь греха великого,  
Обману свекровь-сударушку,  
Обману и мужа дикого,  
Научив... тайком... Макарушку!

## ПАУТИНА

Вьет паук тенета, над работой бьется,  
Пустит нить по ветру—муха попадется.

Складывая песни, ты, поэт народный,  
Уловляешь сердце мыслью благородной.

Ты, паук угрюмый, сеткою покрытый,  
Ждешь своей добычи—мухи ядовитой.

Ты, поэт любимый, чудным даром слова,  
Заклеймишь позором человека злого.

\*\*  
\*

Снежные сугробы, зимние метели  
Завалили нам окно...  
Мы бы и желали, мы бы и хотели,  
Чтоб открылось оно.  
Все не удастся. Значит, руки слабы  
У отцов и у мужей!  
Верно, наши дочки, верно, наши бабы  
Доберутся до ножей?..  
Подождем, ребята, капельку-немножко  
И с отчаянным бабьем  
Мы в дрянном остроге ветхое окошко  
Как-нибудь да разобьем!



## ЛАПТИ

Не думай, гордый мой поэт,  
Что ты в поэзии владыка!  
Тебя сильнее нищий дед,  
Плетущий лапоть свой из лыка.

И он плетет, и ты плетешь;  
Но между вами сходства мало,  
Все, чем гордится молодежь,  
Твое перо не понимало.

Плетешь ты рифмы без души;  
Твои «изделья» сон наводят...  
А лапти крепки, хороши,  
И в них миллионы братьев ходят...

Себе пощады не проси!  
Твои «изделья» в печку бросят...  
А лапти ходят на Русь  
И пользу родине приносят.

Бесследно пропадет твой бред  
Рифмованный, безумно-гордый...  
А лапти свой оставят след,  
След прозаический, но твердый.

## ПОД ОСЕННИМ ДОЖДЕМ

Мне нравятся премудрые советы:  
«Ты под дождем пиши повеселей.  
В стихах своих, достойных мертвой Леты,  
Напрасных слез отчаянно не лей.  
О чем рыдать? Зачем упреки, вздохи?  
Ведь горюшку слезами не помочь».  
Так, так, друзья. Мои стишонки плохи...  
Но осенью, в томительную ночь,  
Когда льет дождь и близятся морозы,  
Когда везде так скучно и темно, —  
Петь соловьем об ароматах розы —  
Ведь это так бездушно и смешно.  
«Наивен ты: осенний дождь не вечен.  
Придет весна с живительным дождем»...  
А вот тогда, и весел и беспечен,  
Я запою. Теперь же — подождем.

## ОКЕАН ЖИЗНИ

### Сонет

Пред нами жизнь — широкий океан  
Нежданных бед, тревоги и напастей, —  
И, покорясь нам неизвестной власти,  
Мы в даль плывем, окутавшись в туман.

Давно погиб бы в нем я от напасти,  
Давно меня умчал бы ураган...  
Но мне судьбой хранитель верный дан,  
Смиряющий порывы бурной страсти.

С ним не боюсь житейских грозных бурь,  
Не утону с ним в безднах океана:  
Родной народ мне виден из тумана.

Увижу с ним небесную лазурь...  
И, музыкой народных песен полны,  
Свободные вокруг меня заплещут волны.

\*\*

В себе не вижу духа злого  
(Хотя царит противный дух)...  
...Я о России — ни полслова!  
Как целомудренный евнух,  
Готов я соблюсти невинность  
Великой северной страны —  
И, соблюдая «благочинность»,  
Готов воскликнуть: «Кто на ны?»  
Россия — крепкая держава —  
Не склонит гордой головы.

Она немножко, правда, ржава,  
(Железо ржавеет, увы!),  
Но с «головою» Александра  
Сияют русские умы! <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Стихотворение без заглавия и без даты. Относится, видимо, к 80-м гг.

## ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ПОБЕДОНОСЦЕВ

..Бело тело Костромское  
Не земное, не плотское,  
Бело тело запотело,  
Разгуляться захотело...

*(Костромская песня  
о костромиче Победоносцеве)*

Кто такой Победоносцев? —  
Для попов — Обедоносцев,  
Для народа — Бедоносцев,  
Для желудка — Едоносцев...  
Для царя — он злой Доносцев...

Он к царю придет с докладом,  
От царя уйдет с окладом,  
Награжденный златом-кладом,  
Возгласив тихонько ладом:  
«Жизнь не кажется мне адом, —  
Принесите «лепту» на дом!..»

Ох, ты, господи, мой боже!..  
Почему же, отчего же  
Мне не носят лепты на дом?  
Жизнь сходна в России с адом,  
В ней нельзя жить дружно, ладом,  
Со свободой, чудным кладом:

В ней урядники — с окладом,  
А исправники — с докладом..  
...Много-много в ней «доносцев»,  
Константин Победоносцев...

## К СВОБОДЕ

Незримая для русского народа,  
Ты медленно, таинственно идешь.  
Пароль мой: «Груд, желанная Свобода!»  
А лозунг твой: «Бодрее, молодежь!»

\*\*  
\*

Свободное слово, опять ты готово  
Сорваться с пера...  
Чего же ты хочешь? О чем ты хлопчешь?  
Не та, друг, пора!  
Молчи и таися. Каткову молися,  
Чтоб он не наврал;  
Печатью он правит и мигом отправит  
Тебя — за Урал.



# КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ



## ЯРОСЛАВЬ ПРИ ИМПЕРАТРИЦЕ ЕЛИЗАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ

(Исторический очерк)

### I

Общая характеристика Ярославля в Елизаветинское время. — Население Ярославля. — Гигиенические условия. — Судебная медицина. — Проституция. — Пожары. — История «спаления» палат герцога Бирона. — Разбойники. — Начальник сыскальной команды капитан Яух. — Буйства солдат в Ярославле. — Митрополит Арсений Мацеевич. — Приказное сословие. — Наезды ревизоров. — Похождения поручика Чирикова. — Рекрутчина. — Кабальные записи. — Путешествия купцов для покупки крепостных людей. — «Белорыбица» и другие повинности, лежащие на ярославцах. — Ловля бородачей. — Суеверия. — Предание об ярославце — Митрофанушке Простакове. — Жалкое состояние образования. — Майков и князь Щербатов.

Настоящий очерк, как видно из его названия, касается истории города Ярославля в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Местные исследователи ярославской старины до сих пор мало занимались этой эпохой; они проходили ее молчаливо или же, довольствуясь общими фразами, уверяли своих читателей, что город Ярославль наслаждался при Елизавете полнейшим спокойствием, жил благополучно и мирно. Конечно, такой розовый, оптимистический взгляд на историю одного из древнейших городов России может быть, до некоторой степени, оправдан, если под словами: «тишина», «благополучие» и т.д. мы будем разумеать совершенную отчужденность общества от важных государственных вопросов, если мы решимся сравнить деятельность Ярославля в начале второй половины XVIII века с деятельностью того же города, например, в смутное время, когда все Верхнее Поволжье кипело напряженной исторической жизнью, когда оно вело борьбу с поляками, разорившими, кроме Ярославля, окрестные города: Ростов, Углич, Романов, Любим и проч. Несомненно, что сравнение двух означенных периодов ярославской истории приведет к зак-



лючению, что между ними существовала огромная разница с преимуществом «тишины» Елизаветинского времени. Самозванщина и междоусобица ознаменовали себя на здешней почве событиями, полными глубокого драматизма. В Ярославле кипели котлы, и туда бросали живьем воевод-чужеземцев; Спасский монастырь — древняя ярославская святыня, подарившая нам «Слово о полку Игореве», — оглашался не пением иноков, а выстрелами польских пушек; в Ярославле жила знаменитая пленница Марина Мнишек, развенчанная авантюристка, которой, однакож, нельзя отказать в удивительной, не женской силе характера; наконец, Ярославль служил сборным местом дружин, целовавших крест «За Московское государство стояти и избрати государя всею землею российския державы». Но при императрице Елизавете историческая декорация Ярославля, прежде чрезвычайно блестящая, обращается в жалкие лохмотья и совершенно бледнеет. При Елизавете, как увидим далее, уже не народ расправляется с ненавистными воеводами, а напротив, воеводы смотрят на вверенных попечению их жителей, как на свою добычу, из которой можно было, почти всегда безнаказанно, выжимать пот и кровь. В Спасском монастыре гремят уже не пушки врагов: гремят бесполезные, иногда смешные проклятия митрополита Арсения Мацеевича, щедро расточаемые против раскольников и «бородачей». Живет в Ярославле не энергичная женщина, бывшая русская царица, а лишенный престола жалкий, трусливый старик, некогда курляндский герцог. Буйствуют в Ярославле не ляхи, а свои русские солдаты... Вот, в коротких словах, положение Ярославля при дочери Петра Великого.

Туземные писатели видят в этом положении светлую картину. Между тем, внимательное и, смеем сказать, добросовестное изучение документов, извлеченных из архивной пыли и в первый раз являющихся на страницах «Древней и новой России», приводит нас к противоположному мнению. Оказывается, что Елизаветинский век далеко не был золотым веком, по крайней мере, относительно исторической судьбы города Ярославля. Оптимистический взгляд в данном случае не выдерживает ни малейшей критики. Правда, ярославцы, как и все русские люди, истомленные бироновщиной, с падением ее виновника, сосланного в их родной город, вздохнули при Елизавете легче, свободнее; но этот вздох вышел не из полной, крепкой

Фрун окончательного выздоровевшего организма: это был вид измученных, замученных людей, которым и после господства Бирона часто приходилось вздыхать от новых бед, шныряя за свое жалкое существование. Ярославль, когда-то индустриальный самобытный исторический город, спускается при Елизавете на степень весьма заурядного провинциального города, засыпает глубоким, мертвым сном. Эта оцепенелость общества не лишена своего рода драматизма; но принимать за какое-то благоденствие нравственную спячку — слишком странно!

Не вдаваясь в подробную оценку Елизаветинского царствования, ограничимся здесь только группировкою сведений, которые касаются исключительно Ярославля в пятидесятых годах минувшего столетия. Необходимо, однако, заметить, что сообщаемые в нашей статье факты имеют значение, выходящее за узкие пределы истории одного города. Происходившие в нем события не отличаются исключительно местным характером; напротив, на них следует смотреть, как на явления, вызванные всем строем тогдашней общественной и государственной жизни. Что творилось в Ярославле, то, без сомнения, происходило и в других великорусских городах. Разница не могла быть значительною, потому что социальные условия были везде одни и те же. Как в Ярославле управление находилось в руках корыстолюбивых воевод, так равно и другие города несли тяжелое бремя этих администраторов-судей, посаженных на кормление; как в Ярославле вольничала солдатчина, так, разумеется, поступала она и в Костроме, Владимире, Твери, Вологде и т. д.; ярославец слепо верил в нечистую силу, и жители соседних провинциальных городов были заражены не в меньшей степени дикими предрассудками. Короче сказать, предлагаемые исторические материалы имеют в наших глазах двойное значение: на них должно смотреть, во-первых, как на источник для истории города Ярославля и, во-вторых, как на пособие для изучения Елизаветинского времени вообще.

Сто двадцать лет назад Ярославль был далеко не похож на тот благоустроенный город, каким он является в настоящее время. Это был город, носивший на себе множество отпечатков старой, допетровской Руси. Улицы, неправильно расположенные и, по большей части, узкие, утопали весной и осенью в грязи. По сторонам города тянулся земляной вал; на нем стояли 14 башен—жалкие остатки укреплений,

построенных при царе Алексее Михайловиче. «Вал и рвы в некоторых местах осыпались; из башен некоторые повредились, а другие, за ветхостью, разобраны»,—так читаем в одной, редкой теперь, книге<sup>1</sup>, сообщающей любопытные подробности об Ярославле в последние годы Елизаветинского царствования. Оказывается, что тогда во всем городе было только 43 каменных дома; «а каменных каменных строений, кроме помянутых башен и ворот, нет... Из купечества некоторые имеют средственное богатство, а большая часть претерпевает скудость; в лучшем состоянии те, которые имеют кожевенные заводы, где делаются юфти и отпускаются за море». Кроме кожевенных заводов, славившихся здесь заводы суриковые и белильные, а также полотняные и шелковые фабрики. По второй ревизии в Ярославле считалось «купечества» 5819 человек «с прибылыми», да фабричных и других разночинцев 2569 душ мужского пола. Следует иметь в виду, что под купечеством разумелись вообще горожане, не исключая мелких торговцев и промышленников.

Как жил этот народ? какие радости и невзгоды испытывал он?—вот вопросы, подлежащие нашему рассмотрению, на основании журналов Ярославского магистрата<sup>2</sup>.

Жили ярославцы, как уже замечено, вообще, грязновато. О гигиенических условиях никто не заботился. Близ Фроловского моста, например, красовалось обширное болото, называвшееся тоже Фроловским, где пьяные гуляки топили — не в переносном, а в буквальном смысле этого слова; туда же нередко попадали мертвые тела — жертвы тайных преступлений. Из наших бумаг узнаем наивно рассказанные факты о страшных находках в означенном болоте: «оказались человеческие обглоданные ноги, а мужеска или женска полу, того признать никак невозможно». (Журн.

<sup>1</sup> «Топографические известия, служащие для полного географического описания Российской империи». СПб. 1771.

<sup>2</sup> В распоряжении составителя настоящего очерка были, к сожалению, далеко не все громадные фоллянты магистратских «журналов» Елизаветинского времени. Благодаря содействию ярославского статистического комитета, нам удалось получить из местных архивов «журналы» только за последние годы Елизаветинского царствования, именно: за 1754, 1755, 1756, 1757, 1759 (первая половина года) и 1760. Где находятся остальные «журналы», погибли они или находятся под присмотром аргусов-архивариусов, нам неизвестно. Нельзя, однако, не пожалеть, что история русских провинций значительно страдает от крайней замкнутости местных архивов.—Л. Т.

1761, № 161). По городу в летнее время бродил домашний скот; немощные улицы и площади, покрытые травой, давали коровам и лошадям отличный подножный корм. Для предохранения скота полицейское начальство установило специальную должность, и ее занял капрал Василий Шишкин грозный бич четвероногих врагов, особенно свиней и собак, которые, не довольствуясь телами, брошенными в ярославское «Мертвое море», т. е. в Фроловское болото, разрывали могилы. Заботясь о неприкосновенности мертвецов, члены магистрата решали, кстати, что не худо подумать и о живых людях: «От свиней народу, а паче малым детям опасность великая есть!»—восклинул с негодованием магистрат и подтвердил упомянутому капралу ловить бродячий скот, хозяев же сего скота вразумил, что они, «за сии продерзости и государственным правам противности, будут телесно истязаны в магистрате». (Журн. 1759, № 240). Но, несмотря на эту меру, грязные животные все-таки «чинили продерзости и противности», ибо им отлично жилось «во рвах и грязях», которыми изобиловал богоспасаемый град Ярославль. (Журн. 1756, № 249).

Расположенные внутри города заводы наполняли воздух миазмами. Добрые наши предки все терпели. Только в редких случаях, когда им грозила явная опасность' задохнуться от страшного зловония, они хватались за ум. Например, в сентябре 1760 года магистратские сотские донесли, что от одного из заводов, где производилось «варение скотской крови», может произойти беда: «Всегда безмерный смрад происходит и воздух так (им) заражен, что близ одного дома живущим людям не токмо на двор и на улицу выходить, но и жить поблизости весьма трудно; отчего состоит крайняя опасность, чтобы от одного смрада через испортившийся воздух не последовало (чего боже сохрани!) не только скоту, но и людям вредного припадка». С целью избежать сего «припадка», т. е. заразы, магистрат распорядился уничтожить «варение скотской крови» и обязал сотских: «ежели в которой-либо сотне смрадный воздух произойдет, о том магистрату доносить в самой скорости». (Журн. 1760, № 628). Нужно ли говорить, что ярославцы не считали за грех продавать кожу зачумленного скота (журн. 1755, № 106); а в 1756 году, когда в Ярославле свирепствовала страшная эпизоотия, купцы благодушно продавали мясо чумных коров. Чтобы прекратить эту страшную торговлю, местная полиция обрекла ярославцев

впредь до окончания падежа на сухоядие, на великий пост мясные лавки были во всем городе запечатаны. (Журн. 1756, № 244).

Хотя в круг деятельности магистрата (как увидим далее, очень обширной) входило, между прочим, и попечение о народном здравии, но магистрат должен был, по необходимости, ограничиваться паллиативными мерами; не располагая медицинским пособием, он уповал только на-авось, на счастливую судьбу. И действительно, одна судьба хранила ярославцев от повальных болезней. При императрице Елизавете Петровне у нас медицина, вообще, не процветала; в Ярославле же она была совершенно забыта. Правда, здесь жил один эскулап, городской лекарь Гове; но, занимая в то же время должность домашнего врача при ссыльном курляндском герцоге Бироне, он был озабочен недугами его светлости гораздо сильнее, чем здоровьем обыкновенных смертных—ярославских горожан, которые платили ему изрядное, для того времени, жалование: 144 руб. в год. (Журн. 1755 г., № 759). Волей-неволей, чтобы облегчить свои телесные страдания, ярославцы прибегали к знахарям и... коновалам! Патриархальные нравы наших предков допускали вторжение в область медицины людей, умевших отворить кровь не только больной лошади, но и ее хозяину, если его постигал злой недуг. Сколько народу погибло от знахарей и коновалов, кто составляет тайну могил, которые находились при каждой приходской церкви в Ярославле, а такое крайнее изобилие кладбищ, разумеется, вредно влияло на здоровье его жителей.

До какой степени страдало ярославское население, вследствие неимения медицинской помощи, можно судить лучше всего по следующему факту: сумасшедшие, или, как их тогда называли, «сумасбродные» люди испытывали жестокую участь колодников. Об излечении, о человеколюбивом уходе за ними никто не заботился. Если родственники усматривали, что голова одного из членов их семейства не в порядке, или же магистратские сотские непосредственно убеждались в «сумасбродстве» кого-либо из ярославских посадских, то в обоих случаях несчастных помешанных ожидал один конец: з а к л ю ч е н и е в т ю р ь м у. Магистрат определял: «такого-то сумасбродца, приняв, посадить под караул, а чтобы он как сам себе, так и прочим не учинил какого дурна (вреда), а паче чем не уязвил, до того его не допускать и в том за ним крепко

«~~И~~ встретить караульным сторожам» и проч. (Журн. 1760, № 410). И так, караульные сторожа—вот кто был единственными исцелителями душевных болезней!

Судебная медицина также была в загоне. Единственный (не по качеству, а по количеству) лекарь Гове свидетельствовал, да и то далеко не всегда, тела скоропостижно или насильственно умерших мужчин; мертвых же баб и девок осматривали... женщины! Делалось это в видах скромности и целомудрия. Выигрывала ли от таких похвальных причин истица, судить не будем. В подобных случаях, очень частых, решение магистрата формулировалось обыкновенно так: «Записав (донесение о мертвом теле), отдать в понятие (в канцелярию), а объявленное мертвое тело — не имеется ли на оном каких битых знаков — через женщину осмотра, описать и, по осмотру оное, для предания земле, отдать божевику, с распискою». (Журн. 1755 г., № 951). Трупы лежали непогребенными до 3-х суток, на тот случай, не обрящутся ли родственники умершего или умершей; по прошествии этого времени божевик совершал похороны, «дабы от долговременного лежания не последовало противной духоты и от того, паче чаяния, в воздухе повреждения». (Журн. 1756 г., № 296). Божевик был должностное лицо, назначавшееся магистратом для погребения при убогом доме тех, которые погибли насильственною смертью, или, в так называемое «одночасье». Впрочем, в наших документах встречаются известия, что если дети отказались от погребения своих родителей, «за нищетою», то и в таком случае похоронные расходы производил тоже божевик на счет магистратских сумм. (Журн. 1760 г., № 183).

Замечательно, однако, что, несмотря на жалкое состояние медицинско-полицейского надзора в Ярославле, жители его не страдали от так называемых секретных болезней. Страшный подарок, сделанный Европе спутниками Колумба, не достиг еще в половине XVIII века ярославской территории. По крайней мере, документы, которыми мы пользуемся и которые рисуют быт тогдашнего ярославского общества, всесторонним образом умалчивают об этой язве, к сожалению, теперь слишком хорошо известной ярославцам. Более прочные, нежели в настоящее время, основы семейной жизни, большая домовитость, построенная, впрочем, по диким образцам «домостроя», несомненно ограждали народное здравие в указанном отношении, хотя и не

устраивали совершенно проституцию. Известно, что религиозная императрица Елизавета старательно уничтожала в своем государстве проституцию, не допуская домов терпимости, но, вопреки требованиям правительства, большие торговые и промышленные города, в том числе и Ярославль, имели у себя тайные убежища разврата, на которых городские власти, начиная с воевод и кончая мелкою приказною челядью, смотрели весьма благодушно, как на доходную статью. Проституция скрывалась в отдаленных ярославских улицах. Там, по выражению магистратских летописцев, «пробывали в пьянстве и роскошах» молодые купчихи (челобитие купца Потапова в журнале 7 июня 1754 г., № 582), туда уносили они из дому свое имущество и пропивали его вместе с какою-нибудь туземною Манон-Леско или Марион-де-Лорм. Магистрат описывал остатки имущества, которое еще не успело перейти в руки прелестниц (журн. 1754 г., № 910); но бывали случаи, когда тот же магистрат принимал гораздо более строгие меры против любителей широкого разгула: ломал дома их и переносил таковые на другие улицы (журн. 1755 г., № 841), или же вознаграждал оскорбленную общественную нравственность, наказывая оскорбителей ее плетьюми. Сообщаем один любопытный случай. В 1756 г. некто Иван Четвертухин, посадский человек, женатый, но, можно полагать, нисколько не ревнивый, открыл в Ярославле неприличную торговлю: стал продавать красоту своей жены. Кроме Четвертухиной, сноха ее и другие женщины тоже дарили гостей своими, далеко не безгрешными, ласками. Решение последовало суровое: магистрат присудил наказывать плетьюми всех означенных сирен, «дабы впредь оне от такового непотребного и невоздержного жития, а на них глядя и другие, унимались». И сам Четвертухин, главный виновник зла, и мать его старуха не избежали плетей, последняя «за неунятие своего сына от непорядочных поступков»; даже все гости, захваченные врасплох магистратскими сотскими, были «истязаны через плети». (Журн. 1756 г., № 40).

Восстанавливая нравственность обычным в то время средством, т. е. плетьюми, магистрат руководился, кроме законов целомудрия, еще и другим основанием, именно, чтобы гуляки «не причинили смертного убийства или пожарного случая». Такие случаи были в Ярославле очень часты. Теснота деревянных строений способствовала губительному действию огня. В городе находились овины, кры-

тве скалой (журн. 1760 г., № 272); удивительно ли после того, что пабат почти каждый день гремел на колокольнях, принимая ярославцев на пожары. Неосторожное обращение с огнем влекло за собой плети. Так, в 1759 году был жестоко «истязан», по распоряжению сыскаго приказа, посадский Василий Дудов, учинивший пожар (журн. 1759 г., № 128); но заплечные мастера, бичевавшие ярославцев за сказанные поступки, не устраняли беды, и огонь делал свое дело<sup>1</sup>; огнегасительные же снаряды, которыми располагал магистрат, ведавший всем городским хозяйством, были слишком ничтожны.

Пожарного бедствия не миновал и герцог Бирон. «Спадение» его палат наделало много хлопот и неприятностей ярославскому торговому люду, который, как сейчас увидим, должен был поплатиться своим карманом, чтобы исполнить прихоть бывшего временщика. Означенный пожар случился, «по воле божеской», 11-го мая 1760 года, следовательно, уже к концу пребывания Бирона в Ярославле. На другой же день после пожара Бирон известил об этом событии канцлера М. А. Воронцова, жалуясь, что «сие злоключенное» разорило их, Биронов: «сгорело все, что нам в нынешнем несчастливом состоянии некоторою спокойностью служить имело». Сын Бирона, принц Петр, в письме к Воронцову от 12-го же мая, сообщал следующее: «Вчера в три часа пополудни, когда, к довершению несчастья, ни меня, ни большинства прислуги не было дома, и при герцоге и при герцогине оставались только два лица, недалеко от нас случился пожар, печальные последствия которого мы все перечислять не станем. Весь наш квартал был охвачен пламенем, и то, немногое, что спасли, было перебито и украдено. К тому же моя дорогая мать находится при смерти в доме воеводы; последним мы не можем достаточно нахваляться. Его жена едва вытаскала из пламени герцогиню, лишившуюся чувства. Вот, милостивый государь, то грустное положение, в котором теперь находимся и о котором имею честь уведомить вас с тем большим доверием, что признаю в вас слишком благородную душу для того, чтобы не принять участие в новом, постигнувшем нас, бедствии и не

<sup>1</sup> В 1768 г. сгорел почти весь Ярославль; при этом погибли местные архивы, но, к счастью, далеко не все: многие документы отысканы в губернском правлении Е. И. Якушкиным и В. И. Лествиным; последний напечатал некоторые из них в «Ярославских губернских ведомостях».—Л. Т.



довести сего до сведения ее императорского величества, повергнув нас к ее стопам». Далее, Петр Бирон жаловался, подобно отцу своему, на ярославскую полицию: «Если бы был лучший начальник полиции, то этого несчастья не случилось бы. Настоящий же полицеймейстер, грузин, бездельник какой-то»<sup>1</sup>.

Полицеймейстер, кажется, вовсе и не присутствовал на пожаре; по крайней мере, в наших бумагах не упоминается о том, что он был там. Магистратские же члены явились «со множеством народа и с немалым числом заливных труб»; прискакал и воевода Большой-Шубин; прибыл также «обретающийся при оном бывшем герцоге Бироне на карауле лейб-гвардии капитан-поручик Булгаков с командою; токмо ни коими мерами того двора от сгорания отнять не могли. Того ради (в магистрате) рассуждено: об оном записать журналом, и об отводе помянутому Бирону, вместо погорелого дому, для квартирования с его фамилией, вновь другого лучшего из купеческих домов иметь в общем присутствии особое рассуждение». Отсюда можно заключить, не впадая в ошибку, что ярославский магистрат торопился ублажить Бирона, который, несмотря на свое падение, все еще имел значительные связи при Елизаветинском дворе; да и сама императрица не чувствовала личной вражды к бывшему регенту, и он, по милости государыни, пользовался в Ярославле отличным содержанием—до 5000 руб. в год<sup>2</sup>. Магистрату, конечно, была известна высочайшая воля — давать Бирону «достойную квартиру»; наконец, магистрат знал и то, что Бирон ведет дружбу и ест хлеб-соль с господином воеводою, а власть этой чиновной персоны крепко тяготела над горожанами, и пренебрегать ею было опасно. Вследствие таковых обстоятельств, не откладывая дела, магистрат тотчас же назначил для Бирона квартиру в одном из лучших домов, принадлежавшем купцу

<sup>1</sup> Письмо это также напечатано в означенном выше почтенном издании по-французски, но без перевода. Граф Воронцов доложил немедленно о корреспонденции Бирона императрице. Пожаловала ли она им «на погорелое место», неизвестно. Впрочем, они домогались не столько о денежном пособии, сколько о том, чтобы, благодаря «спалению», разжалобить императрицу Елизавету и получить свободу.

<sup>2</sup> Извлечение из полусгоревшего дела ярославской провинциальной канцелярии, которое заслуживает внимания по некоторым, заключающимся в нем, относительно Бирона, фактам. Где теперь это дело, не знаем.—Л. Т.

Викулину. Так как этот дом был запечатан, впредь до разрешения процесса между Викулиным и другими лицами, предъявившими на него иск, то магистрат решил: «снять печати и итти к тому дому всем присутствующим и несколькими (человекам) из первостатейного купечества». Составилась торжественная процессия из 22-х особ; за особами следовала мелкота — магистратские сотские и десятские. Но купец Викулин, судя по нашим бумагам, нисколько не дорожил честью иметь в своем доме знатного постояльца, бывшего фаворита императрицы Анны Иоанновны, и когда городские власти послали за Викулиным, чтобы он присутствовал при снятии с дома печатей, тот заупрямился, не пошел. Магистрат употребил насилие. «По многим, его (Викулина) противным упрямствам», сотские и десятские, схватив Викулина, приволокли его к назначенной для Бирона квартире, однако и тут «оказано было им сопротивление всяческое» в глазах герцогского пристава, капитан-поручика Булгакова и других именитых персон. «Не хочу снять печати», — твердил Викулин. Его смирили, успокоили. Есть основание предполагать, что усмирение последовало... кулаками и ружейными прикладами. Бедный Викулин должен был, в свое оправдание, найти какой-нибудь предлог, и нашел, заявивши всему «великому собранию», что под домом находится склад дегтя, который, в случае пожара, угрожал окончательным «спалением Бирона со всей его фамилией». Насколько пострадала бы Россия, если б грозная Немонида покярала курляндца за его прежние грехи перед русским народом, не знаем; однако же ярославский магистрат не дерзнул подвергнуть герцога страшному аутодафе, или, как тогда говорили, «спалению». Признано было за благо вывезти из дома Викулина означенный горючий материал, «дабы не последовало от дегтя такового страха».

Бирон переселился на новую квартиру и остался ею доволен; через своего пристава Булгакова он настойчиво требовал, чтобы ярославский магистрат построил для него, герцога, жилище на том самом месте, где находились, до пожара, его палаты<sup>1</sup>. Старый, изнеженный немец, вероятно, привык к месту своего заточения, хотя никакого заточения, в буквальном смысле этого слова, он не испытывал, пользуясь правом кататься по Ярославлю на великолепных лошадях, сколько душе его было угодно. Требование

<sup>1</sup> Бирон жил до пожара в доме купца Мякушкина, близ Волги. (Журн. ярославского магистрата, 1760 г., № 408).

Бирона смутило магистрат. Расходы на постройку предстояли весьма значительные, а городская казна страдала безденежьем, вследствие множества повинностей, обременявших торговое сословие. Видя, что Бирон упорствует в своем желании, магистрат обратился к сенату с мольбой: «избавить ярославцев от постройки для бывшего герцога Бирона, с фамилией, нового дома из городского кошту». В донесении своем магистрат представлял сенату, что герцогский пристав, капитан-поручик Булгаков, несправедливо указывает, «будто бы оному Бирону, с фамилией, в хоромах купца Викулина и тесно и неудобно». По словам магистрата, это была сущая напраслина, — с чем легко согласиться, прочитав в цитируемых документах описание бироновского жилища, хотя, разумеется, оно не походило на роскошный дворец, где некогда обитал всемогущий временщик, — и, может быть, тень императрицы Анны негодовала на ярославцев, которые считали, что для ссыльного политического преступника вполне достаточен и хорош лучший дом в целом городе Ярославле. «Дом сей (писал магистрат) пространный: каменных теплых и с уборами не малых палат пять, да наверху в светлице для служителей особые избы, да палата; три погреба; для карет и колясок три сарая; конюшня с десятью стойлами; баня со светлицей» и проч. Из этого описания видно, что Бирон располагал также обширным садом. Прежняя квартира, по уверению магистрата, была теснее этой, однако «бывший герцог Бирон жил в ней без всякого утеснения и вдобавок других дворов не требовал». Последняя фраза объясняется тем, что для многочисленной прислуги Бирона, кроме дома Викулина, магистрат отвел еще несколько соседних домов; но немец не удовольствовался и этой вынужденной любезностью магистрата, продолжая стоять на своем: стройте ему новый дом на погорелом месте по прежнему плану! С нетерпением ожидал магистрат сенатского решения: оно ужаснуло город. Сенат повелел исполнить волю капризного немца. Скрепя сердце, бургомистр и ратманы вызвали в город плотников-крестьян.

Кажется, Бирон способен был и в ссылке только на то, чтобы мучить и изнурять русский народ. Вследствие его прихоти, крестьянам предстояло соорудить для него дом без вознаграждения за труд, потому что у магистрата не доставало средств даже и на закупку строительных материалов. Естественно, что рабочие должны были проклинать затею

недоброе немца, будучи принуждены трудиться даром, из-под палки магистратских сотских. К счастью, повторенное магистром слезное челобитье подействовало на господ сенаторов, и они решили: «обождать постройку до будущего лета, и послать в Ярославль из Москвы сенатской конторы архитектора, и велеть ему осмотр учинить, план и смету (составить)—во что оное строение стать может, и представить в сенат. Между тем упомянутому Бирону, с фамилиею, ныне жительство иметь в отведенном ему от ярославского магистрата доме бывшего президента Викулина и еще в других двух домах, которые, как ярославский магистрат представлял, для него, Бирона, с фамилиею, довольны быть могут». Вскоре после получения этого указа приехал в Ярославль архитектор, поручик Андрей Лопатин, немедленно распорядившийся, чтобы магистрат «показал ему обстоятельно, через достойного человека, на дворе, где жительство имел бывший герцог курляндский Бирон, с фамилиею, какое и где имелось деревянное—жилое и нежилое строение, и в которых местах, и сколько порознь жилых и нежилых каменных покоев». Видно, что архитектор желал соорудить для его светлости здание по его вкусу и несколько не отступая от прежнего плана. Кроме означенных сведений, поручик Лопатин потребовал присылки «кузнецов, столяров и торгующих диким и белым камнем и лавбастром». Магистрат исполнил последнее требование техника, который намеревался построить для Бирона славные белокаменные палаты на счет бедных ярославцев; но, вместо с тем, архитектор был уведомлен, что городские власти не знают подробно о внутреннем расположении жилища Бирона. «Понеже (сообщил магистрат) на сгоревшем дворе, где бывший герцог Бирон, с фамилиею, жительство имел, о наружном строении из ярославского купечества знающие (люди) хотя и имеются; но какие и где, как в оном доме так и против оногo, на собственной купца Федора Коровайникова земле, для них же—Бирона, с фамилиею—надобностей построены были покои и прочие надобности и в которых столярные и штукатурные и другие уборы имелись, о том не токмо-что из здешнего купечества, но и ярославского магистрата присутствующие показать точно не могут. А о том всем знать может состоящий при нем, Бироне, для содержания караула, лейб-гвардии капитан господин Булгаков, понеже как во время квартирования помянутого бывшего герцога Бирона оные дома состояли

в смотрении его, так и по сгорении при оном доме у кладовых входов (в которых во время пожара сохранялся и ныне хранится оного бывшего герцога Бирона экипаж) состоит караул команды его же, Булгакова. Да и хоромное на оном жилом дворе не малое, по берегу реки Волги, строение, также и напротив оного дома, на земле купца Коровайникова, производится в ведомстве его же, капитана господина Булгакова».

Воспользовавшись услужливым архитектором, Бирон начал постройки на свои средства в полной уверенности, что произведенные им издержки будут взысканы с ярославских купцов, — и действительно, купечество уплатило, на первый раз, согласно сделанной магистратом раскладке, по 30% с каждого податного рубля, собственно на устройство бироновских «апартаментов». Этот сбор доставил Бирону 2000 рублей. Пристав его, Булгаков, сильно желал прибрать деньги к своим рукам и вмешивался в наблюдение за строительными работами; но, опасаясь увеличения расходов, если их будет производить «капитан-господин», магистрат воспротивился ему в этом отношении и поручил надзор купцу Красильникову. Отсюда между магистром и Булгаковым возникла ожесточенная переписка, прекратившаяся, кажется, не прежде получения Бироном свободы.

«Спаление» Бироновского жилища вызвало со стороны ярославской полициймейстерской конторы несколько крутых распоряжений: во-первых, полиция запечатала печи во всем городе. Поднялся страшный ропот. 14 июня 1760 г. явились на магистрат сотские и объявили, что «генерально во всех домах печи запечатаны». Любопытны жалобы бедняков, которым предстояло не топить свои лачуги в продолжение целого лета, или устроить временные печи на дворе, вдали от строений, на что у них не было средств. Магистрат разрешил топку печей, но не более двух раз в неделю, по понедельникам и субботам, и затем составил список тем домохозяевам, которые, по своей нищете, лишены были возможности устроить на лето отдельные печи. (Журн. 1760 г., № 437). Затем, во-вторых, полиция обязала домохозяев иметь дневную и ночную стражу, которая «примечала бы всяких чинов людей, а паче из подлых, сумнительных по образу нищих и ханжей, кои шататься будут по улицам поздно: не окажется ли при оных (от чего боже сохрани) к пожарному случаю каких-либо сумнительных орудиев». (Журн. 1760 г., № 340).

Много бед терпели ярославцы от воров и разбойников; но едва ли не больше зла испытывали они от лиц, которые по закону обязаны были охранять общественное спокойствие. Проживавший в Ярославле капитан Яух (начальник сыскной команды, охранявший Волгу от разбойнических судов), постоянно разорял наших предков. Ярославский магистрат умолял московского губернатора, князя Сергея Алексеевича Голицына, перевести куда-нибудь в другой город означенную сыскную команду и ее командира, которому магистрат давал такой выразительный эпитет: «зловный и непорядочный разоритель». (Журн. 1755 г., № 107). Князь Голицын внял челобитию ярославцев и приказал капитану Яуху, «неотменно» оставив Ярославль, расположить свою команду в городе Романове и в посаде Мологе. «Но токмо оный сыщик Яух» (гласит магистратский летописец), «незнамо из какого домогательства и презирая вышеписанные его высококняжеского сиятельства князя Сергея Алексеевича Голицына поведения и поныне из Ярославля никуда не выступает и, расположась по квартирам, стоит усиленно... паче злобствуя на ярославский магистрат. И впредь ярославским обывателям опасно навивящего утеснения, и обид, и разорения, что уже от него, капитана Яуха, ныне на самом деле оказано». Желая отомстить магистрату за донос, Яух нашел, что самый чувствительный удар магистрату может быть нанесен в лице одного из лучших дельцов этого присутственного места, а таким «дельцом» был канцелярист Михайло Бухарин. 18 декабря 1754 года, т. е. «в высокочестивый праздник рождения ее императорского величества, всемилостивейшей государыни императрицы Елисавет Петровны, самодержицы всероссийской, когда он, Бухарин, был, по зву, в гостях у родственников, ехал в дом свой с прочими бывшими с ним гостями, ярославскими купцами и приказными служителями, то, не доезжая до двора его, оного капитана Яуха, вооруженная команда, состоящая во многих людях... минуя всех ехавших с ним (Бухариным), одного его, Бухарина, да ехавшего с ним на одних санях конюшета Якова Аладьина, выхватя из саней, и обнажа шпаги, и примкнув к ружьям штыки, с великим поруганием, как злодеев, вели на двор его, капитана Яуха, и оттого отведенны же и посажены были в солдатской караулке, где и ночевали. А поутру того же декабря 19 дня, убрав его, Бухарина, и показанного Аладьина в железа,

по приказу же его, капитана Яуха, отвезли в тюрьму; и посажены они вместе с обретающимися в команде его злодеями». Пять суток доблестный сыщик-офицер наслаждался своим мщением. Предлогом к аресту послужила выдуманная Яухом история, будто бы один из канцеляристов, именно Бухарин, прибил «смертно» на улице, ночью, капириста Бархатова, «причем учинил давление за горло и грабеж»; относительно же Аладьина сыщик не мог придумать и посадил его на цепь так себе, ради компании. «И такую бесчеловечную суровость претерпевали они (Бухарин с Аладьиным), что как отец его, Бухарина, так и никто из домашних к ним допускаемы не были». Наконец, заключенники явились перед грозными очами капитана Яуха; он вскоре освободил Аладьина, а Бухарина опять бросил в тюрьму. Купцы терпели также «несносные и напрасные обиды», т. е. и на них были надеваемы железные браслеты. Магистрат протестовал, жаловался; но Яух не унимался и «кипел заобыклою злобой». (Журн. 1755 г., № 107). Вообще, этот военный человек был одним из самых грубых представителей кулачного права и наглой солдатчины, от которой ярополучные ярославцы Елизаветинского времени жестоко страдали...

25 ноября 1741 года пало правительство, управлявшее Россией от имени младенца—императора Иоанна Антоновича. На престол вступила Елизавета. Переворот совершился быстро, в одну ночь: но события этой ночи надолго возвеличили солдат, способствовавших воцарению дочери Петра Великого. На Руси явилось множество новых дворян, бывших солдат. Почти весь Пошехонский уезд, составлявший и тогда часть Ярославской провинции, был разделен на участки, пожалованные импровизированным господам-помещикам... Близость Пошехонского уезда, где поселились многие из лейб-компанцев, обращавшихся с своими новыми «подданными» не очень-то благосклонно (о чем до сих пор сохранились предания), несомненно способствовала тому, что солдаты, квартировавшие в Ярославле, старались подражать пошехонским дворянам, бывшим своим товарищам. Если у ярославских солдат не имелось крепостных людей, зато у них были под руками ярославские купцы и посадские люди, над которыми и потешалась вечно пьяная и буйная солдатчина. К этим страшным потехам мы и обращаемся.

В Ярославле квартировала пехота и конница—вятский

Другунский полк. Хотя и драгуны поступали с мирными гражданами «весьма» озорнически, нанося смертельные побои» (журн. 1754 г., № 1150), но пехотинцы в этом отношении превосходили кавалеристов. Буйства совершались в одиночку и массами. Так, например, 5 марта, 1755 года, в 6-м часу вечера, ко двору купца Семена Алексеява Шальнова (на Пробойной улице) «с великим криком прибежали незнамо какие люди в солдатских мундирах, человек 40»; схватив бревно, они стали разбивать им ворота и обнажили палаши. Хозяин дома, купец Шальнов, и его домашние «ожидали себе смерти»; к счастью, кто-то догадался ударить на колокольне «всполох», прискакал полицеймейстер и захватил главных зачинщиков буйной ватаги; но они вскоре были освобождены без малейшего наказания, по требованию их командира, подполковника суздальского полка фон-Гельвиха, распустившего своих солдат до такой степени, что магистрат занес в журнал следующее замечание: «ярославское купечество от страха и угрожаний не токмо промыслов производить, но и из домов своих отлучаться не дерзает». (Журн. 1755 г., № 320). Того же 5 марта, жена купца, Анна Ивановна Юхотникова, ехала со снохой своей; «и как случилось им ехать к Семеновским воротам, то незнамо какие люди в солдатских и унтер-офицерских кафтанах, человек с пять, без всякого резону браня, оную Юхотникову зашибли, а також и стоящего на запятках ярославца Ивана Михайлова били палкой, от коих они едва уехать могли». (Там же, стр. 131). 29 апреля того же 1755 года, солдаты, напавши на дом Ивана Горяцкого (который был «управителем митрополита Арсения Мацгевича»), увезли «неведома куда» самого Горяцкого и его малолетнего пасмянника, скрывшихся в бане, куда солдаты порвались, разломавши штыками дверь. (Журн. 1755 г., № 532). В том же апреле месяце «военные люди», приди в дом купчихи Шатновой, сорвали с нее одежду, били кулаками, допытывались: где ее муж? Сын Шатновой, мальчик, пострадал не меньше матери от жестоких солдат. Воилн его и просьбы о помиловании услышал сосед, купец Лбовский, и, прибежав на побоище, обратился к сержанту с вопросом: «Не напрасно ли без материнского ведома мучишь ребенка?» За что и Лбовский, настигнутый теми же солдатами, «был бит на Всесвятском монастыре кулаками». (Там же, челобитье Лбовского, стр. 15). Магистрат жаловался на фон-Гельвиха и его озорников-солдат



«его высокографскому сиятельству, графу Петру Ивановичу Шувалову, но сатисфакции не получил».

Для большего привлечения народа к кабакам ярославские целовальники устраивали разные увеселения, например, качели. Туда сходились бабы и солдаты, их возлюбленные, и тут же, после веселого смеха и удалой песни, раздавались стоны побиваемых женщин, ибо служители Марса не церемонились со своими дамами. Сотские часто рапортовали магистрату таким или подобным образом: «Солдат имевшуюся при кабаке на качели незнаемую женку ударил по роже, от которого удара оная женка пала замертво». Кабацкий сиделец вступается за «женку», лежавшую без чувств, и ловит ее обидчика, но последнего освобождают товарищи, и только одна шпага, брошенная солдатом, достается, как трофей, ярославскому магистрату, куда приносит ее храбрый целовальник. (Журн. 1756 г., № 270).

От буйства солдатчины не спасали ни пол, ни возраст, ни общественное положение: били детей и женщин, били членов магистрата. Так, между прочим, пострадал ратман Иван Максимович Кучумов, увековечивший свое имя основанием в Ярославле сиротского дома. Кучумов шел по улице, возвращаясь со службы, стало быть, дело происходило среди белого дня; однако солдаты, находившиеся в команде князя Ивана Мещерского, не задумались и днем учинить нападение на почтенного Кучумова, будучи подкуплены его недругом, посадским Семеном Пуговичниковым. (Журн. 1759 г., № 264). Ночью, 15 января 1760 г., явился к купцу Маряхину незнаемый военный человек со шпагою в руках, и, погасив огонь, сперва стал жену Маряхина бить по щекам и, поваля, таскал за волосы и бил топками и пияками». Маряхин, ошеломленный внезапным нападением, придя в себя, вступил в борьбу с разбойником-солдатом, но тот был не один, кликнул еще двух солдат, и тогда Маряхину пришлось бороться не под силу; вытащив его в сени, солдаты учинили жестокое побоище: «за волосья поднимая, били об пол». Маряхин закричал:—«Караул! спаси меня, Михайло Иванович!»—Обращение это сделано было к постояльцу Маряхина, некоему коллежскому асессору Потапову, который служил в провинциальной канцелярии по приему рекрут и, следовательно, водил дружбу с военными чинами; а потому он не только не защитил своего хозяина, но всячески издевался над ним. Наконец, сыну Маряхина удалось выбежать на улицу и позвать на

помощь сторожей. Забили в трещотку, сбежался народ и хотел было задержать солдат, «но один из них, в противность военного артикула, и яко на злодеев, обнажил шпагу и тою обнаженною шпагою рассек Маряхину голову, ярославца Гаврила Волосеникова на роже уязвил, а Александру Петрову незнаемые военные люди перешибли правую руку». (Журн. 1760 г., № 32). Офицеры тоже часто прибегали к кулачной расправе, подавая, таким образом, нижним чинам дурной пример.

Из многих случаев оскорбления офицерами ярославских граждан приводим, на этот раз, следующую историю. Подпоручик Александр Языков, находившийся в Ярославле при межевых делах, требовал отвода ему квартиры. Обязанность эта лежала на купцах Егоре Одинцове и Василье Дудове; почему-то первый из них возбудил к себе со стороны подпоручика «сильное свирепство»: встретив Одинцова на улице, Языков «прибил его бесчеловечно, да, не удовольствуясь тем, явившись в магистрат, в подьяческой палате еще несколько зашиб». Обидно показалось этому ратману Кирилле Овсянникову, и стал он усовещивать его балгородие, говоря, что такие поступки в присутственном месте не весьма похвальны. «Оный же Языков, наступая к нему, ратману, с крайним задором говорил, что он того квартмейстера еще бил мало, да и сам он, ратман, мужик, и что он может и его, ратмана, прибить, а на последок сказал, что он, подпоручик, на оное присутствие плюет. И во время той бытности его в Ярославском магистрате и присутствии происходили от него великие шумства». (Журн. 1757 г., № 443). Далее мы увидим, какую роль играли офицеры, являясь в магистрат, который они обрацали в доброе место; для полноты же картины, рисующей быт ярославцев при столкновениях их с солдатчиной, сообщим теперь следующий драматический эпизод, занесенный в магистратские летописи. Однажды (в 1755 г.), когда терпение ярославцев истощилось, между ними и солдатами произошла кровавая свадка, кончившаяся смертью одного из грабителей-солдат. Купец Клим Дудов убил железным рычагом солдата, по фамилии Абушуева. Другой купец, Иван Сыромлятников, тоже принимал участие в этом убийстве, или, вернее сказать, в обороне против солдат, которые (см. выше) осаждали дом его соседа, купца Семена Шальцова. Невольных убийц ожидало страшное наказание—кнут и каторга; к счастью, над ними сжался граф П. И. Шу-

валов. Приводим в сокращении его указ по этому делу, данный ярославскому магистрату,—документ очень любопытный: «Из военной походной канцелярии ее императорского величества фельдцеймейстера, сенатора, ее императорского величества, генерал-адъютанта, действительного камергера, лейб-компания подпоручика, государственного межевщика обоих российских орденов и св. Анны кавалера, графа Петра Ивановича Шувалова в ярославский магистрат указ... По следствию от суда было приговорено: 1) купца Клима Дудова, за неоднократное и с пристрастием, под битьем троекратно плетми, запирагельство и других закрывательство, и за удар на дворе ярославца Шальнова рычагом солдата Абушуева в голову, кой-де умре; 2) купца Ивана Сыромятникова, за неоднократное ж и с пристрастием двоекратно, под битьем плетми, запирагельство и других бойцов закрывательство и за битье на помянутом Шальнова дворе солдат, по силе уложения 21-й главы по 69 и 71-й статьям, по 158 пункту, с третьим толкованием, бить кнутом нещадно. А в объявленной военной походной его высокографского сиятельства канцелярии, по рассмотрении того следствия, оказалось, что помянутого солдата Абушуева объявленный купец Дудов в голову рычагом хотя и ударил, и оттого он упал на землю, а потом по усилчанию, два солдата, один по другом, ворвавшись на помянутый купца Шальнова двор, другими разными в той драке бойцами биты смертельно, и из оных именованный солдат Абушуев от кого подлинно убит—во множестве собравшегося, через битье в набат, народа признать невозможно. И по следствию и через пристрастные распросы того смертного убийцы не изыскано. И то смертное убийство от них произошло не умышленное, но по нечаянности в драке, и к тому ж оные через немалое время под караулом содержались и пристрастные, под битьем плетми, распросы претерпели. Чего ради, а особливо для многолетнего ее императорского величества вседражайшего здравия, из вышеописанного, приговоренного по суду, наказание уменьшено. А чтоб впредь им, Дудову и Сыромятникову, и другим таких продерзости чинить было не повадно, учинить следующее: 1) купца Клима Дудова высечь плетми и для определения в военную службу, ежели явится годен, отослать государственной военной коллегии в контору, с тем требованием, чтоб, по присылке в Москву, велено было его, для публичного церковного покаяния, отослать в мона-

стырь на шесть недель. 2) Купца Ивана Сыромятникова высечь плетьюми и отослать в монастырь в работу на три месяца и публичное церковное покаяние учинить».

Палач сделал свое дело; Дудов и Сыромятников в присутствии магистратского депутата и следователя, какого-то «адъютанта» Портнова, наказанные плетьюми, узнали горьким опытом, что руки заплочного мастера—тяжелые руки. Нужно заметить, что Дудов был уже старик; за старостью и дряхлостью он избавился, по крайней мере, от солдатской службы, после освидетельствования его в военной коллегии, затем, вместе с Сыромятниковым он явился, под караулом, в духовное правление митрополита Арсения Мацеевича и принес церковное покаяние. (Журн. 1756 г., №№ 481 и 511).

Знаменитое, сейчас названное лицо оставило после себя в наших документах тяжелую память. Переход от солдат, от представителей грубой силы, к духовному иерарху<sup>1</sup> — представителю религии, т. е. мира и любви, кротости и терпения, может показаться читателям несколько странным, натянутым; но здесь, спешим объяснить, есть логическая связь, потому что Мацеевич скорее был похож на сурового генерала, чем на любвеобильного духовного владыку. Постоянным орудием его была сила физическая, а не сила нравственная. Материалы, которыми мы пользуемся, не отличаются, относительно Мацеевича, достаточной полнотой; они, напротив, страдают отрывочностью, но все-таки дают понятие о том, что ростовский и ярославский митрополит Мацеевич принадлежал к числу самых холодных, бессердечных иерархов русской церкви...

По нашим документам, Арсений Мацеевич представляется также фанатиком. Следующие черты из его жизни не будут лишними как для биографии Мацеевича, так и для характеристики Ярославля при Елизавете Петровне.

Верный своему убеждению, что всякий, кто посягает на церковные имущества, есть первый враг церкви, Мацеевич жестоко поступал с теми из ярославцев, которые являлись ослушниками его воли. Так он распоряжался в делах исключительно гражданских, не имевших ничего общего с делами духовными, религиозными. Некто Степан Петрович Пуговнишников, ярославский посадский, завладел зем-

---

<sup>1</sup> Речь идет о митрополите Арсени Мацеевиче.

лей, принадлежавшей когда-то церкви Николая чудотворца в подгородной Тропинской слободе. Владение это продолжалось многие годы, так что земская давность уже прошла. Но Мацеевич решил, во что бы то ни стало вернуть церкви бывшее ее имущество. Он приказал ярославскому магистрату высечь Пуговишника и сторонника его, какого-то магистратского поверенного, Ивана Найденова. Вследствие резолюции, начертанной рукой митрополита Арсения, двое ярославских граждан подвергнуты были наказанию, т. е. телесной экзекуции. (Журн. 1759 г., стр. 230). Факт этот, впрочем, не единственный: исполняя приказания Мацеевича, пристава ярославской духовной консистории часто занимались ловитвой ярославцев, заслуживших его гнев, справедливый или несправедливый, это для нас, за отсутствием юридических улик, вопрос неразрешимый, хотя, допустив даже виновность ярославцев, личность Мацеевича в нравственном отношении от этого несколько не выигрывает. Пристава подвергали захваченных ярославцев телесным истязаниям. Таким образом, в глазах наших предков, означенные чиновные люди, руководимые волей Арсения Мацеевича, играли почти ту же кровавую роль, как и служители святой инквизиции во времена ее господства. Правда, в Ярославле не горели, как в Испании костры, зажженные фанатизмом и обращавшие в пепел живых людей, ради спасения души, — но пытки... пытки существовали. Каждый арест, каждое обвинение в том или другом преступлении неминуемо влекло за собою «пристрастный допрос», т. е. битье плетьюми, — аресты же, производимые по воле Мацеевича, составляли явление заурядное. Сообщаем несколько случаев. Ярославский посадский Иван Пропадимов был арестован Мацеевичем за то, что «в минувшие посты, по исповеди, за нерачением своим, св. Христовых таин не причастился». (Журн. 1755 г., № 1179). В 1756 году Мацеевич велел арестовать «для изыскания о расколе» ярославцев Михаила и сына его Степана Горбуновых. (Журн. 1756 г., № 768). В 1757 году приказный ростовской консистории, некто Шатров, командированный Мацеевичем в Ярославль, произвел множество арестов «за небытие через два года у исповеди и св. таин». В помощь Шатрову, вследствие требования Мацеевича, даны были магистратские сотские. (Журн. 1757 г., № 147). Замечательно, что не одни купцы и посадские придерживались раскола, но и приказ-

ный люд, хотя, разумеется, не тот, который служил в ростовской консистории и ярославском духовном правлении. Так, в 1759 году митрополит Арсений преследовал за раскол подканцеляриста Михайла Селецкого. (Журн. 1759 г., стр. 81). Суествовал в Ярославле, при Арсении, и такой юридический обычай, вероятно, находивший в душе Мацеевича полное оправдание: если раскольник скрывался, убегал от сыщиков, отправленных ростовским митрополитом, тогда, согласно резолюции последнего, ярославский магистрат брал под караул хозяев, родственников или друзей беглеца, в виде заложников, впредь до поимки бежавшего. Так в 1760 году Арсений приказал арестовать двух братьев раскольников Феодора и Михайла Смирновых; но братья успели спастись от рук консисторских приказных. Зато друзья их и родственники, в числе пяти человек, были брошены в магистратскую тюрьму. (Журн. 1760 г., №№ 348 и 422). В 1760 году Мацеевич воздвиг гонение «по раскольниковскому делу» на питерских купцов, п я т е р ы х И в а н о в : Ивана Егорова, Ивана Дмитриева, Ивана Петрова, Ивана Васильева и Ивана Шапошникова. (Журн. 1760 г., № 164). Почему, на этот раз, только одни «Иваны» провинились перед грозным ростовским митрополитом, или сходство имен произошло случайно, не знаем: в магистратских делах нет никаких разъяснений этого обстоятельства, поминный же «раскольниковский список» вело ярославское духовное правление, от которого магистрат получал только справки для обложения раскольников усиленным денежным сбором и плату за императорское величество. (Журн. 1760 г., № 261). Нет сомнения, Мацеевич жестоко оскорблялся тем, что даже члены ярославского магистрата придерживаются и деле веры «старинны»: первый ратман ярославского магистрата Кирило Овсянников был вызван митрополитом «для духовного исправления». (Журн. 1760 г., № 423).

Понятно, что все эти гонения не могли способствовать укреплению любви и взаимного доверия между Арсением и его паствой. Старая вера имела в Ярославле огромное число представителей, особенно влиятельных в среде купечества, благодаря корпоративной связи, свойственной тогда, как и теперь, замкнутому миру почитателей древнего благочестия. Питаемое ярославцами нерасположение к Мацеевичу выражалось иногда народными волнениями. В 1757 году Арсений распорядился сломать древнюю камен-

ную часовню, стоявшую на дороге от Ярославля к Толгскому монастырю, а икону, написанную в той часовне на стене, куда-то «занести», вероятно, пустить по течению реки Волги, согласно обычаю. Но часовня с иконой пользовались особенным уважением старообрядцев. Мацеевич опасался со стороны их «продерзости», и потому отправил для сломки часовни одного из состоящих в его команде офицеров, подпоручика Петра Лазарева, с иеродиаконом и вооруженными солдатами, потребовав, вместе с тем, и от ярославского магистрата, чтобы «и оный подкрепил консисторскую команду сотскими, пятидесятниками, дабы от народного собрания не последовало прежде бывшего случая, а паче смертного убийства». (Журн. 1757 г., № 350).

Из этого, к сожалению, довольно темного рассказа мы видим, что некоторые распоряжения Мацеевича волновали народ до такой степени, что можно было опасаться при этих волнениях народной мести, проявлявшей себя убийством: требовалась вооруженная сила для удержания народа от убийства, вызванного распоряжениями Мацеевича.

Замечательно, что ярославский магистрат, беспрекословный исполнитель распоряжений Мацеевича, в некоторых случаях являлся ослушником его воли. Это мы видим в делах, касающихся уничтожения не старых часовен, а кабаков, которые составляли при Елизавете монополию государства. Когда Мацеевич требовал уничтожения этих притонов разврата, магистрат противился, хотя в данном случае Арсений был прав, заботясь о народной нравственности, жестоко подрываемой пьянством как теперь, так и в старину. Кабаки строились нередко рядом с церквями. Духовенство совершало таинства церковные, пело молитвы, а в то же время пьяная толпа голосила разгульные песни и, мешая церковной службе, ругалась, производила драки. Мацеевич восставал против такого бесчинства, запрещал строить питейные дома близ церквей; но, в видах увеличения кабацких сборов, магистрат оставлял без уважения горячие протесты Арсения, которому ярославское духовенство приносило убедительные жалобы, подобные следующим: «Имеем мы (поп Тверицкой слободы Яков Федоров с причетниками) не малое опасение, понеже от напивавшегося до пьяна народа чинятся (в кабаке) ссоры и драки и в тех драках смертные убийства». (Журн. 1756 г., № 258). Мацеевич гремел анафемой против ярославских

пьяниц, возмущавших церковное благочиние, но его проповеди оставались гласом вопиющего в пустыне: пьянство было сильно развито в Ярославле. Кроме казенных кабаков, во многих местах существовала тайная продажа вина, привлекавшая, как увидим далее, виновных к тяжелым наказаниям. Еще более страдало самолюбие Арсения от той холодности, с какою относились ярославцы к его поучениям «о зловредности богоненавистного раскола». Указом от 13 апреля 1754 г. походная контора ростовского митрополита сообщила ярославскому магистрату следующий, важный для характеристики Мацеевича, указ: «Его преосвященством усмотрено, что когда его преосвященство говорил поучения к народу от слова божия, то собиралось народу не мало, до того, покамест не начал вспоминать о богоненавистном расколе; а когда стал о том вспоминать и толковать, тогда весьма мало приходит народа стало, за которым презрением проповедей оказываются и правоверии сумнительны. И тако его архипастырство приказал: всех разночинцев и ярославское купечество, кроме духовных, военных, штатских, дворянства и приказных, мужеска и женска полу от семилетнего возраста, поприходно, не обходя никого, ростовской соборной церкви ключарю, иерею Стефану, привести к присяге». (Журн. 14 апреля 1754 г., № 423). Иерей Стефан озаботился составить данный список лиц, заподозренных им в холодности к православию и приверженности к расколу. (Журн. 1754 г., № 617). Семилетние ребята, если они почему-либо не приняли присягу от упомянутого иерея, любимца Мацеевича, оказывались приверженцами богоненавистного раскола!.. Судя по следующему факту, небытие на исповеди могло даже лишить церковного погребения: рыбак, ярославский посадский Тимофей Андреев, столкнул с лодки и утопил своего родственника Федора Таланова; утопленник, хотя и не самоубийца, был отпет поном, не прежде, как митрополит дал поном разрешение, основанное на том соображении, что Таланов «исповедался в минушую четырехдесятницу». (Журн. 1760 г., № 545). Открытие мощей св. Дмитрия Ростовского послужило за собой несколько розыскных дел. Особенно тщательные поиски в Ярославле произведены были за купцом Максимом Мошонкиным и за работником



его Иваном Коширкиным, которые произнесли «богохульные слова к поруганию святителя и чудотворца Дмитрия». (Журн. 1759 г., стр. 229). Консисторские канцеляристы обогащались, производя охоту на раскольников, и если сам патрон их, Мацевич, ознаменовал себя примерным бескорыстием (нужно отдать ему в этом полную справедливость), то клиенты его не были бессребренниками, что доказывается, между прочим, большими капиталами, которые хранились ими в церковных кладовых. У одного из канцеляристов Мацевича похищено было однажды более 500 рублей серебряною монетой—сумма значительная для того времени, тем более, что приказная братия получала ничтожное жалованье...

Выше мы видели, какое значение имели для ярославцев представители двух, вовсе не сродных, элементов — военного и духовного. Был еще третий элемент, сильно и зловредно влиявший на общественную жизнь наших предков: мы разумеем приказное сословие. Оно было обширно, и народ, имевший полное право ненавидеть этих людей, недаром заклеил их насмешливо пословицей: «плодовит как приказное крапивное семя».—В наших бумагах сохранились сведения собственно о магистратских приказных; но едва ли они отличались чем-либо существенным от своих братьев, наполнявших другие ярославские присутственные места.

Между приказными соблюдалась следующая иерархия: писчик, потом копнист, затем подканцелярист и наконец уже следовал возделенный сан канцеляриста. (Журн. 1756 г., № 101). Повышение шло довольно туго. Магистрат награждал иногда вследствие особенных событий. Так, 13 октября 1754 года получено было магистратом официальное известие о рождении великого князя Павла Петровича. Торжество было не малое, с пушечною пальбою. «В ознаменование же таковой дарованной от Всевышнего господа всеобщей радости, магистрат удостоил подканцеляриста Бухарина чином канцеляриста, а Ивана Мушникова, писчика, произвел в копнисты, обязав их с рукоприкладством и клятвою, чувствовать высочайшую милость и впредь служить усердно и верно». (Журн. 1754 г., №№ 992 и 993). Магистратские приказные получали жалованье от «первостатейного и посредственного купечества», по раскладке; жалованье, как уже замечено, было маленькое, да и то выплачивалось не всегда исправно, с задержками.

(Журн. 1760 г., № 109). Удивительно ли, что процветало взяточничество? Нужно было пить-есть, содержать семью, а подчас платить значительные штрафы, которые взыскивались с приказных за разные служебные неисправности. В 1760 году магистрат замедлил отправлением к московским властям «ведомости о колодниках», за что означенные власти и присудили купцов—магистратских членов оштрафовать 50 рублями, члены же со своей стороны решили, что виноваты не они, а подчиненные им канцеляристы, не сочинившие в срок упомянутой бумаги, и бедные приказные полей-неволей должны были внести громадную для них сумму. (Журн. 1760 г., № 148). Пьянствовали приказные «весьма знаменито» и не обижались, если бургомистр или ратман, с целью укрепить в трезвости, снявши с загулявшего приказного сапоги, ввергал его, босоногова, в колодническую будку, «дондеше не отрезвится и в разум не придет», но приказные убегали оттуда босиком: народ был церемонный. (Журн. 1756 г., № 275). Снятие обуви, конечно, не составляло особенной чувствительной беды: бывало гораздо хуже. Однажды бургомистр Андрей Барсов приказал копиисту Ключикову списать копию с нужной бумаги; так как дело пришлось под новый год, то Ключиков загулял и не исполнил воли бургомистра, даже в магистрат не явился, почему и последовала таковая резолюция: «Ключикова сыскать и, заковав в железа и цепи, задержать под караулом». (Журн. 1760 г., № 1).— Впрочем, и между канцеляристами были люди влиятельные, пользовавшиеся уважением и доверием ярославского купечества. Плохое знакомство членов магистрата с законами, а тем более с канцелярскими обрядностями, объясняет, почему в некоторых случаях мы видим магистратских приказных облеченными в звание «поверенных от ярославского гражданства»; такие поверенные были посылаемы в Москву и другие города. (Журн. 1760 г., № 243). Вновь избранные магистратские президенты ездили в столицу обязательно, но только по другим причинам. Президенты выбиравлись непременно из «перностатейного купечества, люди полезные, неподозрительные, грамоте и писать умеющие и к магистратскому правлению достойные». Последнее достоинство контролировалось главным магистратом, который прежде чем утверждал избранное гражданами лицо в должности президента, вызывал его к себе «для осмотра достоинства». (Журн. 1756 г., № 660). Цель—

благая; но, кажется, при этих усмотрениях опустошались карманы «излюбленных» выборных лиц, ездивших на смотры и экзамен в сопровождении магистратских канцеляристов, своих клантов и в то же время руководителей.

Отношения главного магистрата к ярославскому магистрату были, вообще, строго-начальнические: указы посылались грозные, рапорты же отличались крайним смирением, близким к рабоденству. — Ярославский магистрат замедлил присылкой ведомости об окладных сборах, и к нему явился нарочный с указом; последний грозил подвергнуть господ членов «жестоким истязаниям», а приказных служителей — аресту. (Журн. 8 февраля 1754 г., № 130). В другом указе находим угрозу, что бургомистр и ратмана будут содержаться в магистрате «неисходно», если не исполнят немедленно повеления о выдаче жалованья какому-то консулу Чекалевскому и его подьячим. (Журн. 15 марта 1754 г., № 289). Московские власти стращали также не оставить без наказания манкировку, и обязывали членов магистрата «являться к присутствию в указные часы, не отлучаясь от присутствия никуда, для своих нужд без указа». По истечении каждого месяца магистратские приказные служители составляли ведомость о том: кто из господ членов когда прибыл в присутствие и когда удался. (Журн. 1760 г., № 145). Присутствующие, если верить журнальным отметкам, являлись на службу рано — часов в 7 утра, уходили же домой в 2 часа пополудни, кроме тех случаев, когда наезжавшие из Москвы ревизоры подвергали их аресту вместе с приказною братней.

Наезды ревизоров были часты и почти каждый раз сопровождался для магистрата и его канцелярии печальными событиями. Пусть читатель не думает, что ревизоры и понудители занимали важные должности. Совсем напротив. Означенные внезапные наезды делаемы были, по большей части, военными особами не крупных чинов: являлись какие-нибудь прапорщики, многомного поручики, или такие же канцеляристы, как и ярославские, только столичные, а следовательно, обладавшие значительнейшим гонором, который, по тогдашнему обычаю, они заявляли ругательствами и побоем магистратских приказных. Следующие факты красноречиво изображают быт русского чиновничества в половине минувшего столетия. Что значат щедринские герои, Живоглоты с К<sup>о</sup>.

и сравнении с теми героями, о которых мы будем сейчас говорить!

В апреле 1754 года прибыл в ярославский магистрат некто Андрей Григорьев, московский регистратор, с указом, повелевавшим ярославскому купечеству доставить несколько сот лошадей «для высочайшего шествия из Москвы в С.-Петербург». Григорьеву захотелось показать свое «я», и он, немедленно по приходе в магистрат, набросился на канцеляриста Сретенского, «ругал его вором, грозил смертною казнию и, знатно, забыв государственные права и не утрашась на судейском столе ее императорского величества указов, яко благочиния зеркала, из крайней своей злобы замахивался на него (Сретенского) бить, называл канальею и бестиею, и бранил м... но». Вся вина Сретенского состояла в том, что, дожидаясь почты, он не отправил в Москву с нарочным каких-то бумаг, сочиненных Григорьевым; последний, не ограничиваясь площадной бранью, приказал своему спутнику—сержанту бить Сретенского, но сержант отказался от побоев; магистратские же члены, сидевшие за судейским столом, не дерзали вывести буяна из присутственной камеры, «яко присланного из главной команды», хотя и «чувствовали себя преогорчительно обиженными», и ограничились только тем, что дали Сретенскому, принятый им, благой совет:—«Беги в другую камеру!»

И индигуларист Сретенский (читаем в магистратском журнале) принужден был из судейской камеры выйти и он, регистратор Григорьев, не учуствовавшись в нанесенной присутственному месту обиде, выбежал за ним и сам сабою, делая многие опыты руками придирался к нему, Сретенскому, бить, который, едва освободясь от наваго его нападения, мог из судейской камеры вышедши вон, скорчиться, запершись в другую палату».

Присутствующие начали было уговаривать Григорьева:

«Сие не похвально и противно закону. В именном указе 1724 года установлено штрафование бессовестных, которые неучтливим образом в присутственных местах поступают».

«Вы имете в магистрате воров и укрываете оных!»—возиия Григорьев, с прибавлением крепких слов.

«Эв сие явное невежество, а особливо бы сквернословную брань, надлежало бы взять с вас, господин регистратор, штраф, десять рублѣв; но понеже вы присланы

из главной команды, а особливо за самонужнейшим и высочайшим делом, то неуждно ли взять благопристойно магистратский репорт в конверте?»

Регистратор разорвал конверт, потом опомнился, стал «свои неправые и в противность регулам поступки признавать». Конверт был запечатан вторично и вручен Григорьеву, а он «с нахальством и незнамо какой имея к наруганию вымысел, и с другого конверта печать в великом азарте сорвал и пакет бросил, крича:

— «Сретенский подлежит пытке и смертному истязанию!»

Магистратские члены оскорбились.

— «Сии поношения и ругательства и угрозы к пытке и к смертному истязанию, и нареkanie ярославского магистрата присутствующих, что якобы они при магистрате поров имеют и в том их закрывают, нанесли присутствующим преогорчительную обиду».

Наконец, Григорьев взял запечатанную уже в третий раз бумагу и уехал из магистрата, который успокоил себя таким рассуждением: «Знатно (т. е. вероятно), уже совестно стало, а паче опасался достойного за наглости, по указам, воздаяния?» (Журн. 1754 г., № 456).

Но никакого воздаяния не последовало. Люди, подобные регистратору Григорьеву, как люди чиновные, могли безнаказанно оскорблять людей выборных, состоявших на общественной службе..

Вбегает в магистрат поручик Яков Чириков, присланный из государственной ревизион-коллегии, вбегает не один—с солдатом и учиняет следующее: «Незнамо какому находящемуся при нем солдату, без всякого резону и указного повеления или инструкции, приказывал, незнамо за что, ярославского магистрата присутствующих держать под караулом, а сам незнамо куда вышел; почему они, ярославского магистрата присутствующие, того числа (28 марта 1756 года) до вечера неповинно под караулом и содержались».

Стемнело. Чириков не является. Голод мучит. Адмиральский час давно пробил. Говорят солдату:

— «Принуждены мы потребовать от тебя о содержании нашем инструкции».

— «Никакого письменного повеления не имею», — отвечает служивый.

— «Так мы уйдем! — решают бургомистры Дмитрий

Холщевников и Кузьма Бахтеяров. — Стало быть, мы задержены неповинно».

«И, объявляя тому солдату, что они без инструкции, так, напрасно, без всякого виду, под караулом держаться не должны, из-под караула вышли... А на другой день, утром, явился тот же офицер и бранил магистратских членов за уход из-под караула:

— «Как вы, разбойники, смели уйти?»

«И таковым напрасным и непристойным нареканием, якобы вышли разбоем, он, поручик Чириков, оное присутствие крайне предобидел». (Журн. 29 марта 1756 г., № 235).

Этот Чириков был и раньше слишком хорошо известен ярославскому магистрату. 10 ноября 1754 г. он вошел в магистратские палаты «и непристойным образом, как видно находясь в шумстве, не требуя ничего, судящим объявил, что он, Чириков, их арестует, и потом, отворя судейской каморы двери, ввел в судейскую камору сержанта Золотарева да капрала Хохлова».

Присутствующие «со своею учтивостью» спросили:

— «По какому резону объявлен нам арест и в чем от ярославского магистрата требование состоит?»

Молча, не сказав ни слова, удалился Чириков; а стража (сержант с капралом да несколько солдат) стала караулить магистратских членов, которые, «видя необыкновенную от него (Чирикова) строгость и напрасный арест», означенно-го сержанта Золотарева и капрала Хохлова спрашивали:

«Почему вы при ярославском магистрате состоите, и имеете ли от ярославской провинциальной канцелярии или от поручика Чирикова инструкцию?»

«Никакой (отвечали сержант и капрал) инструкции мы не имеем, а токмо ярославский повода, коллежский советник господин Павлов, словесно велел нам идти в магистрат».

«Мы ярославского магистрата присутствующие, сего неповинного от вас аресту, без всякого письменного приказания, терпеть не должны; того ради, вы, сержант да капрал с командою, из магистрата выступя, идите в свою команду».

Повидимому, сержант послушался, ушел, но вскоре вернулся, уславив свою дружину тремя солдатами, между которыми — с одной стороны и магистратскими приказными — с другой учинилась баталия, и хотя викторию одер-

жали приказные, но она досталась им не дешево. Реляция об этом курьезном сражении в магистратский журнал занесена так: «Они (т. е. солдаты) ярославского магистрата присутствующим, при выходе, в сенях и на улице чинили с крайним презорством предобиды и толкали, и видно имели намерение как он, сержант Золотарев, так и, по приказу его, сержант Хохлов и солдаты, реченных присутствующих бить, и драли на них платье, отчего едва через ярославского магистрата приказных и сторожей могли господа присутствующие получить избавление». (Журн., 1754 г., № 1, III).

Вот и еще подвиг того же Чирикова:

«30-го сентября (1754 г.) поручик Яков Чириков, вошед в магистрат, в присутственную камору уже по-полудни, в немалом шумстве<sup>1</sup> требовал с великим азартом исполнения указа ревизион-коллегии о доставке кабацких счетов». Находившийся тогда в магистрате ратман Андрей Барсов почтительно отвечал:

— «Рапорт, с прописанием всех обстоятельств, изготовлен. Получите!»

Не взирая на «решпехт», оказанный ему ратманом при вручении бумаги, Чириков спрятал ее, не читая, в карман и завопил:

— «Где кабацкие счета? где? давай их мне сей же момент!»

«И кричал он сие с немалым же азартом, а не так, как честному офицеру в присутственной каморе следует иметь поступки... И затем оный поручик из крайней злобы имеющемуся при нем солдату приказал ратмана Барсова и приказных служителей задержать, без всякого резону, и потом, вышед вон, прислал для того задержания еще ярославской провинциальной канцелярии двух человек солдат, которыми он, ратман Барсов, со всеми приказными служителями, несколько времени и был содержан. И теми своими непристойными и шумственными поступками оный поручик Чириков ярославскому магистрату нанес крайнюю предобиду». (Журн. 1754 г., № 925). Не довольствуясь, однако, нравственным унижением, в которое он поставил магистрат, Чириков жестоко прибил «писчика» (писца) Ивана Ключи-

---

<sup>1</sup> Часто встречаемое выражение: «немалое шумство» заключало в себе тонкий, деликатный намек на то, что учинявшие это «шумство» были пьяны.—Л. Т.

кова, а затем купца Андрея Травщикова, да сына его Алексея Травщикова бесчеловечно изувечил, в чем ему помогали солдаты. (Журн. 1754 г., № 926). Магистрат умолял начальство не оставить Чирикова «без отщепеня», но жалобы пропадали бесследно; главный государственный магистрат, которому они приносились, смотрел на них равнодушно, прятал под сукно, или же страдал горемычных ярославцев, «яко кляузников», что они будут подвергнуты новым, более долговременным арестам. К последним прибегала также и государственная камер-коллегия: в декабре 1754 г. явившийся в магистрат с указом этой коллегии сержант Петр Ломов держал несколько дней «без выпуска» как магистратских присутствующих, так и канцеляристов, до тех пор, пока один из них умудрился сочинить требуемую бумагу. (Журн. 1754 г., № 1219).

Вероятно, ярославцы помирились бы еще как-нибудь с описанными невзгодами. Аресты, производимые солдатчиной, ее буйство, самоуправство были, конечно, возмутительны, тяжелы; но гораздо тяжелее была участь тех, которые обрекались на иступасние в эту солдатчину. Рекрутская повинность, теперь уже не особенно страшная, не вызывающая море народных слез, при Елизавете была невыносимо отяготительна; купечество же несло ее наравне с прочими сословиями, что, конечно, вполне справедливо с современной точки зрения, но введением у нас всеобщей воинской повинности, но в Елизаветинское царствование весь склад общественной жизни и все распоряжения правительства по отношению к купечеству и торговых людей крайнюю антипатию к военной службе. Легко было купцу попасть в солдаты, трудно было избежать от ружья и заменить его снова аршином. «В солдаты пошел — человек пропал!» — говорили и думали ярославцы-купцы. Особенно роптали они на местных фабрикантов, которые приписывали к своим фабрикам и заводам посадских людей. Жалобы основывались на том, более или менее справедливом сообщении, что фабриканты, и в числе их преимущественно богатый Затрапезнов, спасали от рекрутчины (руководясь, впрочем, чисто эгоистическою целью) посадских — «людей худших», между тем, как они, купцы, «люди торговые и добрые», принуждены нести тягость рекрутской повинности, которая, заметим кстати, выполнялась в Ярославле весьма патриархально. Состоявшая при воеводе военная команда ловила молодых купцов и посадских, кто под руку



попадется, и доставляла к господину воеводе. Некоторые откупались от ненавистной красной шапки, убоготившись воеводу с его алчной приказной челядью; другие же, победнее, не имея средств откупиться, шли сражаться...

Магистрат просил государственную мануфактур-коллегия обязать фабрикантов, чтобы они не смели скрывать у себя людей, годных к военной службе, и не увеличивали бы числа фабричных; в противном случае, по соображениям магистрата, «ярославское купечество, за таким оных фабрикантов упорством, придет в конечный подрыв и не будет в состоянии платить государственные подати». (Журн. 1759 г., стр. 129).

Зато велика была радость магистрата, когда ему удалось захватить ненавистных для купечества фабричных людей. Удобные случаи представлялись нередко во время народных гульбищ. Так, 27 мая 1759 года «сотские усмотрели на лугу, где бывает во время погребения странных народное гульбище, называемое с е м и к, ярославцев посадских людей Якова Кузьмина Балагурова да Василья Андреева Чельшева».

— «Ну, молодцы! вас-то нам и нужно, — сказали сотские. — Довольно погуляли, пора и на службу».

Но посадские объявили, что они находятся, по записи, в работе на фабрике Дмитрия Затрапезнова и утверждали, что эта запись дана на пять лет, а срок ее еще не миновал. Не внимая этим уверениям, сотские приволокли обоих посадских в магистрат, который, разумеется, и отдал их в солдаты «за доброе и тягловое ярославское купечество». (Журн. 1759 г., стр. 233). Впрочем, производимые сотскими ловитвы имели иногда трагический конец. В 1760 г. сотские Иван Кропин да Николай Ушаков, исполняя распоряжение магистрата, пошли ловить по домам посадских для отдачи в военную службу, и, между прочим, завернули в дом посадского Михайла Баранщикова, где в то время происходила свадебная пирушка. Незваных гостей встретили ножом. «Ярославский посадский человек Абросим Николаев Киселев, ухватя нож, у находящегося при сотских десятника Михайла Васильева Работнова прорезал брюхо с немалым повреждением живота его». Не без труда сотские выручили своего раненого товарища и увезли домой. Киселев подвергнут был за то преступление магистратскому суду; его пытали три раза, секли плетьюми, добиваясь признания, что он ранил десятского не слу-

чайно, а по злому умыслу; но Киселев стойко выдержал троекратную пытку, показавши, что «от безмерного пьянства того десятского Михайла Работнова каким ножом или чем другим в брюхо ткнул, — того-де он не помнит». На повальном обыске соседи Киселева одобрили его поведение, и этот юридический акт, разумеется, при достодожном приношении воеводе, спас виноватого от угрожавшей ему каторги. Но магистрат наказал Киселева плетью в четвертый раз — теперь уже не за покушение на убийство, а собственно за «непомерное пьянство». (Журн. 1760 г., №№ 579 и 817). Посадский Никита Кувшинников, не желая отдать сына в рекруты за ярославское купечество, также прибегнул к оружию для защиты своего детища от присланных за ним вербовщиков — сотских: ранил одного из них, проколол щеку железною пешней; кроме ее, на случай появления вербовщиков, Кувшинников устроил у себя целый арсенал из топоров, но они были своевременно отняты. (Журн. 1755 г., № 207).

Кроме укрывательства на фабриках по записям, о значении которых мы сообщим далее, ярославские посадские находили себе убежище в других городах, — убежище не всегда верное, потому что магистрат и туда отправлял своих гонцов, снабдив их инструкцией: «Пристойным образом чрез обывателей разведывать, где находятся беглецы, и сыскивать их накрепко, и ходить по обывательским домам, имея усердное старание, дабы оные посадские люди никоим способом в тех домах и прочих местах от поимки укрыться не могли». (Журн. 1756 г., № 662). Некоторые предпочитали бегству членовредительство; другие же, сделавшись калеками, вследствие случайных обстоятельств, спешили заявить о том магистрату, опасаясь, чтобы телесные их недостатки не были отнесены к умышленному членовредительству, с целью избавиться от военной службы. Поэтому неудивительны челобитья, подобные следующему: «Если я, повредивший себе ногу упавшим бревном при гашении пожара на дворе бывшего герцога Бирона, для какой-либо нужды понадоблюсь, то об одной моей ноге не причтено было бы мне в вину». (Журн. 1760 г., № 565). Битые кнутом (но не плетью) возвращались обратно из военной службы, если правительство узнавало, что они потерпели это позорное наказание. Взамен битых требовались другие, не битые. (Журн. 1756 г., № 310). Отсюда можно заключить, что

правительство сознавало уже и в Елизаветинскую эпоху потребность избавить русскую армию от людей, опозоренных кнутобойством; но, с другой стороны, здесь могла быть иная цель, именно желание составить армию из людей крепких, здоровых, — кнут же оставлял после себя ужасные следы на том, кто имел несчастье побывать в руках заплочного мастера, и разрушал человека столько же морально, сколько и физически...

Упомянутая ка ба л ь н а я з а п и с ь, или просто запись составляла в Ярославле документ очень употребительный. Миллионер Дмитрий Затрапезнов, местный Крез, имел на своей фабрике несколько сот «приписных», вернее сказать, закабаленных людей. Запись совершалась на известный, определенный срок, не в силу крепостного права, хотя из магистратских бумаг видно, что некоторые ярославские купцы владели рабами. Так, в 1754 г. купец Рыбников подал в магистрат челобитье о том, что у него сбежал раб калмыцкой породы. (Журн. 1754 г., № 786). Причина, по которой ярославские посадские люди, юридически свободные, отдавались Затрапезнову в кабалу, объясняется, кроме бедности их, желанием избавиться от рекрутчины. Сильная рука Затрапезнова спасала посадских во многих случаях от власти городской купеческой аристократии, подлежащей отбыванию рекрутской повинности, так же, как подлежали ей и плебеи посадские. С ярославских горожан требовалось, например, 50 человек рекрут. Естественно, купцы желали, чтобы эти 50 человек были взяты не из среды их, а из посадских. (Журн. 1760 г., № 601). Жизнь приписанных к фабрикам людей была все же менее страшна, чем поступление в солдаты: по крайней мере, человек не отрывался навеки от семьи, от родины. Степень благосостояния фабричных зависела от личности хозяина — фабриканта. Если фабрикант был самодур, деспот, любитель кулачной расправы, тогда фабричному жилось плохо. В наших бумагах встречаем, например, челобитье четырех ярославских торговцев, поданное магистрату о том, что купец Иван Колчин тиранит отдавшегося ему на пять лет в работу ярославца посадского человека Семена Михайлова Бошарина. Согласно записи, Бошарин обязался служить Колчину на шляпной фабрике; вместо того его отправили на завод, где выдывался сурик, «который завод весьма вредный, и в оном работники больше месяца работать не могут, и всегда Колчин Бошарина к той работе

усиливает и бьет бесчеловечно, отчего он, Бошарин, может умереть; а им, просителям, будет убыток». (Журн. 1755 г., № 767). Слова эти означают, что челобитчики поручились за рабочего в исправной уплате долга фабриканту Колчину и, в случае смерти первого из них до истечения пятилетнего срока, обязаны были уплатить Колчину ту сумму, которая осталась незаработанною. В фабричную кабалу попадали и насильно, помимо собственного желания. Приводим, как любопытный факт, рассказ ярославского купца Ивана Андреева Горшкова. Записанный в ярославское купечество, он платил подати исправно, да на беду свою знал хорошо «бахрамное, кистейное и пуговное художество»; и жил он по паспорту, выданному из ярославского магистрата, в столичном городе Москве «на плащильной и волоченной золота и серебра фабрике» Ильи Докучаева «с товарищи»; Илья же Докучаев «с товарищи», обуреваемый духом любостыжания, задумал укрепить у себя его, Горшкова, в вечное служение и работу без всякого желания его и письменного объявления. Задумано — сделано. Каким-то образом, тайком от Горшкова, сей ярославский купец оказался приписанным к фабрике Докучаева «с товарищи»; он приносил кому следовало многие жалобы, только все они имели плачевный конец: «содержание в тяжкой чепи» (на цепи). Государственная мануфактур-коллегия, покровительница богатых фабрикантов и в то же время неблагосклонно смотревшая на их рабочих, поддержала Горшкова под караулом более двух недель, и бог знает, сколь долго протянулся бы сей «караул», если б Горшкову не помогла благодетельница судьба в лице некоего курьера Побединского. Императрице Елизавете Петровне понадобились художники, умевшие делать отменно-хорошо бахромы, кисти и пуговицы, почему от кабинета ее величества и был отправлен на фабрики вышереченный курьер Гаврило Побединский, узнавший случайно о художестве Горшкова, который сидел под караулом, ибо упорствовал в своем нежелании войти в разряд фабричных невольников. Благодаря Побединскому, «художник» избавился от кабалы; но, опасаясь пущего насилия со стороны фабриканта Докучаева, он исходатайствовал в магистрате документ, который удостоверял принадлежность его, Горшкова, к ярославскому купечеству. (Журн. 1756 г., № 307).

В тех случаях, когда купцу не удавалось забрить в солдаты, вместо себя, фабричного или посадского, а между тем

наступала неминуемая нужда исполнить рекрутскую повинность, — купец отправлялся путешествовать по своему уезду, а иногда и по отдаленным местностям, он заезжал в господские усадьбы и покупал у дворян крепостных людей. Прежде чем совершить это путешествие по матушке-России, напоминающее нам о путешествиях незабвенного Павла Ивановича Чичикова, с тою разницей, что Чичиков благоприобретал мертвые души, а ярославские купцы — души живые, облеченные в плоть и кровь, — наши коммерсанты обязаны были обратиться в магистрат с челобитною, в которой заявляли, что «желают-де они за себя (или за свое семейство) купить человека на имя магистрата». Купцам не разрешалось личное приобретение людей, но магистрат — лицо юридическое — имел право на эту покупку и, согласно просьбам купцов, выдавал им аттестат, т. е. свидетельство, сформулированное так: «Челобитчику, ярославскому купцу №, дав сей аттестат в том, что магистрат ему верит в покупке на собственные его, челобитчика, деньги у помещика, у кого он отыскать может, на имя оногo магистрата, дворового человека или крестьянина в рекруты, как ростом, так и летами пригодного в военную службу, достойного, неподложного и неподозрительного». (Журн. 1760 г., №№ 556, 557 и многие другие). Заручившись этим документом, ярославский коммерсант не рисковал, подобно Чичикову, приобрести, вместо мужика, какую-нибудь бабу Елизавету-Воробей, ибо Собакевичи половины XVIII столетия вели дело на чистоту, продавали живой товар, действительно «неподложный и неподозрительный». Купив у дворянина этот товар уже после поступления в военную службу, ярославский купец снова возвращался к своим торговым занятиям. (Журн. 1760 г., № 473). Но это бывало только в редких, исключительных случаях, потому что каждый старался избежать даже кратковременного пребывания в солдатах и спешил заранее, до отдачи в рекруты, поставить взамен себя или посадского, или крепостного человека...

Теперь обратимся к другим повинностям, лежавшим на ярославских горожанах в царствование Елизаветы Петровны. Отсюда также можно извлечь некоторые исторические и бытовые черты, касающиеся ярославцев описываемой эпохи.

Красавица, «лебедь белая», императрица Елизавета Петровна была большою гастрономкой, особенно в послед-

ние годы своего царствования, когда образ жизни оставил следы на лице ее, некогда, во времена молодости, отличавшемся необыкновенною прелестью<sup>1</sup>. Гастрономические потребности Елизаветы отчасти удовлетворялись жителями ярославской провинции. «Шекснинска стерлядь золотая», воспетая позже, при Екатерине, Державиным, и не воспетая им, но также очень вкусная белорыбица обязательно поставлялись к императорскому двору. Переписку об этой натуральной повинности вел с ярославским магистратом, при посредстве местного воеводы, гофмаршал барон Карл Ефимович Сиверс, настойчиво требовавший, чтобы «магистрат приложил наиприлежнейшее и неусыпное старание к поимке белой рыбицы». Особенная потребность чувствовалась в ней великим постом, ради желания примирить гастрономические наклонности Елизаветинского двора с требованиями церкви. «Как скоро хотя одна или две рыбы изловлены будут, то оные (писал Сиверс) отправить ко двору с проводником, который должен быть в сбережении их знающий и весьма надежный человек». Ярославские рыбаки получали от магистрата строгий наказ, во что бы то ни стало, постараться исполнить гофмаршальское повеление; впредь же до исполнения сего, никто из рыбаков, под опасением великого штрафа, не дерзал продать белую рыбицу «в партикулярные руки». (Журн. 1759 г., стр. 78, 104, 151).

В 1759 году были высланы в Петербург, для постройки дворца, каменщики, «люди добрые и свое дело знающие». (Журн. 1759 г., стр. 72). В 1760 году, кроме каменщиков, такая же повинность легла на штукатуров и печников. (Журн. 1760 г., № 769). Подводная повинность исполнялась не без труда: случилось, что ярославское купечество зараз должно было выставить более сотни подвод под артиллерийские орудия и везти их до Пскова, отрядив при том двух купцов, «лошадиных приставов», до места доставки артиллерии. (Журн. 1759 г., стр. 24, 70 и др.). Ярославцы должны были не только возить артиллерию, но и доставлять для русской армии, сражавшейся с Фридрихом Великим, некоторые военные снаряды. Граф Петр Иванович Шувалов, во исполнение высочайшего е. и. в-ства рескрипта, предписал ярославскому магистрату «на новоучреж-

<sup>1</sup> «Очерк царствования Елизаветы Петровны», Ешевского, том II, стр. 405.

даемые нового корпуса полки к копьям пикинерским древки и рогаточные брусья сделать: копей пикинерских длиною 8 арш.—432, рогаточных брусьев—9000» и проч. На исполнение дан был двухмесячный срок. Присланы были офицеры с образцами означенных предметов. Магистрату приказано: «те древки, а наипаче брусья сделать неотменно в самой скорости, не представляя никаких к тому якобы невозможностей и отрицаний, под опасением взыскания с магистрата тягчайшего штрафа». (Журн. 1757 г., № 10).

К числу натуральных повинностей принадлежала должность целовальников. Их было много: целовальники при продаже соли, пороху, целовальники при сборе денег в царевых кабаках и т. д. Провинциальная канцелярия требовала, чтобы все эти должности замещались людьми добрыми и неподозрительными, «дабы не могло учиниться ущерба интересам ее императорского величества». (Журн. 1760 г., № 20). Повинность, исполняемая сотскими и десятскими, была самая неприятная: купцы били их по щекам, считали за своих слуг. (Журн. 1757 г., № 87). Митрополит Арсений Мацеевич, руководясь указом 1703 года, возложил на ярославских граждан забытую ими денежную повинность, именно плату соборным сторожам «безбедного жалования, дабы те сторожи в пропитании своем нужды не имели; они же, сторожи, и на колокольне всегда исправляют звонарскую должность, без чего и пробыть отнюдь нельзя и невозможно». (Журн. 1757 г., № 42). Подушная подать, которую несли как купцы, так и посадские, взыскивалась строго. С жалобщиками на неправильную раскладку податей магистрат поступал неумолимо и держал их «под караулом безысходно»; так как магистратским членам вовсе не было желательно платить за недоимщиков свои деньги. «Буде же кто из купечества (читаем в журнале 1756 г., № 237), тех подушных денег платить не станет упрямством и ослушанием, и таковых ослушников, кто б ни был, на страх другим, сажать в цейхауз, сиречь в смирительный дом, дабы, на таковых смотря, и другие никто таких ослушаниев и упрямств и в сборе подушных денег замешательств и остановки чинить не отваживались; а буде они и тем не учувствуют — платить не станут, таких отправлять в провинциальную канцелярию». Вероятно, расправа господина воеводы была сильнее магистратской расправы. Раскольники, как известно, исполняли подушную

повинность по увеличенному окладу. Список им вело ярославское духовное правление, от которого магистрат получал необходимые справки для обложения раскольников этой податью, согласно законам. (Журн. 1756 г., № 260). Раскольники и, вообще, любители старины, сверх означенной подати, платили еще штраф за ношение бород. Можно было предполагать, что при императрице Елизавете бороды и русская народная одежда уже не преследовались, как при ее великом отце; но оказывается, что и в Елизаветинское время бородачи и ненавистники немецкого костюма вызывали на себя кару закона, установленного Петром I. По крайней мере, так было в Ярославле. Сообщаем вполне, без сокращений, относящийся к этому предмету любопытный документ 1756 г. — меморию ярославской провинциальной канцелярии о том, чтобы местный магистрат строго следил за бородачами:

«Понеже во исполнение именных блаженные и высокославные памяти его императорского величества государя Петра Великого и потом в подтверждение состоявшихся и в ярославскую провинциальную канцелярию присланных указов, чтоб всякого чина люди (кроме церковного причта и пашенных крестьян) неуканного платья и бород отнюдь не носили, под опасением положенных за то штрафов, о том в Ярославле многократно указами публиковано и в ярославский магистрат о поимке ходивших в неуканном платье и бородах многими премориями сообщено. Но и из-за того многие ярославские обыватели мужеска и женска полов, в противность вышеозначенных указов, как не безизвестно, ходят в неуканном платье, а мужеска полу и бороды носят. Того ради, по указу ее императорского величества, в ярославской провинциальной канцелярии определено: для поимки и приводе в здешнюю провинциальную канцелярию означенных, ходивших (в противность высочайших указов) в неуканном платье и бородах, к взысканию надлежащих по указам штрафов, определить команду и о поступании в том с крайним прилежанием без всякого упущения (дабы чрез то оное вовсе искоренено быть могло) дать инструкцию с полным наставлением; а в ярославский магистрат о том же исполнении, тако-же ежели кто с бородами и не в укзанном платье для чего в тот магистрат придет, — оных о присылке в ярославскую провинциальную канцелярию ко взысканию штрафа, под караулом непременно, еще послать преморию (о чем сия и послана). И



ярославский магистрат да благоволит чинить по указам ее величества». (Премория 23 марта 1756 г., № 1178).

Варварский язык этого документа не закрывает, однако, сущности дела. Воевода Иван Шубин-Большой да его товарищ Андрей Турчанинов вздумали поохотиться за бородачами и определили команду, специально назначенную для этой цели; а чтобы лучше достигнуть ее, они обязали и магистрат, если явятся туда бородачи, задерживать их и отправлять на воеводский суд. Такова сущность премерии. Магистрат же решил: «Ярославского купечества обывателям обоих полов о ношении русского платья, тако-ж мужеска полу бород, чтоб оные всегда бриты были, чрез сотских всем объявить с подписками. А носили-б указное немецкое платье...» (Журн. магистрата 29 марта 1756 г.; указы сотских №№ 314 и 323). Неизвестно, удалось ли ярославскому воеводе словить бородачей, остричь их и нарядить в немецкие камзолы; что касается бородачей, живших в других городах и слободах Ярославской провинции, то охота за ними бывала не безуспешная. Так, в Рыбинской слободе (ныне город Рыбинск)<sup>1</sup> зараз словили 20 брадоносцев.

Ходить без бороды, нарядившись по заграничной моде, еще не значило сделаться европейцем. Ярославец, вкусивший плоды западной цивилизации, т. е. благодаря портным и местным фигаро, облекший свою плоть в иноземную одежду волей-неволей и лишенный бороды, в действительности оставался человеком XVII столетия со всеми его верованиями и предрассудками. Верил он, как веровали его деды, в могущество тайных, сверхъестественных сил. Колдовство, заговоры, приворотные коренья, разрыв-трава, якобы разбивающая железные замки, цветок папоротника, открывающий в Ивановскую ночь несметные клады, оберегаемые чертями, одним словом, все принадлежности нечистой силы не подлежали для ярославцев Елизаветинского времени ни малейшему сомнению. Суеверие господствовало между ними безгранично. Им были проникнуты не только купцы и посадские, но и люди чиновные: в 1754 году какой-то карaulьный секретарь Федор Плещеев привлек к суду магистрата ярославского торговца Ивана Зеленщикова, обвинив его в продаже вредных волшебных трав. (Журн. 1754 г., № 61). В том же году ярославец

<sup>1</sup> Ныне город Щербакон (прим. ред.).

посадский человек Яков Свешников судился за колдовство: с помощью волшебной травы «прыгуна» он хотел найти где-то клад. (Там же, № 654). Судьба Свешникова и Зеленщикова покрыта мраком неизвестности, потому что, упомянув о фактах, наши бумаги не разъясняют их подробно, предоставляя исследователю ярославской старины думать, что как тот, так и другой из названных лиц оказались невинными владельцами не менее их невинных трав петрушки, укропа и т. д. Как бы то ни было, обвинение в колдовстве имело трагические последствия для обвиняемых, которые не избегали пыток, несмотря на очевидную нелепость доноса. Расскажем, кстати, одну историю, достаточно знакомящую нас с приемами юстиции доброго старого времени.

Канцелярист ярославского магистрата Василий Сретенский 27 сентября 1756 г. объявил магистратским присутствующим:

— «Жительствующий у меня, из найму, ярославец посадский человек Степан Григорьев сын Старцев, живучи в доме моем, незнамо какими чарованиями и кореньями жительствующую у меня-же, Сретенского, старуху Ульяну, Семенову дочь, испортил...»

— «А сколько лет той старухе, и коим манером сия порча произошла?» — осведомились магистратские члены.

— «Летами она, Ульяна, более девяноста лет, — которую ныне так жестоко ломает, что при том она на подобие собаки лает, и от великого ломания она состоит уже близ смерти».

— «Винился ли Старцев в том испорчении, и коли винился, то при ком именно?»

— «А в том испорчении он, Старцев, винился мне, Сретенскому, при сотском дмитревской сотни Якове Баранщикове и при стороже магистратском Николае Белозерове, и извинялся».

— «Коликой-же ради нужды испорчение сие сотворилось?»

— «А видно, что такие вредительные коренья брал он на учинение вреда хозяевам. Чего ради прошу магистрат оного Старцева исследовать: у кого он и какие коренья или иные какие чарования получил, и с каким намерением?»

Магистрат определил: «Оное объявление, записав, отдать в повыеть. А объявленного ярославца Степана Старцева в вышеписанном на него в извете показании допросить

с обстоятельством<sup>1</sup>, и на кого он показывать будет, оных, накрепко сыскивая, допрашивать. А буде такие оговорные окажутся не магистратского ведомства, то оных допрашивать при депутате от ярославской провинциальной канцелярии, истребовав его чрез сообщенную в тое канцелярию преморию, и по допросам, расписав по делу и из указов выписав, доложить немедленно». (Журн. 1756 г., № 571). Подписали мудрую резолюцию купцы: бургомистры Дмитрий Холщевников да Козьма Бахтеяров.

Действительно, процессом не замедлили. 5 октября 1756 г., следовательно спустя неделю после доноса, в присутствии тех же бургомистров, да ратмана Кириллы Овсянникова, да товарища воеводы, коллежского асессора Турченинова, был допрошен Тимофей Григорьев Панов, крестьянин князя Михаила Михайловича Щербатова.

Панову объяснили, что он обвиняется в колдовстве.

— «Ты, Панов, портил чародейством жительствующую в услужении у ярославского магистрата канцеляриста Василья Сретенского старуху, девку Ульяну, и для поднесения ей дал зелья посадскому человеку Степану Григорьеву Старцеву?»

— «Не портил я и зельев никому не давал».

— «Откуда ты родом и где жительство имеешь?»

— «Родом я крестьянин вотчины князь Михаила князь Михайлова сына Щербатова, села Козьмодемьянского; а живу в Ярославле в Стрелецкой слободе у отставного, определенного к Спасову монастырю, солдата Ивана Васильева, сына Партазанова, из найму, по копейке на неделю, другой год».

— «Пашпорт от помещика у тебя имеется ли?»

— «Не имеется, по недалности вотчины. А живу я по письменному виду, данному мне из государственной юстицколлегии».

— «Чего ради сим видом ты снабжен? И исправно ли подати платишь?»

— «Когда я содержался и розыскиван был (т. е. подвергнут пыткам) в ярославской провинциальной канцелярии по делу бывшего мануфактурного содержателя Ивана Затрапезнова, то о свободности моей сей вид дан из юстицколлегии. А подушные деньги плачу в показанную господина моего вотчину».

<sup>1</sup> Т. е. прибегнуть, смотря по обстоятельствам дела, к пытке.— Л. Т.

— «Ярославца Степана Старцева знаешь ли?»

— «Не знаю и не видал, и кореньев никогда ему не отдаывал, и он у меня их не прашивал. И наговаривать я ни на что не умею и ворожить не знаю. И никого ни сам, ни чрез людей не порчивал, ни сам ни у кого не вораживался, и в какой силе есть ворожейство — сего не знаю...»

Магистрат рассмотрел выданный Панову из государственной юстиц-коллегии «вид»: документ оказался не вполне благонадежным, так как обличал подсудимого в том, что он и прежде, за 14 лет до описываемого дела, судился за волшебство, хотя и был оправдан. Значилось в документе, что в 1742 году Тимофей Панов «дал якобы заговорного коренья содержателю ярославской полотняной фабрики Ивану Затрапезнову, в умысле к смертному убийству; а по следствию того не явилось».

— «Поелику-ли, Панов, чинишь запирательство, то даны будут тебе с показателем Степаном Старцевым очные ставки и в случае на оных запирательства (предупредил магистрат) будешь ты допрашиван с пристрастием».

— «К волшебству я не причастен!»—утверждал Панов.

— «О сем будут собраны справки от провинциальной канцелярии: в каких приводах и подозрениях, особливо-же по волшебствам, не бывал ли ты...» (Журн. 1756 г., №№ 571 и 592).

К сожалению, нам не известен конец этой траги-комической истории: документы наши умалчивают о дальнейшей судьбе Панова. Но уже и по началу дела можно с достаточною уверенностью предположить, что он не избег пытки за девяностолетнюю старуху, которая будто бы лаяла по-собачьи, вследствие его богопротивного колдовства...

Вера в чародейство проистекала, разумеется, от страшного, почти поголовного невежества, а оно, в свою очередь, было необходимым последствием того грустного факта, что при императрице Елизавете дело народного образования... не обращало на себя ни малейшего внимания как со стороны правительства, так и со стороны общества. Правда, благодаря одной идеально-прекрасной личности Елизаветинского царствования (И. И. Шувалова), в 1755 году был основан московский университет, однако и он в первое время своего существования походил скорее на плохо устроенную начальную школу, чем на высшее учебное заведение. Вопрос, предложенный воспитанникам университетской гимназии: «куда впадает Волга», вызвал такие ответы: «в Черное море!».

«в Белое море!» Будущий же каратель русского невежества и творец «Недоросля» отвечал: «не знаю!» с таким видом добродушия, что экзаминаторы единогласно присудили ему золотую медаль<sup>1</sup>. Вероятно, не достало бы русского золота, если б медали выдавались за подобные ответы, всем ярославским Митрофанушкам. Для ярославцев особенно любопытно предание о том, что Фонвизин срисовал тип Митрофанушки, — личность не карикатурную, как полагают некоторые, а действительно существовавшую, — с барчука, обитавшего близ Ярославля. Предание награждает Митрофанушкою две фамилии: Мустафиных и Долгово-Сабуровых. Даже указывали нам селения, где жил знаменитый Митрофан Простаков, окруженный Вральманом, Кутейкиным, Цифиркиным и нянюшкой Еремеевной. Во всяком случае, по поводу места рождения Митрофанушки трудно ожидать возникновения между селениями Ярославской губернии такого горячего спора, какой происходил между греческими городами по вопросу о том, где родился Гомер<sup>2</sup>. Могут возразить нам, что Митрофанушка — современник Екатерины II, а не императрицы Елизаветы. Но если даже в царствование Екатерины... ярославская почва держала на себе тяжелую ношу Митрофанушек и Скотининых, то спрашивается, сколько же их существовало раньше при Елизавете? Имя их — легион. В Елизаветинское время ярославская провинция имела только один расадник науки, духовную семинарию, которая была переведена в 1749 г. митрополитом Арсением Мацеевичем из Ростова в Ярославль. Семинария давала образование детям белого духовенства, образование очень скудное, сухое, схоластическое; молодое же ярославское дворянство средней

<sup>1</sup> Соч. Фонвизина. СПб. 1866 г., стр. 534.

<sup>2</sup> В «Иллюстрации» (1861 г., № 158) Петербургский Старожил утверждает, что оригиналом Митрофанушки был Алексей Николаевич Оленин, президент академии наук и известный меценат Александровского времени, который, будто бы, прочитав «Недоросля», принялся за ученье, бросил голубятню и страсть к бездельничанью. Насколько это верно, и возможно ли перерождение Митрофанушки в такого образованного человека, каким был Оленин, предоставим решить самому г. Петербургскому Старожилу, который подарил русскую литературу хотя и любопытными, но по большей части сомнительными «Воспоминаниями». Пребывание же Фонвизина в Ярославской губернии доказывается документами, хранящимися в подростовском селе Угодичах, о чем писал Лествицын в «Яросл. губ. ведомостях». — Л. Т.

руки поступало (в редких, наиболее счастливых случаях) в шляхетский корпус, основанный императрицею Анной Иоанновной, или же воспитывалось дома, под указкой грамотеядьячка вроде Брудастого, описанного Даниловым<sup>1</sup>; или же, наконец, во мраке пошехонских лесов и на волжском широком раздолье и приволье учились, вернее сказать, откармливались Митрофанушки Простаковы. Последнее бывало чаще. Затем сыновья ярославских купцов, ярославских посадских людей учились на медный грош у духовенства, чаще у раскольников-грамотеев; ярославское же крестьянство было лишено и этой ничтожной доли образования. В руках пишущего эти строки много любопытных материалов для истории училищ Ярославской губернии в начале царствования Екатерины II. Оказывается, что предшествовавшая этому царствованию Елизаветинская эпоха оставила после себя в деле народного образования самые горькие плоды: не было учителей, пригласили грамотеев дьячков, но они менторы умели только писать и читать, да и то с грехом пополам. Никто из них не знал первых четырех правил арифметики. Злодейская таблица умножения была для ярославских педагогов камнем преткновения... Утешительно, по крайней мере, то, что архивные документы Екатерининского царствования изобилуют благородными словами: наука, училище, образование и т. д. Но исследователь ярославской старины тщетно стал бы искать этих слов в документах Елизаветинского времени: при составлении настоящей статьи нам пришлось внимательно прочитать громадное количество бумаг, и ни в одной из них мы не встретили означенных слов. Старательно ищешь их и не находишь. Зато попадают курьезные сведения, что ярославскому купечеству, которое нуждалось в хорошей азбуке и не имело ее, поставлено было в обязанность выписать какой-то «Савариев лексикон», стоивший 8 руб. 53 коп. за экземпляр: сумма немаловажная для наших прадедов. Вот ярославцы и получили сей лексикон, да и спрятали его в магистратскую кладовую, а денежки, рублей сотню, все-таки пришлось запалатить. (Журн. Яросл. магистр. 1755 г., № 824 и 1760 г., № 448). Встречается и другой страшный факт: ярославский купец, Дмитрий Соколов, владел библиотекой, состоявшею из немецких книг.

<sup>1</sup> Записки Данилова.—Л. Т.

Библиотека назначена была в продажу с публичного торгу, но желающих купить ее не явилось. (Журн. 1755 г., № 665). Знал ли Соколов по-немецки, или немецкие книги очутились у него случайно? Если Соколов и представлял собою счастливое исключение из массы своих невежественных родичей, то единственный факт не может служить опровержением наших доводов о нерасположенности ярославцев к образованию вообще, тем более к изучению иностранных литератур, с которыми не был знаком даже писатель-ярославец, Василий Иванович Майков, автор известной юмористической поэмы «Елисей, или раздраженный Вах».

Майков родился в 1728 году. Детство свое он провел в отцовском поместье, близ Ярославля. 14 лет он поступил на службу в лейб-гвардии Семеновский полк; но вскоре его отпустили домой к родителям, «для наук», на 4 года. Родители, взявшие к себе детей, записанных в полк, обязаны были обучать их множеству наук: арифметике, геометрии, фортификации, артиллерии, инженерному искусству и т. д., кроме того, иностранным языкам; на самом же деле молодые дворяне ничему не учились, или же, как и наш ярославец Майков, получали «пристойное воспитание, ограниченное чтением священных книг и нравственными наставлениями». Иначе сказать, В. И. Майков не возвышался над часословом и псалтырью. У тогдашних учителей немногому можно было научиться, притом же обучение сопровождалось или крайне суровою дисциплиной, или совершенным баловством. Что обучение Майкова, сына состоятельного помещика, было весьма ограниченное, видно из того, что он вовсе не знал иностранных языков<sup>1</sup>. Впрочем, по мнению биографа Майкова, отсутствие иностранных учителей, домашнее воспитание по церковным книгам и самая семейная патриархальная обстановка имели для нашего писателя свою выгодную сторону: они познакомили его, по крайней мере, с русской действительностью, с бытом народным. Это отразилось и в сочинениях Майкова, который принадлежит к числу второстепенных, но зато наиболее народных писателей. Отец его, живя в окрестностях Ярославля, покровительствовал Федору Григорье-

<sup>1</sup> Прекрасно составленная биография Майкова, из которой мы заимствуем эти подробности, принадлежит перу одного из его потомков Л. Н. Майкову. («Русские писатели». Соч. и перев. В. И. Майкова, изд. 1867 г. под редакцией П. А. Ефремова).—Л. Т.

вичу Волкову, незабвенному основателю русского театра. Знакомство с Волковым, а через него с театральным миром, конечно, влияло на молодого Майкова, и он—дитя Елизаветинского времени—впоследствии, при Екатерине, явился честным литературным деятелем, дополнив недостатки своего домашнего воспитания личным трудом, самообразованием. То же следует сказать о современнике Майкова, другом писателе-ярославце князе Мих. Щербатове; и он получил очень ограниченное образование; но, несмотря на то сумел развить себя до глубокого исторического понимания своей эпохи, которая была весьма строго оценена им в известном сочинении: «О повреждении нравов в России»... На Щербатове все-таки остановимся с удовольствием, изучая это время, потому что оно слишком бедно почтенными личностями, потому что, вместо их, пред нашими глазами, длиною вереницей идут мрачные тени забытых, униженных, оскорбленных людей, или же людей, которые унижали и оскорбляли других нравственно и физически,—бить нещадно, бить кнутом, бить плетью,— вот выражения, которые встречаются почти на каждой странице истории Елизаветинского царствования.

Для полноты картины ярославского общества в половине XVIII века теперь и нам предстоит обратиться к этим страшным фактам. Возглас: «Слово и дело!» часто раздавался на ярославских улицах и площадях, а за ним, как необходимое его последствие, столь же часто раздавался свист кнута и плетей, заглушая стоны и вопли жертв тогдашней юстиции...

## II

Ябедничество. — Слово и дело. — Наказание за «непорядочные поступки». — Раздача порук. — Орудия пытки. — Палач. — Медленное решение уголовных дел. — Быт колодников. — Пьянство и лаяние. — История одной пьяной бабы. — Корчмари. — Злодеяния сыщика, купца Сушина. — Драки и кулачные бои. — Семейный деспотизм. — Очерк ярославской торговли до императрицы Елизаветы. — Презент ярославцев за уничтожение внутренних таможен. — Разные стеснения торговли. — Банковые операции. — Приданое богатой купчихи. — Воевода Павлов. — История с белорыбцей. — Полицеймейстер Кашинцев. — Ф. Г. Волков.

Тревожное, ненормальное состояние общества вызывает неминуемо массу людей, пользующихся этим состоянием для своих неблагоприятных целей. Являются десятки, сотни доносчиков, кляузников. Так было и в Ярославле, при



Елизавете. Ябедничество процветало здесь до крайней степени, внося разлад не только в общественную, но и в семейную жизнь: обменивались доносами бывшие друзья, товарищи, кровные родственники. Оказывалось выгодным предупредить своего соперника, т. е. раньше его забежать в магистрат или к господину воеводе с челобитием, с кляузным прошением. Пословица, гласящая: «доносчику первый кнут», не всегда применялась к делу, потому что первый удар доставался все-таки лицу обвиняемому, а потом уже, «для изыскания истины», заплочный мастер сводил тяжелое знакомство и с доносчиком, если последний сам запутывался в своих показаниях, или не успевал прилично убогатворить кого подобало. Даже прекрасная половина рода человеческого любила посутяжничать. В магистратских делах встречаются, например, такие милые характеристики ярославских дам: «Сия Авдотья Ильина Карпачева есть несносная ябедница, пьяница и записная кляузница». (Журн. 1760 г., № 262). Понятно и без объяснения, что подобные госпоже Карпачевой особы сочиняли доносы, сравнительно, очень невинные, напоминавшие своим стилем и содержанием бессмертные прошения, которыми обменивались в миргородском уездном суде Иван Иванович Перерепенко и Иван Никифорович Довгочун. Другие же доносы были поважнее.

Обвинение в том или другом уголовном преступлении, а тем более в нарушении полицейских уставов, конечно, мало значило перед обвинением в преступлении государственном. Это последнее обвинение выражалось лишь тремя словами, но от них стынула кровь в жилах наших предков, они заставляли бледнеть и дрожать самого бесстрашного человека, потому что неминуемо влекли его в застенки, обрекали на жестокие страдания.

Мы разумеем известную формулу, известный возглас: «Слово и дело!»

Кто «выкрикивал» эти слова, того немедленно хватали и тащили к воеводе, ибо «крикун» должен был обвинить кого-нибудь в государственном преступлении, а за обвинением, хотя бы оно и являлось очевидной нелепостью и клеветой, все-таки неизбежно следовала пытка, которой подвергались обе стороны, т. е. обвинитель и обвиняемый. Ярославские крикуны, разумеется, всегда оказывались клеветниками: город Ярославль, при Елизавете, была совершенно безгрешен и благонадежен в политическом отноше-

нии; государственных злодеев в нем не существовало ни одного. За бездоказательность «слова и дела» наказание повторялось. Спрашивается: какая же радость была побывать в руках заплочного мастера? Из документов видно, что многие ярославцы губили себя под влиянием местн, ожесточения, надеясь одновременно погубить и своих су-противников. Этим обстоятельством, да еще пьянством, а главное—ужасами тюремной жизни, только и можно объяснить причину частого выкрикивания: «с л о в о и д е л о!» Арестант, желавший поскорее вырваться из душной, холодной тюрьмы, кричал. Его пытали. Оказывалось, что он взвел на себя небылицу, что он не ведает никакого «слова и дела государева». Результатом были плети и, часто, сдача в солдаты, следовательно—сравнительно с тюрьмою все-таки свобода, которая притом не исключала возможности бежать из полка, достигнуть полной волюшки, погулять на русском раздолье. Утечка из острога была труднее дезер-тирства...

И вот ярославцы, пьяные и трезвые, острожники и свободные, кричат: «Слово и дело государево!»

Кричит посадский Федор Лобашков. Его секут, допра-шивают: «Зачем кричал?»—«Пьян был, воевода милости-вый!»—Воевода благодушно повторяет экзекуцию и даже (случай редкий) не сдает крикуна под красную шапку, ограничивается отсылкою его в магистрат—пусть распоря-дится с Лобашковым, как хочет. Магистрат со своей сто-роны прощает крикуна, решивши так: «взять с него подписку, чтобы впредь не пьянствовал и никаких непо-требств отнюдь не чинил, под опасением нанстрожайшего штрафа».

Кричит колодник, ярославец Лев Истомин, ради скуки и тоски острожной: бит плетьюми, вместо кнута, ибо воевода и над ним сжался.

Кричит на Чортовом мосту<sup>1</sup> ямщик Иван Степанов, «пьяный вело»: бит плетьюми.

Кричит посадский Иван Подошевников: бит плетьюми и сдан магистратом в солдаты «за доброе ярославское ку-печество».

Кричит посадский Иван Коптев: бит плетьюми, но в солдаты не попал.

<sup>1</sup> Название характеристичное! Где именно находился ярослав-ский Чортов мост, не знаем. Нам не случалось слышать о нем ни-каких преданий.—Л. Т.

Кричит посадский Григорий Кузнецов: плети и ссылака. Магистрат не пожелал принять его в ярославский посад, объявивши воеводе: «А ежели оный Кузнецов будет подлежателен к свободе, то его магистрат, попрежнему, в посад принять не желает, ибо он, по беспокойному его житию, в ярославском посаде быть не способен, и для того с ним, Кузнецовым, благоволено бы учинить по законам». Вероятно, этот крикун не годился в рекруты за доброе купечество, которое, как сейчас мы видели, принимало посадских, битых плетью за «слово и дело», с тем, чтобы сдать их потом в солдаты. По тогдашним взглядам на человеческое достоинство, плеть не унижала, а только исправляла людей.

Вообще, ярославцы смотрели на плеть как-то нежно, благодушно, считая ее орудием очень легким, каким она и была действительно—по сравнению с кнутом: кнута наши предки страшно боялись. Магистратские присутствующие секли плетью худородных, т. е. посадских людей (разумеется, не собственноручно), даже не вменяя себе в обязанность мотивировать сколько-нибудь точно это наказание. Вот, например, лаконическое определение магистрата, внесенное в субботний журнал 10 июня 1760 года: «При оном присутствии посадскому человеку Федору Гарусникову, за непорядочные поступки, учинено наказание плетью». В чем состояли «непорядочные поступки» злополучного Гарусникова: нагрубил ли он купеческим тузам, пьянствовал ли (по выражению тогдашнего времени) «с великим неистовством и весьма озорнически», или бедняк пострадал так себе, ради субботы, подобно школьникам, которые ложились под розги каждый субботний день не за вину, а по обычаю, установленному педагогами доброго старого времени?—неизвестно.

Женщины так же, как и мужчины, не были избавлены от кнута. Например, мы видим из магистратских дел, что дочь ярославца, посадского человека, Домна Кобелева, после трех пыток, повинилась, первое, в бегстве с фабрики купца Алексея Затрапезнова и, второе, в краже, за что и была наказана кнутом, а потом отдана своему мужу «с поруками, чтобы впредь не воровать». (Журн. 1756 г., № 327). Вообще «поруки» составляли, так сказать, последний якорь надежды для подсудимых, если у них отыскивались благодетели; надежные поручители спасали своих клиентов от каторги, ибо битье кнутом не влекло за собой,

как это было установлено впоследствии, неперменной ссылки в каторжные работы. Так, в 1759 году ярославская провинциальная канцелярия, наказав кнутом, за воровство, посадского Андрея Кононькова, отослала его в магистрат; последний же отдал вора на поруки с обязательством, чтобы он «впредь не воровал и никаких непотребств не чинил». Впрочем, магистрат (нужно сказать к его чести) отдавал «шельмованных людей» на поруки с большой разборчивостью, только в тех случаях, когда надеялся, что эти люди способны исправиться, или когда усматривал, что совершенное ими преступление незначительно и, в интересах человеколюбия и правосудия, не должно быть наказано ссылкой на каторжные работы. Слишком щедрая раздача порук имела бы печальные последствия: такие индульгенции не всегда исправляли ярославских грешников. Один из них, битый кнутом, т. е. «шельмованный человек», посадский Иван Плохов учинил в ноябре 1756 года следующее: встретил он на улице посадского Ивана Перевошикова, сорвал с него шапку и бросился бежать в харчевню: владелец шапки стал догонять его, «но сей шельмованный человек, оборотясь, ударил реченного Перевошикова палкой в правый глаз и вышиб оный, а потом, сшибши с ног, бил и увечил немилостиво, от которых бесчеловечных побой Иван Перевошиков, лежавши при смерти, умре». (Журн. 1756 г., № 654). Такие кровавые подвиги шельмованных людей, совершаемые при том нагло, среди белого дня, конечно, оправдывают осторожность ярославского магистрата в утверждении порук.

Плети и другие орудия, употреблявшиеся «для расспрашивания под пристрашением», магистрат обязан был иметь всегда наготове; от него требовали их разные, командированные в Ярославль, по служебным делам, чиновники, офицеры, следственные комиссии и проч. Так, например, комиссия по искоренению кормчества, особенно часто прибегавшая к пыткам, вытребовала из магистрата «две плети да три кольца с ремнями». (Журн. 1755 г., № 77). Другие требования ограничивались только доставкой плетей. Назначение колец с ремнями понятно: эти милые вещицы держали на себе наших предков в те, злополучные для них, часы, когда они «висели на дыбах», терпя удары заплечного мастера. Сам заплечный мастер (палач) составлял также натуральную повинность города Ярославля. В 1754 году явилась в палаче «большая нужда». Посадский Федор

Аристов заявил готовность принять на себя эту проклятую, отвратительную, хотя и выгодную, в денежном отношении, должность. Подати за него возложены были на ярославское купечество. (Журн. 27 марта 1754 г., № 381). Палач получал солдатское жалованье. (Журн. 1755 г., № 421).

Составляя весьма значительное колесо в убийственном механизме юстиции XVIII века, палач уступал, однако, другим колесам того же механизма, повидимому, ничтожным, но в действительности очень важным: мы разумеем приказных. От палача зависело усилить или облегчить физическую боль; от усмотрения приказных зависело большее или меньшее томление подсудимых в остроге. Уголовные дела ярославский магистрат решал медленно, вяло, с неохотой, с каким-то злорадством над печальной долей узников. Еще медленнее приводились в исполнение магистратские решения,—и по какой причине! Приказные утверждали, что в магистрате «не обретаются» некоторых законов, подходивших к данным случаям. Высшее правительство часто посылало грозные ордера о скорейшем решении колодничьих дел, но мелкая приказная братия тормозила их, запутывала и усложняла. Бургомистр и ратманы говорили приказным: «Ох, братцы! кончайте скорей, чтобы не нажить конфузны и жестокого штрафования из Санкт-Петербурга». Приказные же отвечали: «Рады бы стараться, да подобающих указов не успели обрести». В 1760 году канцелярист Василий Сретенский докладывал магистратским господам присутствующим: «Некоторые смертоубийственные дела следствием и розысками (т. е. пытками) окончились, и к решению тех дел обстоятельные выписи сочинены; да нужно подвести законы о наказании убийц, взамен смертной казни, ссылкою в Рогервик, а сих законов в магистрате Ярославском нет». Наконец, тот же канцелярист вспомнил, что ярославская провинциальная канцелярия часто ссылает преступников в Рогервик на каторгу, следовательно имеет «нужные» законы,—и таковые были вытребованы оттуда, и Сретенский подвел статьи, а господа присутствующие руки приложили. (Журн. 1760 г., № 595). Те же «господа», следуя влечению доброго русского сердца, освобождали маловажных преступников на время, «под поруки, для высокаторжественного праздника св. Пасхи». Впрочем, эта льгота была оказываема только тем лицам, которые, повторяем, сидели в колоднической будке за незначительные

провинности. Что касается «душегубцев» и вообще «сильных злодеев», то, понятно, они проводили и пасху за железной решеткой; тогда надзор за душегубцами еще значительно увеличивался, ввиду повального пьянства, которым сопровождалась в тюрьмах Елизаветинского времени вся пасхальная неделя. Мелкая канцелярская братия (кописты и писчики) обязана была магистратским начальством «иметь над оными колодниками крепкое содержание, не допуская ни до каких непристойностей, особливо же пьянства и зерни». (Журн. 1760 г., № 222). Кроме приказных низкого ранга, при магистратской тюрьме находились другие караульщики—солдаты; но как первых, так и вторых бывало недостаточно, вследствие значительного скопления арестантов. Так, в 1756 году ярославский магистрат усмотрел необходимость собрать временную стражу из посадских людей, опасаясь, «дабы в криминальных делах не последовало от колодников утечки и от того магистрату не понестъ-бы ответу». (Журн. 1756 г., № 86).

Окруженные стражей, гремя цепями, колодники ходили по ярославским улицам, выпрашивая милостыню у сердобольных людей. Печальная доля «несчастненьких» (так трогательно-повитчески называет их русский народ) усложнялась много еще одним обстоятельством, о котором мы имели уже случай упомянуть в начале нашей статьи, именно—заключением вместе с умалишенными. Ярославская юстиция смотрела на «безумцев», как на преступников. Собрание действительных злодеев, людей неповинно обвиняемых и, затем, людей умалишенных представляло собою ужасное зрелище,—ничто похожее на дантовский ад! Надзор за этим адом, конечно, был труден для караульчиков, которые постоянно рисковали попасть «под истязание» за вины своей многолюдной и бурной паствы. Приводим, для примера, донесение «дневального» Федора Некрасова: «Сего генваря пятого числа (1756 года), по утру, при выпуске из магистратской будки колодников, для прошения милостыни, оказалось, что содержащийся в той будке ярославец, Федор Деулин, в шутках бросил шапку в колодника, кой почасту бывает в безумии, Ивана Крылатского, коя (шапка) ненарочным случаем попала в образ, который от того упал на объявленного Крылатского, а тот взял и расколол его на две части». Дневальный умолял магистрат, «дабы ему, Некрасову, не последовало какого-либо ответу и истязания». (Журн.

1756 г., № 12). Последняя фраза дает нам основание думать, что магистрат наказывал приставленную к колодникам стражу в случаях, подобных описанному,—а они, без сомнения, бывали часто: сумасшедшие арестанты могли, в гневные минуты, разбивать не только иконы, но и людей, своих товарищей по заключению.

Жаловаться на адскую жизнь арестанты, конечно, имели возможность и право; для этого существовали высшие инстанции, столичное начальство; но челобитья, стоившие довольно дорого, редко имели успех и мало приносили пользы, уже по одному тому, что перевод в тюрьму соседнего города не улучшал материального положения арестанта: все острожные будки были одинаково плохи. Гораздо выгоднее было для подсудимых, прежде чем они попадали в эти будки, выхлопотать у начальства перевод в магистрат соседнего провинциального города; судили мягче, беспристрастнее. Так, ростовцы судились в Ярославле (журн. 1760 г., № 235), и наоборот, ярославцы искали суда в Ростове. Перевод колоднических дел из одного магистрата в другой совершался не иначе, как по указу главного магистрата.

Страдая от клязников, терпя невзгоду от военщины, духовного начальства и своего городского сословного суда, подчиняясь (как вскоре увидим) жестокостям полиции,—ярославец Елизаветинского времени нуждался в какой-нибудь радости, в забвении своего лютого, отчаянного горя, и топил его—в чарке зелена вина.

...Однажды в лавку ярославского купца Петра Крохоняткина пришел знакомый ему крестьянин Николай Осетров, которого, по дружбе, а вместе с тем и «по секрету», гостеприимный и несколько выпивший Крохоняткин угостил водкой тут же, в лавке, и сам знатно угостился. Затем явилась в лавку жена Осетрова, Дарья Васильевна: и ее не обнесли чаркой, так что «она жена, будучи чрезвычайно пьяна, не могла уже из той лавки выйти». Так и свалилась на месте, уснула мертвым сном. Муж бабы и говорит Крохоняткину:

— Не тронь ее, пусть проспится на холодку...»

— Не зазябла бы? — соболезновал Крохоняткин. — Теперь зима, люто — холодно».

— «Ничего!—уверял Осетров. — Дело привычное, баба здоровая...»

Крохоняткин согласился, запер пьяную бабу в лавке и

ушел домой, пригласивши к себе Осетрова поужинать, чем бог послал. Кончив трапезу, они хотели было освободить Дарью, но оказалось, что хмель не вышел еще у ней из головы, а потому Дарью опять оставили «на холодку», сами же занялись дружескою беседой. В 3 часа за полночь приятелям вторично пришлось на ум осведомиться, что творит Дарья, «не учинилось ли ей какого-либо дурна?» К несчастью, Крохоняткин потерял дорогой ключ от лавки, где сидела и дрожала озябнувшая до полусмерти баба. Слезно вопила она: «Ох, выпустите меня, отбейте замок, коли потеряли ключ! Не то помру!» Так было и хотел учинить Крохоняткин, да вдруг, на грех, явились лавочные сторожа и не допустили сбить замок под тем ревом, что творить такой казус ночью весьма не пригоже, хотя бы и в своей лавке; на это есть белый день, следует дожидаться утра. Вот, когда настало утро, собрались «рядовичи», и, при общем их смехе, несчастная, окоченевшая пьяница вышла из паса. Крохоняткину же было не до смеха: его, вместе с Осетровым, поволокли в магистрат, «дабы учинить по законам ее императорского величества». Магистрат немедленно отправил Осетровых к помещику Бахметьеву на расправу, за пьянство, а Крохоняткина, заключив в колодническую будку, стал судить и присудил так:

«...Ярославцу Петру Крохоняткину, за пьянство (в чем он и сам в допросе своем винился), а паче за именование того пьянства в лавке своей, яко не в подлежащем месте, и за оставление в той лавке вышписанной пьяной женки ночевать (от чего при нынешнем зимнем времени могла она же женка, озябнув, придти в повреждение), на страх ему, Крохоняткину, и другим, дабы, на то смотря, впредь таковых пьянств и испорядков чинить не дерзали, учинить ему, Крохоняткину, нещадное наказание плетьюми».

Вытерпев экзекуцию, Крохоняткин поступил на поруки, и с него взяты были еще казенные пошлины за производство злополучного дела о женке Дарье Осетровой, упившейся в лавке. (Журн. 1754 г., №№ 61 и 77). Что же учинил дворянин Бахметьев с этой «женкой» и ее мужем, история умалчивает.

Как видно из нашего рассказа, нещадное наказание плетьюми, испытанное Крохоняткиным, было мотивировано, во-первых, тем, что сей преступник дерзнул запереть пьяную бабу, рискуя заморозить ее, во-вторых, и это главное, тем, что он пьянствовал в лавке, т. е. по строгому взгляду



закона, учинился корчмарем; в Елизаветинское же время корчемство преследовалось с удивительною энергией, неуклонно и постоянно. Впрочем, из Крохоняткина сделался корчмаря с большой натяжкой: он не продавал вино, а только угощал им своих приятелей. Настоящих, действительных корчмарей били не плетьюми: они попадали в руки палача, и в таких случаях он «кнутобойничал по маленьку», как выражался о себе печальной памяти Шешковский... Наказание ужасное! Но тайная, незаконная продажа вина была слишком соблазнительна по тем выгодам, которые она доставляла корчмарям. Даже кнут не пугал их. Десятки, сотни людей выносили на своих плечах страшные удары запячного мастера, и все-таки не покидали опасной торговли вином, помимо царевых кабаков.

Такою торговлей в своих домах занимались преимущественно люди небогатые, посадские голыши, но и купцы делали то же самое, за что и они терпели кнут. Так, например, им высечен был «за троекратное корчичество» состоятельный ярославский купец Борис Бахтеаров. Наказание учинила государственная камер-коллегия, после чего она выдала Бахтеарову паспорт на свободный проезд из Петербурга в Ярославль. (Журн. 1760 г., № 526). Многие семейства страдали, вследствие доносов сыщиков, по делам о тайной продаже вина. Самым грозным сыщиком в Ярославле был купец Григорий Сушин, который, по свидетельству наших документов, каждому встречному и поперечному «желал проломить голову». (Журн. 1757 г., № 26). От желания до исполнения у зверей, подобных Сушину, только один шаг. Сушин был именно зверь, кровожадный, бешеный зверь. Он вторгался в дома частных людей, заподозренных им в корчемстве, наносил побои, ломал головы, заковывал в цепи, морил даже детей и женщин в душной тюрьме, носившей название «конской избы».

Расскажем о некоторых злодеяниях названного сыщика, который, без сомнения, вел хлеб-соль с наиболее влиятельными персонами, иначе его укротили бы скоро и строго.

Однажды Сушин посадил в «конскую избы» двадцать человек. Были тут мужчины, женщины и дети, т. е. поголовно целые семейства. Спаслись только те, которые успели спрятаться. В числе их была одиннадцатилетняя девочка, дочь купца Шапошникова, явившаяся в магистрат с жалобой на Сушина. Трогательно-простодушный рассказ

ребенка записан магистратом так: «В оное присутствие впущена была ярославского купца Ивана Прокофьева сына Шапошникова малолетняя дочь его Прасковья Ивановна и пред присутствием объявила: сего-де октября 24 дня (1760 г.) купец Григорий Сушин, со многим числом незнаемых людей, усиленным образом ворвавшись во двор и войдя в хоромы, показанного отца ее без всякого резону с великим шумством вытащил и, отведши, посадил под крепкий караул, сделанный им, Сушиным, в будке, где он (Шапошников) и поныне в той будке содержится. От которого-де великого и внезапного страху она, Прасковья, будучи одна в хоромых, едва могла придти в прежнее чувство и память. И что в такой нечаянной тревоге в доме отца ее не учинилось ли какого похищения, того она в сочинившемся с нею беспамятстве, без отца своего, рассмотреть не может... Рассуждено: об оном, за малолетством ее, записать сим журналом», и проч. Магистрат доносил петербургскому начальству о бесчинствах Сушина; но последний, опираясь на могучую руку своих патронов, в числе которых был миллионер Затрапезнов, и слышать не хотел о пощаде, об освобождении захваченных им людей, напротив, усиливал свои злодеяния. В магистрат посыпались челобитья, одно другого жалобнее, одно другого возмутительнее по заключавшимся в них подробностям о бесчеловечии Сушина. Например, из челобитья двух «посадских женок» Анны Сальниковой и Дарьи Хорхориной узнаем, какую участь терпели их сыновья: Федор—10-ти лет и Николай—12-ти лет. Умоляя магистрат отпустить на свободу детей, бедные матери писали следующее: «От завсегдашних в той будке угаров, и по великой тесноте, и от нестерпимой духоты, лежат оные дети наши присмерти, головою болезнью весьма больны. А нам, матерям, в тое будку к ним, кроме того, что под окошко, не токмо до болезни наших детей, но и ныне во время смертельной болезни отнюдь не допускают. От сего нам, яко матерям, к детям содержится крайняя жалость в том, что те наши дети, находясь в такой тяжкой болезни, да еще будучи в той будке без всякого призрения и за недопущением нас к тому призрению, могут помереть безвременно». Магистратская канцелярия имела черствое сердце; она, как выше замечено, тормозила арестантские дела, затягивала их, усложняла. Но к чести приказных, на этот раз и у них шевельнулось в душе чувство любви к неповинным детям, которые умирали

в «конской избе». Господа приказные живо настрочили к господину лекарю Гове промеморию, чтобы он освидетельствовал детей арестантов. И Гове в свою очередь растрогался. Ему, находившемуся почти постоянно при особе герцога Бирона, который любил комфорт, — ему было страшно заглянуть в логовище, где сидели десятилетние «кормчари», умиравшие от тифа. Составленное лекарем Гове описание «конской избы» поразительно. Немец откровенно сообщил магистрату, что арестованные купцом Сушиным люди как взрослые, так и дети, все поголовно рискуют прекратить свой живот горячкою, если в скором времени не будет дана им свобода, если их не выпустят на чистый воздух. (Журн. 1760 г., №№ 653, 654, 661, 689 и 691). Не ведаем, какая судьба постигла заключенников. Знаем только, что немец-лекарь посердобольничал, что магистрат вновь жаловался своему начальству на Сушина, припомнив кстати и другие «неистовства сего человека». Сушин руководствовался правилом круговой поруки: сын должен отвечать за отца, жена за мужа и т. д. Посадская жена Анна Ивановна Гашукова была подвергнута истязаниям за то, что ее муж — корчмарь успел куда-то скрыться. Гашукову потащили в «конскую избу...»

— «Там мы прикуем тебя цепью к стене!» — грозили Сушин и его служители.

— «Да за что же? — за что же? — вопила оная жена. — Чем я провинилась?»

— «Виноват муж твой, а его нет в Ярославле, за сие казись!» — отвечали обидчики.

Впрочем, Гашукову «отбил народ». (Журн. 1756 г., № 301). Цепи не были надеты на нее. Другие же, менее счастливые, испытали это удовольствие. Например, посадский Иван Степанов Бабушкин изъяснил в своем челобитье, что Григорий Сушин «приковал его к стене и держал так тирански на цепи целые сутки». (Журн. 1757 г., стр. 362, на обор.). Купец Николай Андреев Дьяконов взыскивал с брата Сушина, Ефима, по векселю 50 рублей. Ефим обратился за помощью к Григорию, а тот, недолго думая, с помощью своей челяди, затащил кредитора в «конскую избу» и стал требовать, чтобы Дьяконов простил долг. Затем, вследствие отказа, Сушин посадил Дьяконова «в цепь с великим стулом», у которой (цепи) была дужка весьма непространная, так что едва не задавил; а притом, усильным образом устрашивая, требовал с него векселя в

30 рублей, а без того не хотел отпустить». Несчастный Дьяконов во время этих пыток имел при себе значительную сумму, тоже в векселях, и, боясь, что их у него отнимут, «а такжеде смерти опасаясь», подписал вексель; «после чего от такового необыкновенного мучительства и был освобожден». (Челобитье Дьяконова в журн. 2 апреля 1756 г., № 246) <sup>1</sup>.

Кажется, приведенных фактов вполне достаточно для оправдания нашего мнения, что ярославцы управлялись между собою только силою кулака. Кулачное право здесь процветало. Даже ярославское духовенство испытывало свои богатырские силы в драках. Так, в 1760 году поп Козьмодемьянской церкви Никита Иванов вкупе с дьяконом Иваном Прокофьевым «нанесли побой» одному из солдат, состоявших при Бироне, именно лейб-гвардейцу Семеновского полка Тимофею Тумилову, да его дворовому человеку Степану Степанову. (Журн. 1760 г., № 164). Самые удовольствия и забавы ярославцев отличались диким разгулом. Кулачный бой составлял любимую потеху. Громкою славой «бойцов и драчунов» пользовались особенно торговцы Маурины, Василий Кондратьев и сын его Иван. (Журн. 1755 г., № 939). Может быть, эти торговцы не уступили бы и дермонтовскому Калашникову. Но поэтический Калашников, «молодой купец, удалой боец Степан Парамонович», убил своего врага, злодея опричника, за оскорбленную честь жены,—а наши ярославские Калашниковы убивали друг друга так себе, «шутя, ради потехи», чтобы испробовать силу богатырскую. Такими богатырями являются, по нашим документам, посадские Василий Лавров да Федор Деулин, убившие «кулаками, безо всякого оружия» своего соседа Якима Сальникова. Сначала убийцы чинили заpiresательство, но потом, не стерпев первых пыток, объявили магистрату, что грех случился от шутки: «то л к а л и д е м ы, шутя, оног Сальникова к у л а к а м и, а умыслу к убийству его отнюдь не имели, и злобы никакой у нас на него ни в чем не бывало». Однако магистрат не удовольствовался одною пыткой: он повторил ее.

«Понеже (читаем в магистратском журнале) вы, Лавров и Деулин, в т о л к а н и и умершего ярославца Якима

<sup>1</sup> Подобным образом купец Иван Афанасьев Мушников «вымучил» вексель на 20 рублей у купца Ивана Андреева Пищальникова. (Журн. 1760 г., № 201).

Сальникова запирались, а потом уже с допросу под плетьюми в том извинялись, того ради в подтверждение, надлежит расспросить вас еще с пристрастием двоекратно, под жестоким плетьюми битием». (Журн. 1760 г., № 202).

Таким образом, кулачные бойцы дорого заплатились за свою шутку: секли их три раза. Но счастливый, т. е. одобрительный, повальный, отзыв спас от кнута и каторги Деулина и Лаврова, жителей Тверицкой слободы, которая в настоящее время составляет скромнейший уголок Ярославля, тогда как население ее, при Елизавете, отличалось разгулом и буйством. Особенно яростно билась тверичане в страдное время, на сенокосах. Они сражались тогда уже не на кулачках, а побивали один другого звонкими, острыми косами. (Журн. 1757 г., № 418).

Дикари, кулачные бойцы, конечно, и в семейном быту не могли удержаться от кровавых «поучений», направленных против домочадцев вообще, преимущественно же против жен, которым после частого повторения сих «поучений» оставалось одно спасение — ут е ч к а. Избитые, истерзанные жены у т е ч а л и, куда глаза глядят. Если бы мы захотели утомить внимание читателя поименным списком беглянок,—список занял бы не один десяток строк. Осиротевшие супруги подавали в магистрат явки: сбежала-де женка, а куда — неведомо. Тем дело и кончалось. Ярославцу, человеку торговому, гораздо тяжелее было потерять капитал, чем спутницу жизни, на которую он смотрел, как на дешевый товар или как на свою рабу. Сам ра б.. мог ли он думать и поступать иначе, он умел только холопствовать перед сильными, угнетать слабых, предаваться разгулу и наживать деньги более или менее темным путем. В среде ярославского купечества Елизаветинского времени мы видим даже фальшивых монетчиков. Купец Иван Гаврилов Оловянишников (по прозванию Буйло) работал оловянные полтинники и сбывал их кабацким целовальникам. Его присудили к вечной ссылке в Оренбург. (Журн. 1760 г., № 352). Но сохранилось предание, что Оловянишников-Буйло ухитрился каким-то образом объявить себя умершим и благополучно кончил живот свой в Ярославле, достигнув маститой старости.

Сравнительно с двумя предшествовавшими столетиями, т. е. XVI и XVII, город Ярославль много потерял, при Елизавете, в своем торговом значении. Основание Петербурга невыгодно повлияло на Ярославль. При Иване Гроз-

ном здесь было английское подворье,—позднее, при царе Алексее Михайловиче, ярославские торговые люди ездили в Амстердам с пушными товарами, а в Ярославль приезжали индийские купцы, продававшие разные ткани, кушаки, ковры, платки, фаты, шелк, набранные ими отчасти в Индии, отчасти в Персии. Гамбургская фирма Марселесов также имела в Ярославле «двор», а ярославцы основали свои фирмы в Архангельске, где имели своих выборных целовальников. Занимая выгодное центральное положение между столицей и Архангельском, единственным тогда приморским портом, Ярославль приваскал к себе товары из Архангельска и сплавляя их в Нижний, откуда другие товары стекались в Ярославль, который особенно занимался судовым промыслом. Были у здешних жителей и другие промыслы; так, например, ярославцы делали разные стальные вещи, между прочим, висячие замки, сходные по фигуре с персидскими. Льняное семя и масло скупалось в Ярославле и сбывалось за границу через Архангельск. Торговали ярославцы также рыбой, за которою ездили в Астрахань,—одним словом, значение города Ярославля в купеческом и промышленном мире было не заурядное: ярославец ездил в иноземные страны и неутомимо сновал по всему лицу земли русской — от холодного Архангельска до жаркой Астрахани.

Упадок здешних торговых дел начался с Петра I и продолжался при его дочери. Руководствуясь единственно архивным материалом, мы сообщим здесь некоторые, довольно любопытные, подробности об ярославской торговле, на которую самым пагубным образом влияли, во-первых, внутренние таможи, во-вторых, многие монополисты из числа приближенных к императрице Елизавете особ.

Без платежа внутренних пошлин ярославец — торговый человек нигде не смел торговать. Ясно, что ему, непоседу, подвижной натуре, была особенно неприятна каждая таможня, где с него брали деньги и по законной таксе, и сверх ее, в виде взятки. Всюду существовали таможни. Прибыл ярославец в ближние города,—«рукой подать»,— в Романов, в Ростов: плати деньги, испытывая множество препятствий для своих коммерческих оборотов... Наконец, императрица Елизавета благодетельствовала свою империю, уничтожив внутренние таможни. Ярославское торговое сословие встретило эту реформу как самое светлое явление Елизаветинского царствования. Решено было под-

нести милостивой государыне «рабский презент или подарок».

Мысль о таком «презенте» принадлежала, разумеется, не ярославцам; возбудил и осуществил эту мысль государственный главный магистрат, который дал знать ярославскому купечеству, что ее величество по уничтожении внутренних таможен изволила лишить себя более миллиона рублей ежегодного дохода...

Денежное «благодарение» в данном случае, конечно, было не вполне уместно, а потому русское купечество, через своих депутатов, нашло более удобным «купить на оные деньги вещь драгоценную, такую, какая бы ее императорскому величеству была в угодность». Но мог представиться случай, что «таковой потребной вещи в государстве в покупке изобрести невозможно». Тогда что делать? Решили: «тогда уже всю ту сумму, променя в червонные, поднести в дар ее величеству». С каждой купеческой ревизской души причитался на уплату этого «презента» один рубль. Первопрестольная Москва обязала провинциальный город Ярославль уплатить 7194 руб.; но Ярославль собрал несколько меньше, всего 5000 руб. Москва заявила свое неудовольствие и требовала, согласно с ревизскими ведомостями, еще 2194 руб. Ярославль утверждал, что «сие будет излишек», что с него, оскудевшего города, причитается сверх пяти тысяч только восемьсот двенадцать рублей. А Москва писала: «Сие весьма недельно! Ибо в присланной из камер-коллегии в главный магистрат ведомости показано в Ярославле 7194 души». Строго обязав сборщика, купца Кирилу Овсянникова, доставить в подарок императрице Елизавете Петровне еще 812 рублей, Ярославль почтительно объяснил Москве, что в «ярославском купечестве по нынешней ревизии и с прибылыми в пятидесятикопеечный оклад, заподлинно только 5812, а не 7194 души». Что это правда, магистрат ссылался на местную провинциальную канцелярию, где хранились поименные списки купцов как первостатейных, так и второстатейных. Вместо душевного умиления, вызванного на первых порах отменой внутренних таможен, ярославские коммерсанты обнаружили замечательную стойкость в охранении своих имущественных интересов. Магистрат рапортовал московскому начальству, что как он, так и купечество вовсе не желают «понести напрасную нищету и изнурения». Рапорт оканчивался просьбою: «Милостиво рассмотреть и

от напрасного взыскания излишних 1382 рублей дать увольнительный ее императорского величества указ». (Журн. 1754 г., №№ 74 и 538). Чем кончилась эта борьба между Москвой и Ярославлем, нам неизвестно; но какой бы конец она ни имела, существование ее все-таки метко характеризует ярославцев, умевших постоять за себя в тех случаях, когда их били по самому чувствительному для них месту — по карману.

Недружелюбно смотрел ярославский торговый человек и на монополистов, которых в Елизаветинское время было много, и все они принадлежали к аристократическому миру, очень далекому от понимания истинных потребностей и нужд народа. Впрочем, о народе ярославец-торгаш, в свою очередь, не слишком сокрушался; сам он, за немногими исключениями, разделял убеждение старой веры, запрещающей, например, употребление табаку, как поганого и вредного для души зелья, но был не прочь выгодно продать это зелье мужику. На беду, «табачные дела» составляли монополию графа Шувалова, который воспользовался ею с 1759 г. на 18 лет. (Журн. 1760 г., № 19). Другой вельможный монополист, граф Роман Ларионович Воронцов, в 1760 г. составил товарищество с князем Борисом Александровичем Куракиным, чтобы вести торговлю «с кочующими по левую (?) сторону Каспийского моря народами: бухарцами, хивинцами и трухменцами (sic) <sup>1</sup>. Монополия была дана на 30 лет. В этом деле граф и князь встретили нужду иметь сподручного опытного человека, и нашли такового между ярославским купечеством. Некто Иван Афанасьевич Колчин явился вдруг перед своими земляками-ярославцами, благодаря означенным «милостивцам», не заурядным купцом, а чиновною персоною. Колчин получил право носить шпагу; дом его был избавлен от солдатского постоя; служба по городским выборам, весьма тягостная для купцов, не касалась этого купца «при именитой шпаге» (журн. 1760 г., № 269), которую, впрочем, он не употреблял против среднеазиатских варваров. Колчин жил почти безвыездно в Ярославле, занимаясь отдачею денег в рост; от него поступало в магистрат множество векселей ко взысканию. Другая особа тоже была не безгрешна, как ростовщик.

<sup>1</sup> Sic—так! Приводится для того, чтобы обратить внимание на чьи-либо слова, подчеркнуть, что они переданы правильно, несмотря на всю их нелепость, и т. п. (прим. ред.).



Это был состоявшийся при герцоге Бироне пастор Иван Ермолаев Фрицын, которого ярославцы сумели обрусить так, что трудно догадаться о настоящей его фамилии. (Журн. 1759 г., № 253). Но если Колчины и подобные им ярославские купцы-эксплуататоры сидели дома, то, с другой стороны, между ярославцами были и такие предприимчивые торговцы, которые промышляли далеко от родины, в Сибири (журн. 1760 г., № 155), имели торговые связи с Англией (там же, № 30) и т. д. Следует заметить, что сейчас указанные нами факты встречаются в архивных делах очень редко, как исключение. Иностранные торговцы (нацию которых мы не можем определить) жили в Ярославле и при императрице Елизавете, что видно из одного магистратского определения, относящегося к 1756 году. Этим определением магистрат запрещал иностранным торговцам продавать свои товары «в розницу», только одно ярославское купечество имело право покупать их «оптом». Строгое наблюдение за сим возложено было на трех лиц, назначенных магистратом из среды местного купечества. (Журн. 1756 г., № 395). Оберегая интересы того же купечества, магистрат с неменьшею строгостью наблюдал за тем, чтобы и иногородние торговцы не продавали «большими статьями» своих товаров никому, кроме ярославских купцов. Астраханец привез сюда рыбу и продал угличскому купцу. Что же последовало? Рыба была арестована. (Журн. 1754 г., № 240).

Ограничения стесняли торговлю и промышленность, можно сказать, на каждом шагу. Например, ярославский купец Василий Крашенинников вздумал устроить шляпную фабрику. Государственная мануфактур-коллегия разрешила устройство этой фабрики с тем, чтобы на ней выделывались шляпы шерстяные и поярковые, но отнюдь не пуховые, которые были строжайше запрещены. (Журн. 1756 г., № 17). Немало рабочих рук занято было в Ярославле выделкою кож. Способ выделки существовал двойной: посредством ворванного сала и посредством дегтя. Но правительство запретило последний способ, и провинциальная канцелярия зорко следила, чтобы не было сего «фальшу». (Журн. 1755 г., № 900). Крестьянин не дерзал промышлять в городе каким-либо ремеслом из так называемых кустарных, а если дерзал, то дорого платился за свою храбрость. Некто Григорий Федоров, «мужик», устроил в Ярославле овчинное заведение, где выделывал меховые одеяла. Как

только сведал о том ярославский магистрат, сейчас же «взял под караул» все изделия, принадлежавшие мужику, а караульщиком определил посадского человека Ивана Тимофеева Шапошникова; но караульщик, вероятно, вошел в сделку с мужиком и отрапортовал магистрату, что он, караульщик, винится: «уснул-де я крепко, а во время того сна неизвестные люди все арестованное своровали». За сию оплошность Шапошников был высечен плетьюми. (Журн. 1756 г., № 393). Привезли крестьяне в Ярославль большой груз олова; усмотрели то магистратские чины, погнались за крестьянами, чтобы арестовать их; но мужики—давай бог ноги, и товар бросили, «знатно (заметил магистрат с удонольствием), признали за собою вину, что они везут то олово не на подлежащую им, яко крестьянам, продажу». (Журн. 1757 г., №№ 60 и 62). Если ярославец, посадский человек, добывал себе кусок хлеба изящным искусством, живописью (вернее сказать, малярством), то и в этом ремесле для него были препоны немалые, обрекавшие кисть его на бездействие. Так мы видим, что в 1757 году, исполняя распоряжение правительства, ярославский магистрат строго запретил «неискусным художникам» писать портреты императрицы Елизаветы и других высочайших особ, т. е. Петра Феодоровича, его супруги Екатерины Алексеевны и сына их Павла Петровича. Велено было: «желающим писать или гравированные и тушеванные (портреты) печатать и из алебаstra отливать, объявлять те портреты, для свидетельства, мастерской и оружейной палаты надзирателю (Одольскому, которым в этом свидетельстве удонольствие имеет чиниться всякого коснения». (Журн. 1753 г., № 413). Ювелирное искусство в Ярославле не процветало, о чем можно заключить из следующего документа. Еще при императрице Анне, в 1735 году, назначен был в Ярославль пробирный мастер Михайло Антонович Серебряников с жалованьем, которое он должен был получать из городских доходов; магистрат, однако, не заплатил ни копейки до 1760 года; тогда долготерпеливый Серебряников предъявил иск на большую, по тому времени, сумму—1.144 рубля. Магистрат отозвался, что содержать сего мастера не за что: в Ярославле-де имеются серебряные и медные вещи: серьги да перстни и то по малому числу, а золотого и серебряного крупного мастерства посуды и крупных вещей не имеется». (Журн. 1760 г., № 257).

За правильностью торговли наблюдали «рядовые старосты», они обязывались присягой служить верно и честно. Каждый вид торговли подлежал контролю особого старосты. Для краткости он назывался просто «мучным», если сидел в мучном ряду, «масленным», если заведывал лавками, где продавалось масло, «крупяным», «медяным» и т. д. (Журн. 1760 г., № 62). Составлявшая монополию казны продажа соли была вверена в Ярославле 18-ти присяжным соляным целовальникам (*ibid*, № 26)<sup>1</sup>, которые должны были вносить, непосредственно в магистрат, деньги, вырученные от «соляной продажи» — одной из самых крупных доходных статей государственного хозяйства при императрице Елизавете. Иногда в ярославском магистрате накапливались значительные соляные сборы; но правительство редко пользовалось ими непосредственно: оно обращало магистрат в своего комиссионера, посредника между ним (правительством) и его, многочисленными кредиторами. При неимении в описываемое время банковых учреждений их заменяли магистраты. Делалось это следующим образом: правительство занимало, например, у ярославца, имевшего торговые дела в Петербурге, несколько тысяч рублей и выдавало своему кредитору вексель на получение должной ему суммы из местного магистрата в счет соляных или других сборов. (Журн. 1754 г., № 183 и мн. др.). Случалось, что сборов было недостаточно и магистрат затруднялся уплатить сполна государственному кредитору; но последний предъявлял строгий указ, который обязывал магистратских членов дополнить недостававшую сумму из своих купеческих средств. Сомнительно, что таковые банковые операции, вынужденные плохим состоянием русских финансов и роскошью Елизаветинского двора, были по душе членам ярославского магистрата; но спорить и прекословить они не дерзали, имея перед собой указы, подписанные магическим пером графа Шувалова и других вельмож, от которых зависело или разразиться над непокорным купцом всеокрушающим гневом, или наградить покорного, «облагородить» его, дать ему (как сообщено выше) «именитую шпагу», ввести во дворец... хотя бы в звании камер-лакея. С ярославскими купцами случались удивительные метаморфозы: они были обращаемы в придворных лакеев. Такая судьба постигла купца Федора Горшкова, определенного, по распо-

<sup>1</sup> *ibid*—там же (прим. ред.).

ряжению придворной конторы, в лакейскую должность к высочайшей особе императрицы Елизаветы. (Журн. 1760 г., № 737).

Нам остается сказать еще несколько слов о домашней обстановке ярославского купечества. Беднейшие из этого сословия ничем не отличались от посадских людей; богачи, «первостатейные купцы», щеголяли одеждою своих жен и дочерей, иконами в великолепных окладах, домашней утварью и проч. Сообщаем любопытное описание приданого купеческой невесты Ксении Петровны Ширяевой, выданной за президента ярославского магистрата Егора Викулина. Между супругами было заключено условие (приданая роспись), в силу которого, после смерти мужа, вдова его имела право получить все «данное за нею в приданство», как-то: святые образа, алмазы, жемчуг, белье и деньги. В росписи упомянуты: «Образ Толгские богоматери в окладе серебряном с жемчугом; образ Преображения господня в окладе-ж; образ Казанские богородицы в окладе-ж с жемчугом; образ Рождества богородицы в окладе-ж; образ Неопалимые купины в окладе-ж. Одежда и жемчужная утварь с алмазы, а именно: эпанечка из материи на чернубуром черевьем лисьем меху, цена сто семьдесят рублей; шуба и з а р б а т н а я на лисьем черевьем меху, ценою в 50 рублей; эпанечка штофная цветная на лисьем черевьем меху и с опушкою, цена 55 рублей; ш л а ф а р п у к е т о в ы й штофный белый, цена 80 рублей; шлафар алый объяринной с сеткою серебряною, цена 32 рубля; шлафар лазоревый объяринной с позументом золотым, цена 40 рублей; шлафар г а р н и т у р о в ы й желтый, цена 45 рублей; шлафар к р а с н о п а л ь н ы й, цена 25 рублей; юшка пукетовая белая, цена 40 рублей; юшка алая объяринная, с сеткою серебряною широкою, цена 60 рублей; шесть душегреек голевых и изарбатных штофных с пукетами, с позументами, цена 50 рублей; белья: шесть скатертей, шесть дюжин салфеток ткацких, цена 70 рублей; 40 рубах, цена 60 рублей; полотенцев и прочей белой рухляди на 30 рублей; постеля со всем убором, цена 300 рублей; перстень золотой с алмазами, цена 40 рублей; кружев белых нитяных, немецкой работы, самых тонких 9 аршин, в том числе 3 аршина по 3 рубля аршин, а 6 аршин по 2 рубля, итого цена за кружева 21 рубль; два кольца золотых, цена 10 рублей; жемчугу и всякого камня по цене на 800 рублей, да сверх сего деньгами приданого 4.000 рублей...» (Журн. 1756 г., № 560). Так

щеголяли богатые ярославские купчихи, нарядившись в «эпанечки», в кружева «немецкой работы» и возбуждая алчность господина воеводы с господином полициеймейстером.

К этим особам мы и обращаемся. Тип воеводы—известный тип. Ярославль не был счастливее других городов, где «кормились» эти, по большей части, плохие администраторы и в то же время бесчестные, продажные судьи. Да и вообще ярославская провинция терпела много горя от воевод. Не уступали им ни в чем также полициеймейстеры, находившиеся только в провинциальных городах, которые, следовательно, были обречены на двойное, усиленное грабительство. В каком-нибудь Пошехонье «бездельничал» один воевода Шушерин<sup>1</sup>, в Ярославле же «бездельничали» двое: воевода, коллежский советник Павлов, и полициеймейстер, поручик Кашинцев. Первый из них, человек хитрый и осторожный, не прибегал к собственноручной расправе с магистратскими членами; по крайней мере наши документы, описывающие воеводу Павлова в непривлекательном виде, умалчивают о том, что за ним водился этот грех, присущий воеводам Елизаветинского времени. Но у коллежского советника Павлова были другие грешки, между прочим, чревоугодие. Полициеймейстер Кашинцев дрался собственноручно и брал взятки всем, решительно всем: деньги, лошади, экипажи — все соблазняло его; не давали охотой, он хватал насильно. Воевода же Павлов любил преимущественно лакомый кусок и отличался от всеядного полициеймейстера гастрономическим желудком. Чревоугодие — страсть, повидимому, безобидная, невинная; но она оказывалась в воеводе весьма пагубною страстью, ибо он кормился на счет ярославского купечества, которое волей-неволей снабжало его высокородие различной живностью, дичью, рыбой, и т. д. Между прочими сказаниями о лакомке-воеводе, магистратский летописец сохранил для нас сказание о том, какая страшная буря возникла из-за белой рыбыцы.

Однажды прибегает воевода в магистрат и гневно объявляет оному, что рыбные торговцы Бобров, Дьячков и Прохоров бунтуют, оскорбляют воеводскую честь, да и сам магистрат виновен в том же деле.

---

<sup>1</sup> Сей воевода до того забездельничался, что правительство вынуждено было назначить особую следственную комиссию «о непорядочных и указах противных поступках» оного воеводы. (Журн. ярославск. магистрата 1756 г., № 2).

— «В каком же деле?»—спросил бургомистр Дьяконов.

— «В том,—отвечал воевода,—что 29-го июля послан был от меня, для покупки к воеводскому столу моему всякой рыбы, а особливо белой, человек мой Прокофий Некрасов. И оному человеку ярославец, рыбный промышленник, Петр Бобров, объявил, что белой рыбицы он не продаст, якобы за запрещением, исшедшим от ярославского магистрата. И не продал».

— «Тут нашей вины нету, господин воевода,—оправдывались бургомистр и ратман.—Мы не запрещали...»

Воевода продолжал:

— «А еще объявил мне канцелярист провинциальной канцелярии Иван Моложенкин, что и он-де, для своей надобности, требовал рыбы у купцов: у вышереченного Петра Боброва, да у Егора Прохорова, да у Егора-ж Дьячкова. И те отказали. И говорили: никому-де, кроме магистратских господ присутствующих, нам не велено продавать рыбу. Спрашиваю вас: вследствие каких высочайших ее императорского величества указов, магистрат учинил сие запрещение?»

— «Оного от нас не бывало,—отвечали бургомистр и ратман.—Мы старательно допросим рыбных торговцев».

Несколько успокоившись, воевода удалился из магистрата; но последний, вскоре после воеводского визита, получил официальную преморию, которая настойчиво требовала, чтобы экстренному делу о белой рыбице, якобы не проданной воеводе и его подчиненному, канцеляристу Моложенкину, дан был скорый законный ход, согласно указам ее императорского величества. Рыбных торговцев вызвали в магистрат и допросили, к счастью, без пытки. Оказалось, что они несколько не виноваты перед воеводою. Сущность дела заключалась в том, что воеводский слуга хотел приобрести только четверть белой рыбицы, «а за крайним недостатком тех белых рыбиц в улове и за дороговизною в цене, пачати рушить (резать) было невозможно, ибо она целая белая рыбица состоит ценою до полутора рубля; а ежели бы отнять от оной четверть и достальную по частям продавать, то на те части купцов (покупателей) бывает весьма мало, и искоре оную продать невозможно». Однако, когда слуга объявил, что рыба требуется не для подлого какого-либо человека, а для самого воеводы, ибо он имеет в ней великую нужду,—то «для услуг и за честь оного воеводы, купец Дьячков четверть отрушил и с немалою

уступкою и за тое четверть взял токмо 25 копеек... И после того, по требованию упомянутого того-ж его высококородия, продавал купец Бобров белую рыбицу без всякого препятствия, а именно: августа 1-го—на двадцать на четыре копейки, 2-го—на двадцать на три копейки, 3-го—на двадцать на пять копеек, 5-го—на двенадцать копеек, итого на 84 копейки, но денег еще не получил». Рыбные торговцы в заключение своего показания объявили: «Не токмо в дом его, господина воеводы, но и другим всякого чина и подлым людям, как белую, так и других родов рыбу, мы продаем в народ свободно, без всякого препятствия», и проч. (Журн. 1754 г., № 840). Из-за чего, спрашивается, кляузничал коллежский советник Павлов? Разгадка не затруднительна: ему хотелось подакомиться даром, а купцы, вероятно, намекнули, что пора, дескать, и честь знать, воевода праведный.

История о белой рыбице кончилась печально для магистратских членов. Прописав в ответной премории все произведенное ими следствие, они просили воеводу избавить их от «напрасного нареkania». Воевода решился проучить магистрат за непочтительный ответ. Мы уже имели случай сказать, что Павлов был осторожен, сам не дрался; но у него была правая рука, некто Иван Козаринов, подпрапорщик адмиралтейского батальона, герой наполовину морской, наполовину сухопутный. Он-то, по обязанностям правой руки, и наказал магистратских членов, «доведя их до необыкновенного страху и конфузии». (Там же, № 841). Не будем описывать возмутительную сцену, происшедшую в магистрате 5 августа 1754 года: она тождественна с теми сценами, которые уже нами изложены выше. Ругательства, крик, «хватание членов за платье», защита со стороны магистратской прислуги — вот в чем состояла эта сцена, устроенная воеводою при помощи буйного подпрапорщика.

В конце своего воеводства Павлов стал невыносимо тяжел для купцов. Если он не бил их сам, то ярославцам было от того не легче. Воевода посылал «многолюдственные команды», которые ловили мирных граждан на улицах, вламывались в дома, заключали под жестокий караул. Такую участь испытали, например, купцы Семен и Михайло Козины; первый из них был схвачен посреди белого дня на улице, а второй, вытщенный из своего дома воеводскою челядью, «был с великим посягательством и принуждением допрашиван». Магистратские сотские тоже терпели

горькие обиды от клеветов воеводы, хотя и не были подчинены ему непосредственно. Магистрат протестовал так: «Господин воевода! Купцы и сотские — люди не подозрительные, да и суду провинциальной канцелярии не подлежащие». (Журн. 1755 г., №№ 106 и 213). Наконец, правительство обратило свое внимание на Павлова, лишило его воеводства и предало суду. (Журн. 1756 г., № 85). Место его занял Большой-Шубин, человек хороший, судя по тому, что в магистратских делах (по крайней мере в тех, которые служат материалом для нашего очерка) нет указаний на особенную жестокость или взяточничество этого воеводы. Ярославцы могли быть довольны уже и тем, что их грабят и тиранят меньше прежнего.

Тираном, бичом для ярославцев был полицеймейстер, поручик Кашинцев. Руководясь правилом Скотинина, что «всякая вина виновата», Кашинцев притеснял ярославцев на каждом шагу, где только являлась возможность поживиться, сорвать взятку. Придираясь к мелочам, к ничтожным нарушениям полицейского устава, он сажал купцов под арест за то, например, что «якобы нечистота против дворов их оклауется». Действительно, ярославцы Елизаветинского времени не отличались чистоплотностью; да Кашинцев вовсе и не заботился о ней: она служила ему лишь предлогом для взятки. В доме купца Григория Оловянишникова квартировал пастор, состоявший при Бироне; перед домом оказалась нечистота, пастор ли шепнул полицеймейстеру, что, дескать, у нас в Курляндии сего безобразия не случается, увидал ли сам Кашинцев это безобразие, — история о том умалчивает, но она утверждает, что полицеймейстер грозил Оловянишникову: «Я тебя к стулу прикую, я тебе на цепь посажу! Сиди под арестом!» И посадил; затем арестовал слугу Оловянишникова, посадского человека Ивана Нортова, который ехал по улице. Лошадь и телега сделались добычей полицеймейстера. (Челобитье Оловянишникова в журнале 29 марта 1756 года, № 236). Вероятно, Кашинцев был любитель лошадей: он отбивал их при помощи своей дворни. Ехал посадский человек Афанасий Салов мимо Спасского кабака, на реку Которосль. «И в то время, нашед на него ярославского полицеймейстера, поручика господина Кашинцева, дворовые люди, называемые один Семен Портной, а другого по имени он, Салов, не знает, да с третьим неизвестным же ему крестьянином, и, остановив лошадь его, говорили, что он,



Салов, якобы извозчик и чтоб ту лошадь отдал. А когда он, Салов, объявил, что не извозчик, и той лошади не давал, то оные люди били его против самого того Спасского кабака, где стоит обыкновенный караул. Впрочем, Салов отдался довольно дешево: полицеймейстерская челядь не завладела его лошадыю: он ускакал, избитый до полусмерти. (Челобитье Салова в журн. 9 февраля 1756 года, № 121). Кашинцеву легко было разорить бедного человека окончательно, как говорится, до тла. Весь труд состоял в том, чтобы обвинить «супротивника его благородия, господина полицеймейстера», в укрывательстве беглых и беспаспортных. Затем следовал арест, продолжавшийся неделю, месяц и более, смотря по тому, когда и какая лепта предлагалась за освобождение из-под ареста. Однажды были взяты в полицеймейстерскую контору сын посадского человека Иван Налепов, да работник его, тоже ярославский посадский, Василий Рукавишников, под тем предлогом, что они не имеют паспортов. Напрасно старик Налепов доказывал господину полицеймейстеру, что нет резона коренным ярославцам, которые никуда из своего города не отлучались, иметь при себе паспорта. Кашинцев лишил их свободы и «держал под крепким караулом». (Журн. 1756 г., № 239). Посадский Яков Москательников, в октябре 1756 года, бил челом магистрату в следующем: привез-де отец его на своей барке соль из Нижнего-Новгорода, и придрался-де к нему господин полицеймейстер Никанор Кашинцев за то, что он, старый Москательников, не объявил ему своевременно паспортов тех рабочих, которые были на барке. «В цепь заковать!»—коротко и ясно распорядился полицеймейстер. «И содержался мой родитель (писал сын заключенника) сего октября с второго по шестое число в цепи, а с 6-го числа хотя уже и не в цепи, но с прочими колодниками, яко злодей, держится и поныне. Отчего все работные люди с судна разбежались, соль выгружена на берег, и приведены мы в крайнее разорение и нищету». (Журн. 1756 г., № 621). Акулину Кафтанникову, жену посадского, полицеймейстер Кашинцев «изнурил и ввел в нищету» тем, что распорядился занять ее дом и надворные постройки лошадиным табуном: 15 коней, да столько же человек прислуги содержались за счет злополучной Кафтанниковой. (Журн. 1756 г., № 694). За отказ подписать бумагу, обвинявшую посадского Ивана Козырькова в уличной драке, Козырьков был прикован полицеймейстером к

стулу, «яко злодей», и сидел на цепи три дня и три ночи. Когда же, не взирая на закованье, Козырьков снова уклонился от рукоприкладства, то «Кашинцев четырекратно разоблачал меня (жаловался несчастный посадский) и сек плетьюми, а напоследок бил меня, вышедши из под караула, на Пробойной улице батожем». (Журн. 1756 г., № 51).

Особенно зверски Кашинцев поступил с купцом Васильем Ивановым Крепышевым. В чем заключался этот поступок, мы узнаем из челобитья жены Крепышева, Анны Артемьевны, поданного в магистрат 7-го апреля 1757 года, когда Кашинцев был уже в отставке. Челобитчица начинает с того, что в среду 2-го апреля муж ее пропал. Когда он ушел из дому, жена спросила:

— «Куда идешь?»

— «К Кашинцеву, чтоб уплатить долг».

— «Зачем?—ведь срок платежа еще не наступил?»

— «Все равно. Я должен ему 1510 рублей по четырем векселям, которые он, прежде сроков, для требования порук, протестовал, и те протесты объявлены в ярославский магистрат. А я не хочу допустить себя до порук и до суда: отдам Кашинцеву имеющийся у меня на ярославского купца, шелковой фабрики содержателя, Егора Холщевникова два векселя в сумме на 1614 рублей. Прощай жена!»

И ушел. День миновал, а его все нет. Купчиха встревожилась, побежала разведывать, куда девался ее сожитель. По слухам оказалось, что «онный поручик Кашинцев, напоя одного мужа ее, усиленно взял с собою в гости в Корюшицкую слободу к квартирующему в доме ярославского купца Афанасия Кириллова сына Шапошникова офицеру; а какой онный офицер команды и как его зовут, того-де она, Анна Артемьева, не знает».

Вероятно, офицер стоял своего друга, полицеймейстера. Вдвоем они принудили Крепышева пить до безумия, играть, плясать, бороться, вообще — разыгрывать страдательную роль шута. Мало ли кто был шутком в доброе старое время? Уж если при Анне Иоанновне аристократ, князь Голицын, всемилостивейше пожалован был в шуты и распевал петухом, то нечсму удивляться, что ярославский купец изображал собою на четвереньках пошехонского медведя. Анна Артемьевна Крепышева описывает так злоую шутку, сыгранную над ее мужем: «Заставливая его, пьяного, плясать и бороться усиленно, чинили над ним великое посмеяние; а потом его, уже весьма

пьяного, принудили играть с собою в карты, который-де муж в беспамятстве и играл. А по слухам-де от людей оного Кашинцева, муж ее проиграл не малую сумму денег. А потом-де оного мужа ее Василия Крепышева, не отпуская из горницы, дабы он не мог выйти в хозяйские покои, толкали, совали на стену, и он головою и другими членами бился немилостивно. А потом-де оный поручик Кашинцев велел людям своим оного мужа ее втащить в лодку и отвезти с собою в квартиру свою и, не отпуская домой, оставил ночевать в людском подклете». Напрасно Крепышева спрашивала «многократно» людей господина полицеймейстера, где ее муж: по заказу барина, они утаили истину, которая открылась не прежде 3-го августа. «А тогда-де третьего числа, уже пополудни, ища мужа своего, разведала она, что-де он в Крашенинном ряду на лавочных палатах своих лежит бесчувственен и не говорит».

— «Что с тобой, Василий Иванович?»—завопила баба. Но Василий Иванович токмо дико мычал и не мог объяснить, как он очутился на лавочных палатах; «затем с крайнею нуждой стал говорить о тех над ним чинимостях, а в совершенную память притти и точного о своих обидах обстоятельства показать никак не может». Взятых им с собою векселей при нем не оказалось. (Слобитье Анны Крепышевой в журнале 1757 г., № 216). Не решаемся, однако, за неимением данных, сказать, что они были похищены Кашинцевым, который, вероятно, долго бы еще продолжал грабить, брать взятки и потешаться над ярославским торговым людом, если б во главе сего люда не стоял миллионщик Иван Дмитриевич Затрапезнов. Полицеймейстер думал сломить этого туза и жестоко ошибся в расчете. Затрапезнов выхлопотал в Москве удаление Кашинцева, с преданием его суду «за обиды и нападения, и за другие резоны». (Журн. 1756 г., № 735). Преемником его был капитан Петр Кайсаров, недолго сидевший на полицеймейстерском стуле. Кайсарова заменил какой-то князь Гелованов, личность бесцветная, не оставившая после себя никакой памяти в истории города Ярославля при императрице Елизавете.

Кончая эту историю, мы боимся выслушать упрек читателя за несообщение новых фактов, касающихся Федора Григорьевича Волкова, который был неизмеримо выше, с нравственно-поэтической стороны, всех описанных здесь

героев, зараженных худшими болезнями русского общества: самоуправством, взяточничеством и т. д. Отец русского театра является в наших глазах, действительно, самую светлой, безупречной личностью. Он один искупает собою, перед судом истории, Елизаветинский Ярославль. К сожалению, общеизвестную биографию Федора Григорьевича Волкова мы можем дополнить только немногими, хотя и не лишеными интереса, сведениями. Заимствуем их из указа государственной берг-коллегии в Ярославскую провинциальную канцелярию и из журналов ярославского магистрата.

Федор Григорьевич Волков, бессмертный основатель русского театра, родился 9-го февраля 1729 года в Костроме. Но ярославцы не должны уступать его своим соседям — костромичам. Нет! Волков наш, всецело наш, ярославец. Прекрасное и великое, по своим последствиям, создание его — русский театр — основалось на ярославской почве. Волков провел в Ярославле свою молодость. Он явился здесь, как автор драматических произведений, как артист и, наконец, как художник-живописец (по его рисунку сделан иконостас в Николо-Мокринской церкви). Волков любил ярославские святыни. Но мы, неблагодарные потомки, к стыду нашему, забыли того человека, который сам составляет для нас историческую святыню.

Мать Федора Григорьевича, костромская купчиха Матрена Яковлевна Волкова, после смерти своего первого мужа, вступила в брак с ярославским купцом Федором Васильевичем Полушкиным, который усыновил ее детей, своих пасынков: Федора, Алексея, Гавриила, Ивана и Григория. Биографы Волкова до сих пор, один за другим, повторяют ошибку, что Полушкин был бездетен: у него была дочь от первой жены, Матрена Федоровна, состоявшая в замужестве за ярославским купцом Макаром Игнатьевичем Кирпичевым.

Судя по упомянутым документам, Полушкин принадлежал к числу наиболее зажиточных и предприимчивых купцов. Вместе с ярославским купцом Тимофеем Шабуниным он «приискал» удобные для постройки серных и купоросных заводов места «близ города Ярославля и Волги-реки, да близ же Макарьевского Успенского монастыря<sup>1</sup>, на берегу Унжи-реки». 2-го сентября 1736 года и 5-го июля 1737 года коммерц-контора и берг-контора разрешили Полушкину

<sup>1</sup> При селе Коврове.

построить означенные заводы, которые затем, по определению берг-конторы, 4-го ноября 1741 года, перешли во владение Полушкина, вступившего тогда же в товарищество с ярославским купцом Иваном Мякушкиным. Бывший пайщик Тимофей Шабунин, по полюбовному договору с Полушкиным, согласился «при тех заводах не быть, а быть на ряду с купечеством».

Биографы Волкова утверждают, что Полушкин послал его в Законоспасскую академию учиться закону божью, немецкому языку и математике. Там-де он и познакомился с театральным миром, там и увидел некоторые из Мольеровских комедий и разные мистерии, игранные на святках семинаристами. К сожалению, в наших документах не упоминается о пребывании Волкова в академии; но, допустив этот факт, мы должны допустить и то, что юноша Волков мог быть в числе, так сказать, первобытных актеров-семинаристов, мог сознавать неудовлетворительность мистерий по отношению к драматическому искусству и по отношению к языку, который состоял в дикой смеси полуславянских, полурусских слов. Такие произведения, например, «Как Юдифь голову царю Олоферну отрубила», едва ли могли удовлетворить даровитого, поэтически-настроенного Волкова.

Даровитость его сознавал и Полушкин, но готовил своего пасынка не в актеры, а хотел сделать из него купца-фабриканта. В 1743 году (следовательно, когда Волкову было 14 лет) вотчим основателя русского театра сообщил берг-коллегии, что «товарищ-де его Мякушкин, за неимением своего капитала, в заводском производстве с ним быть не желает, а вместо-де его, Мякушкина, для лучшего заводского производства и государственной прибыли, принимает он себе в товарищи пасынков своих (следует перечисление их; Федор Григорьевич значится на первом месте), которые тот завод производить обще с ним желают». Нужно заметить, что при заводе состояли мастеровые и риписные люди. Федор Волков вместе с братьями, «во время учиненной по присланному из берг-коллегии указу, мастеровым людям переписи», обязался наблюдать как над заводами, так и за «работными людьми». С своей стороны Полушкин дал письменное обязательство наградить пасынков «за их при заводском производстве усердное рачение и труды, сверх содержания их на своем коште, из прибыли от тех заводов из половины, а по усмотрению впредь их

учинить в четвертой части наследниками». Берг-коллегия утвердила этот договор, когда Федор Волков подписался: «служить при заводах, и те серные и купоросные заводы производить с прилежным рачением, а не для одного токмо вида, чтоб заводчиком слыть и от купечества отбывать».

Но, вопреки данному обязательству, Федор Волков отбывал. Выделка серы, купороса и мумии не интересовала его. Биографы гласят, что в 1746 году он уехал в Петербург, «для навыка в бухгалтерии», и поступил в одну из немецких контор; что хозяин-немец взял однажды Волкова в придворный театр послушать итальянскую оперу; что опера произвела на молодого человека глубокое впечатление; что еще большее впечатление испытал Волков, когда ему удалось попасть за кулисы театра, устроенного воспитанниками шляхетного корпуса, которые разыгрывали драмы Сумарокова. Далее биографы утверждают, что Федор Григорьевич Волков хорошо научился по-немецки и по-итальянски, перевел с этих языков несколько пьес, которые и принес с собою в Ярославль, где и решился основать русский театр; снял планы и рисунки всего устройства сцены, машин, декораций; набрал в Ярославле труппу, куда поступили его братья Гаврило и Григорий и еще несколько мальчиков, из которых впоследствии приобрел историческую известность Иван Афанасьевич Нарыков (Дмитревский), друг великого английского актера Гаррика и его достойный соперник. Волков решился потешить старика-вотчима невиданной диковинкой, театром, устроенным в сарае. Полушкин, увидавши чудо, был-де вне себя от изумления; мать Волкова расцеловалась от радости, что бог дал ей такое разумное детище. Полушкину особенно понравились облака, которые поднимались и опускались, как настоящие...

Так говорят почтенные биографы Ф. Г. Волкова. Но, кажется, они чересчур разукрасили истину, во всяком случае, сделали хронологическую ошибку. Едва ли Волков, отправленный в Петербург в 1746 году, мог через год овладеть в совершенстве двумя иностранными языками, изучивши одновременно весь театральный механизм, которым, будто бы, изумил и восхитил своего вотчима. Как бы ни был талантлив семнадцатилетний Волков, но один год — срок слишком недостаточный для изучения механики, рисовального искусства и двух языков. Между тем из цитируемых нами архивных документов несомненно оказывается, что

купец Полушкин в 1747 году умер. Дочь его Матрена писала в своей жалобе: «Он ый отец ее усмотрел их, Волковых, неспособных и ни мало к заводскому производству не рачительных, а при том, ведая силу указов, что оные Волковы к наследству отца ее никакого права не имеют во оной (четвертой) части, ни в чем наследниками не учинил, и в 1747 году умре». Трудно согласить лишение наследства с артистическим восторгом заводчика Полушкина, человека безграмотного<sup>1</sup>, человека старого закала. Едва ли он восторгался и умилялся, глядя на театральные игрища своих пасынков. Вернее, что смерть старика дала Волковым полную свободу отдаться артистическим наклонностям. Волковы завладели имуществом своего вотчина. Это поселило вражду между ними и сводною их сестрой, упомянутою Матреной Кирпичевой, которая была челом на Волковых, что они, расстроив заводы, нисколько не заботились о них, рабочих же людей обратили в комедантов... «После смерти его (Полушкина) не токмо из прибыли половиною, или четвертною частию, но и всеми показанными заводами с людьми и домом и с пожитками упоминаемые Волковы, не имея никакого к наследству резона, завладели напрасно. И, не зная к заводскому содержанию искусства ни малого, в том не употребляли рачения, и ведая, что им не прочны оные заводы, привели их в крайнее несостояние. И заво-дских людей, вместо надлежащей должности, употре-бляют при себе в комедии и в прочие свои услуги. И, зная, чтоб о том их Волковых нерадении и заводов упущении берг-коллегии узнать было не можно, о заводском состоянии репортов не справляли, за что и штра-фованы». Челобитчица просила ярославскую провинци-альную канцелярию: 1) представить в берг-коллегию об утверждении ее, Матрены Кирпичевой, единственною на-следницей после купца Полушкина, и 2) обязать Волковых подпиской, чтобы они «заводов отца ее и прочих имений, до отдачи ей не растратили, а людям притеснения и на-п-р-ас-ных побой не чинили». Последнее сказано было единственно для красного слова. Сами «работные люди» умалчивают, по нашим документам, о побоях, будто

---

<sup>1</sup> «Покойный отец мой (писала Матрена Кирпичева) грамоте и писать не умеет».—Л. Т.

бы наносимых Волковыми, обвиняя своих хозяев-заводчиков лишь в том, что они, Федор и Алексей Григорьевы дети Волковы, с братьями, привели заводы «во всеконечный упадок и подрыв», оставили их, рабочих, без работы, «в убожестве и разорении», не кормят, не одевают, от себя не отпускают, а при том запрещают быть послушными Матроне Кирпичевой. Всех рабочих было шесть человек. Один из них, Федор Петров, «с товарищи» спрашивал бергколлегию: «от кого нам, для пропитания и удовольствия, получать плату? у кого в послушании быть у Кирпичевой, или у Волковых? Далее мы увидим, как решены были эти вопросы; теперь же обратимся к Федору Григорьевичу Волкову.

Сделавшись хозяином, он получил возможность предаться своему любимому искусству. Волков построил театр на берегу Волги. Местонахождение этого первого русского театра приурочивают к Полушкиной роще, где будто бы стоял сернокупоросный завод Полушкина; но завод находился не там, а по другую сторону города, за Ямским лесом, в Дядьковском овраге. Следовательно, театральное здание было не при заводе, отстоявшем от Ярославля слишком далеко, верстах в пяти. Окрестности Полушкиной рощи, более близкие к городу и более живописные, чем Дядьковский овраг, скорее могли обратить внимание Волкова при выборе места для театра, который был торжественно открыт (когда именно?) представлением оперы «Титово милосердие». Биографы Волкова утверждают, что эта опера была переведена с итальянского самим Федором Григорьевичем; он также принял на себя обязанности декоратора, машиниста, канцеляриста и проч. Устройство театра потребовало значительных издержек. Чтобы хоть сколько-нибудь вознаградить их, Волков назначил цены на места в театре: кресла стоили 25 копеек, галерея — пятак, за раек брали гривенну. Весть о ярославском театре достигла императрицы Глашанеты, благодаря случайному обстоятельству. Некто, сенатский вклекатор Игнатъев, приехал в Ярославль для ревизии дел по шипному откупу. Игнатъев часто посещал театр Волкова и, возвратившись в Петербург, донес об этой пощике генерал-прокурору, князю Никите Юрьевичу Трубецкому, и князь доложил государыне, страстной любительнице увеселений. Немедленно поскакал в Ярославль гонец, капитан Дашков, с указом: привезти в Петербург всю ярославскую труппу. Государыня приняла наших «а к т и о



ро в» чрезвычайно милостиво. Волков, Нарыков (переименованный в Дмитревского) и другие, наиболее талантливые «актеры» получили высочайшее повеление остаться в Петербурге; другие же, бесталанные, возвращены были на родину.

Отправление Ф. Г. Волкова в Петербург последовало в 1752 году, что видно из следующего обстоятельства. Братья его Алексей и Гаврило, вытребованные в ярославскую провинциальную канцелярию по спорному делу с купчихой Кирпичевой, между прочим, заявили: «Большой-де наш брат Федор, да меньшей Григорий Волковы взяты в 1752 году, по имянному ее императорского величества указу в С.-Петербург, для представления комедий, и имеются-де там при российском театре актерами». Вызов братьев Волковых в провинциальную канцелярию последовал на основании указа берг-коллегии, которая на первый раз (17 декабря 1753 года) решила означенное дело с соблюдением интересов обвинявшейся стороны, т. е. Волковых, которым было позволено владеть как Ярославским, так и Унженским серными заводами, «с имеющимися на оных работными людьми», «общее с Матреной Федоровой дочерью Кирпичевой». В 1753 году Ф. Г. Волков официально считался костромским купцом, а не «актером ее величества». По указу берг-коллегии, тогда еще не была снята с Волкова обязанность «производить те заводы с прилежанием, усердием и радением». Наш «актер» должен был выплавлять серу, варить купорос и делать краску мумию «против прошлых лет со излишеством», не щадя при том собственного своего капитала. Затем берг-коллегия поручила ярославской провинциальной канцелярии «накрепчайше исследовать в самой скорости: правда ли, что Федор Волков и его братья, не радея о заводах, употребляют заводских людей при себе в комедии и в прочие свои услуги?»

Вопросы, данные берг-коллегиею, имели полнейшее юридическое основание. Для этого присутственного места, ведавшего рудокопное дело, артистическая жизнь, которую вел Федор Григорьевич Волков, представлялась уклонением от его прямых обязанностей, соединенных с званием владельца заводов. Мы смотрим на Волкова, как на бессмертного основателя русского театра. Нам, как англичанам и французам, которые дорожат каждым новым фактом, касающимся биографии Шекспира и Мольера, следует дорожить

материалами для биографии Волкова<sup>1</sup>. Но тот же Волков в глазах его современников, членов берг-коллегии, был никто иной, как только беззаботный, плохой заводчик, нарушавший законы Петра Великого, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Берг-коллегия выписала в своем определении все законы, которые обвиняли Волкова. 18 января 1724 года Петр I издал указ, отменявший запрещение «купецким людям» покупать населенные имения. «Многие возымели, к приращению государственной пользы, заводить вновь рязные заводы, а именно: серебряные, медные, железные и игольные и прочие, сим подобные». Для размножения таких заводов Петр I разрешил: «как шляхетству, так и купецким людям к тем заводам покупать деревни невозбранно, с позволения берг-и мануфактур-коллегии». Впрочем, разрешение дано было не безусловно, а под «кондицию»: дворянство (шляхетство) и купечество «отнюдь не смели тех деревень без заводов продавать или закладывать». В 1739 году, 3 марта, заводчики были предупреждены, что они могут лишиться заводов с приписанными к ним людьми, если станут «леностно производить» заводское дело. Наконец, указом правительствующего сената от 21 августа 1753 года подтверждено было берг-коллегии «накрепчайшее смотрение иметь» за владельцами заводов; «а которые заводчики свои заводы леностно производить станут или только для лица иметь будут с такими поступать по указам неотменно». Ярославская провинциальная канцелярия усердно занялась следствием, цель которого состояла в том, чтобы доказать «леность» Федора Григорьевича Волкова и его братьев. Приведен был из них и канцелярню один брат Иван Григорьевич; но он отговаривался пенсением, как и что происходит на заводах, объяснил при том, что братья его «находятся в разных отлучках, а именно: Федор — при российском театре актером, Алексей и Гаврило — в Москве, Григорий — в С.-Петербурге, а ему-де, Ивану, в допросе быть, в силу присланного из берг-коллегии указу, не можно, потому что он, Иван, с самого ребячества и поныне в Ярославле, при доме умершего вочима своего Федора Полушкина и на заводах, несколько не живал». Итак, из пяти братьев Волковых, один Иван был совершенно чужд интересам своего

<sup>1</sup> В этих видах мы и сообщаем здесь настоящие материалы.— Л. Т.

знаменитого брата и «жил своим домом безотлучно», вероятно, на родине—в Костроме. Ярославский воевода оставил Ивана Волкова в покое, более не допрашивал и обратился с допросами к остальным братьям при посредстве копииста провинциальной канцелярии Федора Антипина, которому дана была инструкция — описать заводы в присутствии Волковых или поверенного с их стороны; «а буде (гласила инструкция) их в доме нет, или упрямым не пойдут», то составить опись при посторонних людях. Возвратясь с поисков, Антипин донес, «яко-де он ко объявленному Федору Волкову с братьями ходил многократно и данную ему и инструкцию им, Волковым, объявлял и, по объявлении, требовал, чтобы они, Волковы, при описи оных заводов с ними были». Но явился в Ярославль только один Алексей Волков, да и тот «известия о людях (состоявших при заводе) не дал и при описи не был. «А в Унженский уезд, для описи, на серный и купоросный завод упрямым своим никто из Волковых не поехали». Вместо их на Унжу прибыл костромской купец Яков Белозеров, управляющий тамошним заводом, который оказался «в опущении, строение все сгнило». Впрочем, явившиеся в провинциальную канцелярию Алексей и Гаврило Волковы утверждали, что копиист Антипин писал ложно, что они «с братьями рачения имели, искусство к тому знают». Потом те же Волковы объявляли, что они употребили свой значительный капитал, а именно полторы тысячи рублей, на усовершенствование заводского дела». Может быть, кроме этой суммы, еще из нашего капитала были траты (говорили Волковы), только мы о том ныне показать не знаем; «а знает-де о том и показать может, и всякие заводские письма имеет у себя большой наш брат Федор». Эти слова любопытны в том отношении, что они доказывают полное доверие Волковых к «большому брату». Только один Иван жил особняком, сторонился от общих семейных интересов; по крайней мере, в денежных делах Иван не принимал никакого участия, состоя лишь номинально в торговой фирме Волковых. Указ берг-коллегии от 18 августа 1754 года окончательно разрушил эту фирму. Единственной наследницей Полушкина признана была дочь его, Матрена Кирпичева, ей были переданы заводы, с обязательством, чтобы она «крайне и усердно старалась выварку на оных серы и купоросу и деланные краски мумии умножить». Относительно же Волковых

последовала резолюция: «Выключить их из заводчиков, и впредь их заводчиками не считать, а быть им на ряду с купечеством. И для того данный им, Волковым, из берг-коллегии о бытии им при означенных Полушкина заво-да х указ, взяв у них, Волковых, прислать в берг-коллегию немедленно». Кроме заводов, были и другие спорные вопросы между Волковыми и сводною сестрой их, Матреной Кирпичевой; но берг-коллегия не вошла в рассмотрение этих вопросов, определив так: «Что-ж они, Волковы, в ярославской провинциальной канцелярии показывали, якобы они, Волковы, по вступлении их в то заводское содержание, для размножения оных, из собственного своего капитала употребили денег полторы тысячи рублей, которые у них означенный потчим их Полушкин занял и в тех деньгах заложил им двор свой: да по смерти его, Полушкина, по данным от него векселям имели платежи собственными своими деньгами;—а означенная оставшаяся после заводчика Полушкина дочь Матрена Кирпичева показывает, что после смерти отца ее двором и всеми пожитками и лавками за-владела означенные Волковы сильно, и к тому наследству ее не допускают: и в том во всем Волковым и Кирпичевой вестись между собою судом, где надлежит». Но Кирпичева не долго «ведалась». Из журнального определения ярославского магистрата (1756 г., № 498) видно, что в августе 1756 года ее не было уже в живых: «Ныне ярославскому магистрату не безызвестно, что объявленная Матрена, Полушкина дочь, будучи бездетна, помре». С нею прекратилось прямое потомство потчима Ф. Г. Волкова; боковые же линии купеческого рода Полушкиных в описываемое время еще существовали: упоминается Иван Васильевич и Алексей Леонтьевич Полушкины, которые были поручителями за Федора Полушкина в уплате долга, 1500 рублей, по выданной братьям Волковым закладной. Об одном из них, Алексее Григорьевиче, мы нашли сведение, что к 1758 году он имел вексельные дела с ярославским купцом Затрапезновым. (Журн. 1760 г., № 554); отсюда заключаем, что некоторые из Волковых, в конце Елизаветинского царствования, находились в Ярославле, или, по крайней мере, ликвидировали здесь свои торговые дела.

Старший Волков, конечно, раньше перестал заниматься ими. В 1750 году, 30 августа, исполнилась его задушевная, любимая мысль: состоялся высочайший указ об учреждении российского театра. Вся дальнейшая деятельность Волкова

была направлена к пользе того же театра. Императрица Екатерина II, при восшествии своем на престол, за оказанные ей Волковым услуги, пожаловала его дворянством и населенным именованием в 700 душ... Но он не хотел оставить своего искусства, считая его не менее благородным, не менее почетным, чем дворянское звание. Дворянин-актер— явление единственное в XVIII веке!

Вообще Волков представляет собою личность необыкновенную. Он не был женат и, как уверяют его биографы, никогда не влюблялся. Он имел только одну возлюбленную—театральную сцену. Весь поглощенный страстью к своему искусству, к драматическому творчеству, Волков представляет нам собою идеал актера. Самая смерть его (в 1763 году), к несчастью, слишком преждевременная, вызвана была усиленными трудами при устройстве московского театра. По словам современников, Волков имел величественную и благородную наружность. Вернейший портрет его находится в Ярославском Демидовском лицее, которому пожертвовал его, также незабвенный в летописях русского театра, М. С. Щепкин.

Ярославцам два раза представлялась возможность почтить достойным образом память Волкова: в 1856 году—в столетний юбилей русского театра, и в 1873 году, когда минул век после смерти великого человека. Мы, ярославцы, просмотрели; мы забыли тогда о лежащей на нас нравственной обязанности отпраздновать Волковский юбилей (конечно, не пошлым образом, не «обедом»). Пишущий эти строки уже осмелился однажды послать ярославцам, во всеуслышание, горький упрек за невнимание к памяти Волкова и снова повторяет сказанное им прежде: через три года (4 апреля 1879 г.) исполнится полтора года лет со дня рождения отца русского театра Федора Григорьевича Волкова. Как бы хорошо было, если б к тому времени (оно еще не ушло), в виду Демидовского лицея, рядом с колонной Демидова, воздвигнулся памятник с надписью: «Волкову—благодарное потомство».

Не надо особенно пышного монумента: самый скромный памятник все-таки лучше холодного забвения, лучше, чем людская неблагоприятность.

(Напечатано в журнале  
«Древняя и Новая Россия» за 1877 год).

## МАЙОРША И КАПИТАНША

*Из быта угличских дворян XVIII столетия*

### I

Быт русского общества в минувшем столетии раскрывается все более и более. Не говоря уже о «записках» наиболее выдающихся исторических деятелей, которые посвящены истории, так сказать, бытовой, а не исключительно политической, следует изучать и литературные произведения, ярко и правдиво рисующие нам означенный быт. Но такие произведения, как «Семейная хроника» Аксакова, редки; притом они исчерпываются талантом авторов; архивные же источники, говорим без преувеличения, неисчерпаемы. Была бы лишь добрая воля у провинциальных тружеников, да любезное внимание к трудам их со стороны «властей», от коих зависит доступ в наши губернские архивы, и сие последнее, мы уверены, сослужит хорошую службу русской истории...

Это между прочим...

На сей раз предлагается небольшой рассказ об угличских помещице, майорше и капитанше, живших при благодунной, но необразованной Елизавете Петровне. Если сама государыня отчасти по своей лености, отчасти по безграмотности считала величайшим трудом взяться за перо, чтобы подписать «Елизавет», то ее подданные, русские барыни-помещицы, тем паче могут быть оправданы в безграмотности. Героини нашего рассказа, две помещицы и невеста-дочь одной из них, не составляли собою исключения из общего правила. Исключение (впрочем, относящееся к несколько позднейшему времени) составляла на Руси одна «Казанская помещица». Но эта помещица была... Екатерина Вторая.

Безграмотность, необразованность приносили свои страшные, ядовитые плоды. Мы видим их и в Угличской

провинции. Архивные рукописи не ложно свидетельствуют нам о том, что весь умственный кругозор угличских «госпож Скотининых» не простирался далее скотного двора, ярового поля, да мелких дрызг, из-за коих они, наши добрые прабабушки Скотинины, учиняли взаимно кровавые побойща. Так, по крайней мере, гласит дело (1742 года, по архивной описи № 98-й), озаглавленное следующим образом:

«Дело решенное, по челобитью вдовы маэорши Агафьи Черкашениновой со вдовой-ж капитаншею Аграфеной Нетерпигоровой, в бою и увечье ее, такожде и в бою «Индеевских куриц».

Перенесемся, читатель, далеко-далеко, почти за полтора столетия; перенесемся в одну из усадеб Угличской провинции, в село Игумново, где происходит наш рассказ.

## II

29 июля 1742 года одна из помещиц сельца Игумнова, принадлежавшего двум господам, проснулась очень рано. Вообще она привыкла вставать рано, для каждодневного обозрения своего хозяйства, не очень богатого, но и безбедного. На сей же раз пробуждение ее последовало, однако, прежде обыденного срока по экстренной причине.

Почтенную вдову «маэоршу» Агафью Сампсонову Черкашенинову разбудила дочь ее Ирина Михайловна, сообщившая своей родительнице печальное, можно сказать, трагическое, событие.

Совершено было «немалое злодеяние». Убиты были индеевские курицы, кои доставляли как самой Агафье Сампсоновне, так и ее дочери (взрослой девственнице) неизъяснимое удовольствие, служа им в то же время предметом законной гордости, ибо во всем обширном Угличском уезде, по сказанию правдивых летописцев, не обреталось подобных индеев. Сочные, жирные, к тому же ручные, а следовательно, и чрезмерно доверчивые (на свою пагубу), они утешали своих хозяек, вселяя в соседних помещицах один из смертных грехов — зависть. Особенно завидовала вдова-капитанша Аграфена Сергеевна Нетерпигорова, дама (как сейчас увидим) весьма храбрая и на язык невоздержная...

— Сколько убито? кем? где? — спросила майорша Черкашенинова, торопливо надевая на себя чепец, коему предстояло вскоре играть печальную роль.

— Убито трое, матушка!—ответствовала Ирина Михайловна.—Лежат они, сердечные, на лугу, близ ржаного поля Нетерпигорихи; а кем они убиты, того доподлинно не ведаю. Имею токмо подозрение на Нетерпигориху, на дворовую женку ее, на Дуньку Ларионову.

— Почему же так? — осведомилась госпожа майорша, закипев гневом.

— А потому, сударыня матушка, что когда, вставши чуть свет, я пошла по-грибы, выпустивши раньше индюшек погулять, и когда проходила лугом, то увидала наших индюшек с шеями, свернутыми на сторону. Заплакала я горячими слезами. А ходившие тут же на поле Нетерпигориха и Дунька над тем моим горем хохотали и бранились непристойно, не по-дворянски, а как сущие холопки.

— Да, бессумнения, это они — убийцы! Это ихнее дело!—согласилась майорша.—После кончины покойника, твоего родителя Михаила Полнкарповича (царство ему небесное!), у нас в Игумнове немалые раздоры, козни и судьбища пошли, к великому моему разорению. Сама ведаешь, что приказная челядь даром просьб не пишет, жадна на подачки, а ведь я безграмотна, прошений на Терпигориху писать не могу.

— Особливо хорошо пишет Кашинский подканцелярист Роман Носов, маменька!—заметила девица Ирина, состоявшая в знакомстве с Носовым.

— Так хорошо, что и сказать нельзя. Откуда у него, окаянного, слова берутся! Так и норовит упечь кого-либо в Рогервик или в Сибирь. Вот уже теперь Нетерпигориха от него не отвертится, хоть и у нее есть сподручные приказные; только далеко им до Романа Носова, как кулику до Петрова дня. Не пожалею пяти рублей, сама съезжу в город Кашин, буду просить его слезно и жалобно, чтобы он доказал дружбу Нетерпигорихе и злодейке Дуньке Ларионовой.

— Неужто он может сослать их в Сибирь, матушка, из-за индюшек?—сомневалась барышня.

— А то разве нет?—храбрилась майорша.—Аграфена Нетерпигориха известная пьяница и похабница; к тому же она и чином мня моложе; муж ее Борис Нетерпигорев еле-еле, с грехом пополам, до капитанов дотянул, а твой родитель уже при покойной государыне Анне Ивановне в авантажном чине «майора» состоял. Осиротели мы без него, дочка.

Прослезилась майорша. Впрочем, документы, на осно-



вании коих мы передаем эту беседу между матерью и дочерью, к сожалению, слишком сухи и сжаты; они не раскрывают перед нами вполне тайников души человеческой, а посему мы доподлинно не ведаем, о ком или о чем именно больше сожалела и плакала оскорбленная майорша, т. е. о своем ли покойном супруге, о деньгах ли, которые неминуемо следовало уплатить вышеозначенному подканцеляристу Роману Носову, или же, наконец, о погибших насильственной смертью индюшках?

Мы боимся оскорбить тень госпожи майорши, утверждая, что последняя причина была важнее двух первых. Но следует принять во внимание и то, что муж составлял давно прошедшее, отдача взятки—будущее, а индюшки—роковое и настоящее. Они изображали собою факт, только-что совершившийся и требовавший возмездия...

Одевшись, Агафья Самсоновна пошла в поле, чтобы исследовать кровавое злодеяние.

### III

Увы! Все оказалось правдою. На лугу, около поля Нетерпигорихи, лежали трупы молодых индеек, уже холодные, ибо с момента совершения убийства прошло более часу.

Близ трупов стояла капитанша Нетерпигориха. Подпершись руками в боки, она с немалым ехидством и похвальбою взирала то на мертвецов, то на майоршу.

Последняя, указуя перстом на бездыханных индюшек, спросила:

— Чье это дело? Не запирайся, твое?

— Мое,—отвечала капитанша.—Я и не думаю запираяться, потому что твои индюшки ведомые всему Угличскому уезду озорницы; они были сами виноваты, убытки и протори учиняли мне ежедневно.

— Злодейка ты, а не капитанша!—зарыдала майорша,—какие же, отвечай по совести, убытки и протори они могли учинять?

— Ты сама злодейка и сущая воровка, а не я, — возразила капитанша.—И вся твоя животина в тебя уродилась: и лошади, и коровы, и гуси твои, и индюшки кормятся на моем поле завсегда, безданно, беспошлинно, сиречь воровским манером. Вот и нынче индюков твоих я поймала в моем ржаном поле; поймавши, головы им свернула собственноручно.

Видя столь твердый отпор и убоясь, чтобы капитанша не свернула голову и у нее, у майорши, сия последняя не дерзнула вступить с нею в рукопашный бой, но, скрепя сердце, спросила тихо и со смиренном:

— Скажи, Аграфена Сергеевна, где же остальные мои индюшки?

— А я разогнала их неведомо куда. Поди, нищи! — потешалась капитанша, причем «многожды» упомянула о нечистом духе, послав к нему исчезнувших индейских кур и петухов, а также и владельницу оных, майоршу.

Богохульные, сквернословные и страшные слова капитанши окончательно смутили майоршу; особенно напугал ее упомянутый «многожды» нечистый дух, коего она «маворша», яко верная христианка, немало опасалась. Посему, взяв один из «индейских трупов», пошла она домой, не причинив на сей раз ни малейшей обиды госпоже капитанше и ограничившись тем, что в сокрушении сердечном плюнула на землю.

Капитанша, заметив сие, погрозила кулаком, но не ударила оным майоршу, токмо о нечистом духе вновь упомянула с прибавлением ругательств, кои лишь в кабаках подлыми людьми употребляются, да и то не всегда...

Зачем же, для какой же цели унесен был майоршею один из «индейских трупов»? Читатель, может быть, скажет: «для того, чтобы предать оный честному погребению». Недогадливый читатель, мнящий сие, ошибется.

Нет, если хоронить, то надлежало хоронить все трупы, а не один. К чему было делать предпочтение одному трупу перед прочими? Нет, у госпожи майорши внезапно созрел в голове иной план, приведение коего в исполнение и послужило прологом к описываемой нами драме.

Возвратясь в сельцо Игумново (куда следом за ней пришла и капитанша), госпожа Черкашенинова обратилась к госпоже Нетерпигоровой с такою речью:

— Ты убила мою индюшку, так вот же тебе она, возьми ее, съешь и подавись!

Капитанша не прикоснулась к индюшке, и, с видом презрения, удалилась в дом свой, откуда выглянула в окно, под коим стояла майорша, держа милый и чувствительный для ее сердца труп.

— Чего тебе еще нужно, такая-сякая? — выбранилась капитанша.

— Хочу, чтоб ты мою индюшку, тобой убитую, взяла, съела и оною подавилась,—отвечала майорша.

За сим индюшкин труп, брошенный майоршею, полетел на двор капитанши, дабы оскорбить ее честь. Сама же майорша, учинив сие действие, немедленно возвратилась в дом свой, где и рассказала дочери о всех великих, только что случившихся событиях. Мать и дочь решились мстить убийце.

Дочь заметила, что индюшки твари безвредные для хлебных полей; иное дело лошади; а можно-де иметь опасение, дабы Нетерпигориха, по своему озорству, «шумству» (пьянству) и жестокосердию, не учинила лиха, еще более зловредного.

— Боюсь я,—говорила майоршина дочь,—что, взамен индеек, она потравит наше поле лошадьми, пустит целый табун. Надо, матушка, поглядывать.

— Само собой,—согласилась майорша.—Задушила она, будучи в «шумстве», моих индейских кур, а я застрелю лошадей ее из ружья, что после покойника осталось.

— Это не гоже, матушка, и опасно,—испугалась дочь.— В Угличе тебя засудят. Воевода-то Федор Спичинский не любит шутить; да и воеводский товарищ Василий Григоровский человек строгий.

Совет был принят. В полдень майорша пошла в свое яровое поле с голыми руками, без ружья,—пришла туда и ахнула: «Батюшки светы, лошадь Нетерпигорихи тут как тут!»

Возвратилась майорша в сельцо Игумново и, не заходя домой, бросилась к капитанше, говоря ей:

— Лошадь твоя в моем хлебе ходит. Выгони ее оттуда, и впредь не пускай, и хлебов не трави!

Капитанша в ответ ничего не сказала, токмо из дому своего на минуту вышла и возвратилась с тою самой индейскою курицей, которая недавно пала от ее кровожадной руки,—и сия птица послужила в руках капитанши оружием: оною индейскою курицей ударила она, капитанша, госпожу майоршу по голове, и тем ударом ее опростоволосила: сшибла чепец. Не удовольствуясь сим, капитанша вцепилась во власы своей противницы и ругала ее неблагопристойно. Две военные дамы начали битву:

Они в ручной вступили бой,

Грудь с грудью и рука с рукой,

Сия и эта на бок гнутся,

Скрутились—и...

И «сломила» капитанша, ибо крепостная женка Авдотья Ларионова подала своевременно сикурс. Она, явсь на поле сражения с навозными вилами, ударила оными госпожу майоршу; а капитанша причиняла ей же, т. е. майорше, удары на сей раз палкою, а не индюшкою.

Впрочем, сикурс был подан и майорше, к несчастию, слишком слабый и запоздалый. Прибежала девица Ирина, но прибежала без вил навозных и без палки, лишь с мольбою на устах о пощаде:

— Не убейте матушку до смерти!—умоляла она ярых супротивниц.

Тщетная мольба! Разъяренная женка Авдотья ударила и ее, девицу Ирину, теми же навозными вилами по руке и толкнула в грудь; причем она же женка и ее госпожа ругались заворно, понося честь не токмо вдовью, но и девичью... Словом, виктория была полная и достославная.

#### IV

Униженные правственнно и (что еще хуже) пострадавшие физически, возвратились обе Черкашениновы, мать и дочь, в свой дом. За сим составилс военный совет, на коем было решено прибегнуть, яко к единственной защите, к красноречивому перу подканцеляриста Романа Носова, который и написал следующее челобитье на гербовом листе (ценою в 1 копейку медью).

«Всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня императрица Елисавет Петровна, самодержица Всероссийская, государыня всемилостивейшая!

«Бьет челом Угличского уезда, Елоцкого стану, бывшего мавора, Михайловская жена, Подикарповича Черкашенинова вдова, Агафья Сампсоновна дочь—на капитаншу вдову Аграфену Сергееву дочь Борисовскую жену, Нетерпигореву, да на дворовую женку Авдотью, Ларионову дочь. А в чем мое прошение, тому следуют пункты:

1) Прошедшего июля 29 числа сего 742 года, поутру рано, я, именованная, пошла из дому своего во оржаное поле, для осмотра побитых сельца Игумнова оною вдовою Аграфеною в том ржаном поле, на лугу, Индейских кур моих, из которых и убила она, в то число, молодых до смерти троих, а других разогнала, незнамо куда. И из тех индеек принесла я из того поля мертвую индейку и, объявляя ее капитанше, бросила у двора ее и пошла в дом свой.

2) И того числа, в половину дни, увидев я в яровом поле в хлебе своем показанной капитанши лошадь и пришед из того поля, ей, капитанше, как она имелась в доме своем, говорила: «Что-б из того хлеба ты оную лошадь выгнала вон, и впредь не пускала, и того хлеба не травила!» И в то число она, капитанша, вышед из дому своего на улицу, и схватя оную мертвую индейку, которая ею, капитаншею, убита, ударила меня тою индейкою в голову и сшибла с головы чепец, драла меня за волосы и бранила м...рны. Да, выбежав из того ее дому вышепоказанная женка Авдотья, с навозными вилами, меня теми вилами, а оная капитанша палкою били и увечили жестокими побоями, который бой значится и поныне.

3) И оные несносные мне побои увидев, дочь моя родная, девица Ирина, и пришед, им — капитанше и женке ее—говорила, чтоб они меня не убили до смерти. И в то число оная женка Авдотья и ее, дочь мою, показанными навозными вилами ударила по руке и в грудь толкнула теми же вилами, который бой на дочери моей явствует-же и поныне. Також она, капитанша, и женка Авдотья бранили меня м...рно. И дочь мою женка Авдотья бранила м...рно. И теми оне, капитанша Нетерпигорева и женка ее, побоями меня и дочь изувечили, а бранью обесчестили напрасно.

«И дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение в Угличской провинциальной канцелярии принять, а бой на мне и на показанной дочери моей осмотреть и описать; а ее, капитаншу Нетерпигореву, которая ныне имеется в Угличе, во оную Провинциальную Канцелярию сыскав, допросить. А по женку ее Авдотью, Ларионову дочь, послать по инструкции, кого подлежит, и, сыскав, допросить же, И, по допросе, со оною капитаншею и с женкою, за бой и увечье, и за бесчестие мое и дочери учинить с ними, как вашего императорского величества права и указы повелевают; а ежели оне в чем будут запыраться, и в том их при допросе изобличу явным свидетельством.

«Всемилоостивейшая государыня! Прошу Вашего императорского величества о моем прошении решение учинить. К поданию надлежит в Угличскую Провинциальную Канцелярию...» и т. д. (писал подканцелярист Роман Носов. Сбор канцелярских пошлин взял канцелярист Яков Иванов сын Попов).

Воевода Федор Спичинский и товарищ его Василий Григорьевский описали побои, нанесенные господам Черкашениновым: оказалось «пятьдесят битых мест». Велено было сыскать и представить в Угличскую провинциальную канцелярию капитаншу Нетерпигореву и крестьянскую женку ее Авдотью Ларионову.

Вероятно, Угличские приказные ликовали в чаянии того, что дело, возникшее из-за убитых индюшек, примет значительные размеры и следовательно принесет «ребятишкам на молочишко»: фраза исторически верная и созданная канцелярским юмором, который, разумеется, не мог не потешаться над клиентами, подобными нашим «маворше» и капитанше.

Но радужные мечты Угличского приказного люда были вскоре разрушены. Владетельницы сельца Игумнова, «поговоря меж себя полюбовно», заключили мир и обратились в ту же Угличскую Провинциальную Канцелярию, 19 августа 1742 года, с нижеследующим челобитьем на высочайшее имя, т. е. на имя императрицы Елизаветы Петровны:

«Всепресветлейшая! (и т. д.) бьют челом: истица (такая-то) и ответчица (такая-то), а в чем наше прошение, тому следуют пункты: I. «Сего августа 11 дня нынешнего 742 года была челом я, истица, маворша Черкашенинова, вашему императорскому величеству, а в Угличской Провинциальной Канцелярии подала прошение на показанную вдову капитаншу в убое до смерти трех курят индейских и в бою, и в увечье, и в брани, и в бесчестии, и в прочем, о чем значится в том моем прошении имянно.

II. «А ныне я, истица, вдова маворша, не ходя с ней в суд, поговоря меж себя полюбовно, помирились, и впредь по тому делу друг на друга не бить челом и не искаться. Подлежащие по тому делу пошлины платить ей, ответчице.

«И дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было наше сие мировое прошение в Угличской Провинциальной Канцелярии принять. Всемилощивейшая государыня! Просим вашего императорского величества о сем нашем прошении решение учинить. К поданию подаскиг...» и проч. (подписались: по безграмотству майорши Черкашениновой — канцелярист Михайло Иванов сын Буслов, а по безграмотству капитанши Нетерпигоревой — отставной поручик Матвей Емельянов).

Воевода положил следующую резолюцию:

«Сообщить к делу, а пошланы, по указам, приняв, записать в приход». Пошланы взяты с ответчицы, капитанши Нетерпигоревой, двадцать с четвертью (20 $\frac{1}{4}$ ) копеек.

Итак, мир и тишина воцарились в сельце Игумнове. Капитанша и выше ее стоявшая чином «маэорша» прекратили споры, раздоры, «шумства» и непотребную брань. На долго ли? Не ведаем, ибо архивные документы молчат; мы же, в качестве летописца смиренного и немудрствующего лукаво, не дерзаем вдаваться в предположение, что в означенном сельце вновь возникла война, не менее законная и уважительная, чем та Семилетняя война, в коей участвовали бедные русские солдаты, подданные той же государыни, при которой возникла описанная здесь война за «трех курят индейских»... Мир их праху!

---

## ЗАПЛЕЧНЫЙ МАСТЕР

Пожар, бывший в Ярославле 25 июня 1768 года, произвел ужасное опустошение, о котором долгое время наши люди не могли вспоминать равнодушно. Из архивных дел видно, что «первое запаление последовало на питейном — ведерной и чарочной продажи — доме, и оттого сгорело: церквей 15, монастырей 2, домов: церковничьих 48, разночинцев беломестных 77, купеческих 194, харчевень 12, провинциальная канцелярия (со всеми делами), колодничий острог, магистрат, соляная контора, гостинный двор, торговая баня, 583 лавки», и проч. В огне погибли «из посадских 3 человека».

Вместе с людьми, церквами, домами и лавками, сгорели... вещи очень употребительные в доброе старое время, именно: кнуты, клейма для постановления штемпельных знаков и щипцы для вырывания ноздрей, словом — «снасти, подлежащие ко учипению колодникам вкзекуции». Хранитель этих вещей, некто поручик Семен Самойлов, просил Ярославскую провинциальную канцелярию, чтобы она «благоволила приказать все оные снасти искупить»; но канцелярия «искупить» не хотела, а потребовала означенные орудия из приписных городов: Романова, Пошехонья и Кинешмы. Романовская воеводская канцелярия на это требование отвечала, что у нее «тех инструментов, за сгоранием оных в бывший в Романове прошлого 1767 года пожар, ничего не оказалось». Пошехонский же воевода рапортовал, что «пять кнутов, три штемпеля и для вынимания ноздрей щипцы... отданы присланному из провинциальной канцелярии заплочному мастеру».

Вскоре явилась надобность и в самом мастере. Упомянутый поручик Самойлов (кстати заметим, что сей офицер был безграмотный: за него подписывались другие) донес своему начальству следующее:



«Велено мне взять находящегося здесь (в Ярославле) заплечного мастера, для наказания нескольких дворцовой вотчины крестьян; но он весьма тяжело болен, и, по старости его, совсем дряхл, и глазами худо видит, и затем не только свою должность исправлять, а из квартиры выдти не может».

— «Нет ли излишнего, сверхштатного заплечного мастера?»—спросила Ярославская провинциальная канцелярия Московскую розыскную экспедицию, объяснив ей, что в приписных городах множество народу сидит ненаказанного, единственно потому, что палач стар, слаб зрением, хорошо сесть не может...

Шли недели, шли месяцы, Розыскная экспедиция хранила молчание.

Провинциальная канцелярия негодовала на такую медленность.

Уведомление, наконец, было получено: заштатного палача нет, а штатного отправить в Ярославль нельзя, «надобен».

Что делать?

А тут еще другая беда. Кроме поручика Самойлова, Пошехонский воевода неотступно просил все о том же — о присылке заплечного мастера. Этому воеводе Московская губернская канцелярия велела распорядиться, по закону, над несколькими преступниками, — а как тут распорядиться?—не самому же кнутобойничать! Воевода три раза требовал падача для учинения наказания беглому рекруту Григорию Кузьмину да крестьянину Ивану Сергееву с товарищами: за разные кражи и разбой их присудили к кнуту, вырезанию ноздрей, «постановке стемпелями знаков», и затем к ссылке в Нерчинские заводы, в тяжкую работу. И вдруг—преступники убежали. «Против 20 числа июля» (1768), писал Пошехонский воевода, «означенные колодники, воры разбойники, да еще и смертоубийцы: Киприан Потапов, Семен Матвеев, Матвей Андреев, да товарищ их Иван Миронов, да разных вотчин беглые помещицки крестьяне—четыре, а всего 10 человек, содержась в тюремной избе, пролома, по ветхости, во оной избе одну половную тесницу, и подрывся ночным временем под стену, вылезши, — все те 10 человек из той тюремной избы в остроге, у коего одно бревно, которое снизу, все подгнило, выломали, и из того острогу учинили утечку». Впрочем, из них пять человек, в том числе «смертоубийца» Киприан

Потапов, были вскоре пойманы; но «товарищ его, Иван Сергеев, да вышезначашиеся беглые помещичьи крестьяне бежали, хотя через штатного поручика Плохово, с командою, и близ живущими обывателями многолюдственно чинены поиски...» «Того ради, заключил воевода, потребно, чтобы для учинения означенному разбойнику и тюремному утекацу, пойманному Григорию Кузьмину, надлежащей «кваскуци, заплечный мастер прислан был, дабы ему более праздно не содержаться, а паче, по ветхости тех тюремных изб и острога, также и другие с ним содержащиеся колодники не могли бы учинить утечки».

Вследствие этого писания, последовал ответ, что заплечного мастера нужно сыскать «поблизости», в Костромской или в других провинциях... «А как в Ярославской провинциальной канцелярии почти всегдашняя в заплечном мастере надобность, то о вызове такового в пристойнем городе (Ярославле) в здешних местах публиковать».

И вот на всех уличных перекрестках прибиты были следующие публикации:

«Объявляется по всенародно известие. Не пожелает ли кто из вольных людей в заплечные мастера и быть в штате при Ярославской провинциальной канцелярии, на казенном жалованье? И если кто имеет желание, тот бы явился в канцелярию в самой скорости».

Между ярославлцами не оказалось палача-мастера. Это видно из дальнейших распоряжений посводской канцелярии. Она составила протокол о том, что «хотя через публику и были вызываемы к должности палача вольные люди, но таковых не является. А в уложении 21-й главы, в нижеписанных пунктах напечатано, в 96-м: «в палачи на Москве выбирать из вольных людей, и быть им в палачах с поручками»; в 97-м: «чтобы тех палачей выбирать с посадов и уездов». На оный пункт, указанный 185-го года, в книге написано: «Мая де в 10-й день, бояра, слушав докладные выписки, приговорили: послать великаго государя грамоты к воеводам, чтобы они в заплечные мастера взяли тех городов из посадских людей, которые волею своею в тое службу быть похотят; а буде охотников не будет — из посадских людей велеть выбирать, из самых из молодших, или из гулящих людей, чтобы во всяком городе без палача не было».

Приказали: «в Ярославский магистрат сообщить промерзорию, и требовать, чтобы оный, в сходство указанной 185 года книги, ко определению в заплечные мастера из купцов выбрав, прислал; ибо тот заплечный мастер должен быть в штатном жалованье по должности его в службе. И если в скорости оный прислан не будет, то о понуждении того магистрата куда надлежит представиться».

Что сделал магистрат, об этом нет сведений в архивном деле. Знаем только, что магистрат, с своей стороны не поторопился исполнить означенное требование провинциальной канцелярии, быть может, с целью сохранить честь ярославского купечества. Между тем, провинциальная канцелярия вновь потребовала, чтобы палач был выбран «в скорости», на этот раз «из посадских молодых или гулящих людей». За неисполнение сего воевода грозился пожаловаться «главной команде»...

Как было устранено это препятствие исполнению кары закона, нам неизвестно; но, конечно, ярославские и пошехонские криминалисты несколько успокоились, когда Московская розыскная экспедиция прислала им шипцы со штемпелем и 30 кнутов. Первые стоили 1 руб. 20 коп., а последние по 20 коп. каждый. Деньги за них были уплачены немедленно. За орудиями казни, вероятно, последовал приезд и самого палача, к утешению сердобольного поручика Самойлова...

12 октября 1866.  
Ярославль.

(Напечатано в журнале «Русский Архив» 1868 г.).

«СЕВЕРНАЯ ПОЧТА»,  
ИЛИ «НОВАЯ С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГАЗЕТА»  
В ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ

*(Архивно-библиографическая заметка)*

В конце 1809 года император Александр I повелел, чтобы при Министерстве Внутренних Дел издаваемы были особенные ведомости, под заглавием: «Северная Почта», или «Новая С.-Петербургская газета». Любопытно проследить судьбу этого издания в Ярославской губернии, что мы и сделаем, на основании архивных документов.

В программу «Северной Почты» входили, между прочим, известия: «о каковом-либо добродетельном подвиге, описание какого-нибудь происшествия, достойного сведения публики, необыкновенное происшествие в натуре (sic), с подробным оного описанием, открытие какого-нибудь полезного заведения, установление фабрики, распространение хлебопашества или какого-нибудь другого хозяйственного предмета, о ярмарках и о происшествиях, на оных случающихся, и тому подобные сведения, паче же до народной промышленности, торговли и нравственности касающиеся».

Ярославским губернатором в то время был князь Михаил Николаевич Голицын, брат министра духовных дел, знаменитого при Александре I князя Александра Николаевича Голицына, несколько раз изменявшего свои политические и религиозные взгляды. Впрочем, следует заметить, что не ему принадлежала мысль (во всяком случае очень полезная) об издании «Северной Почты»: эту мысль следует отнести к почину высокообразованного Осипа Петровича Козодавлева, который рассчитывал оживить свою газету посредством официальных корреспондентов (губернаторов, предводителей дворянства, земских исправников и городничих), но, к сожалению, жестоко ошибся, большинство этих властей решительно не уразумело, чего хочется Козодавлеву. Допустим, что исправники и городничие были люди отменно храбрые в борьбе с внешними и

внутренними врагами, но они боялись печатного слова и мало «упражнялись» в оном; местное же дворянство не особенно интересовалось газетами.

Так, например, Мышкинский городничий Языков донес, что «по силе предписания, приложенное объявление (о «Северной Почте») живущим здесь (в городе Мышкине) всем благородным дворянам, купечеству и прочим (?) от меня объявлено, но на сие мое объявление, как благородные дворяне, так купечество и прочие жители, что они желают ли оные (ведомости) получать или нет, о том мне никто не дал знать. А о прочем прописываемом: о заведении и установлении фабрик, то во всем непременно исполнение чинено быть имеет без всякого упущения» и т. д.

Не был счастливее и Романовский городничий, коллежский ассессор Зуев. Тщетно он убеждал всех Россиян во вверенном ему городе подписаться на «Северную Почту»: ни один не подписался. Борисоглебский магистрат прибегнул даже к суровым мерам, командировав своих сотских с требованием «о получении вышеписанной газеты и вообще (?) учинить деятельное и неопустительное исполнение», но, увы, без желаемых последствий. Ратуша ныне безуездного города Петровска отрапортовала, что «на получение каких-либо газет из Петровских жителей никого желающих не оказалось». Любимский городничий Василий Филиппович донес, что предписание губернатора «о происшествиях при всяком их случае, будет незабвенно». Однако и этот высокий слог в деле подписки на «Северную Почту» несколько не помог. Даниловский земский суд возложил на своего председателя, т. е. земского исправника, коллежского ассессора Анучина, специальную миссию «посетить все дворянские усадьбы, дабы благородные дворяне учинили подписку на «Северную Почту», но желания на получение сей газеты никто опять-таки не изъявил.

В интересах библиографии нет ни малейшей надобности повторять одно и то же, т. е. отказы на подписку министерской газеты. Даже в губернском городе Ярославле, как видно из донесения полициймейстера Боярского, подписка не сопровождалась успехом. Наконец, в городе Ростове, «после многократных усилий», полициймейстеру Голохвастову удалось привлечь купца Ивана Мокроусова подписаться на «Северную Почту», даже в двух экземплярах. Извещая об этой победе, Голохвастов рапортовал князю Голицыну: «О добродетельных же происшествиях (sic)

известия к вашему сиятельству доставляемы быть имеют». Нашелся также подписчик в городе Борисоглебске, именно купец Никита Селиверстов, но «добродетелей в сем городе не оказалось». Следует ли винить за то администрацию Ярославской губернии? Разве от нее зависело творить «добродетельные поступки», для наполнения ими страниц «Северной Почты».

Наконец, все было найдено: и чрезвычайные происшествия оказались, и поступки, «выражавшие в крайней степени добродетель», тоже обрелись. Мы не желаем шутить. Ничего, кроме благодарности, не заслуживает, например, следующее объявление, доставленное в «Северную Почту» Ярославским губернатором, об одном замечательном уроде женского пола<sup>1</sup>.

«Престарелая бедная мещанка, живущая (в Ярославле) единственно своими трудами, содержит у себя из человеколюбия 22 года несчастную девицу, с младенчества в странном уродстве находящуюся. Лицо сей девицы представляет совершенную женщину: оно полное, приятное, имеет правильные черты, цвет здоровый, с большим румянцем, глаза свежие, показывающие здоровое сложение, шея короткая, туловище самое малое, однако же имеет небольшие груди, руки и ноги весьма малы, кривы, сухи и могут иметь слабое движение только некоторыми пальцами. Матрена (имя сей девицы) лежит без движения на спине, не имея помощи от рук и ног, 44 года, но кажется гораздо моложе, и помещается в небольшой корзине. Она разговаривает с приятностью и удовольствием; при самом жалком ее положении, виден в ней нрав приятный и более всесильный. Назад тому 10 лет она могла называться красавицей. Память имеет острую, знает в году все праздники, показывает, который когда бывает, упражняется в молитве и благоговении, знает наизусть многие молитвы. Родилась она в деревне Ярославского уезда от крестьянина; на 15-м году лишилась матери. После того, спустя 7 лет, отец, не в состоянии будучи более содержать ее в таком положении и имея семейство, решился вывезти ее на дорогу, в надежде—не возьмет ли кто? Добродетельная женщина, мещанка, имевшая у себя прежде расслабленную старуху, за которой ходила 7 лет, по смерти

---

<sup>1</sup> Приводим везде по архивным рукописям, которые могли быть напечатаны в неимеющейся у нас «Северной Почте» и с некоторыми изменениями.

ея, узнав о сей несчастной, выпросила у отца к себе Матрену, любит ее, как дочь, содержит в совершенной чистоте, кормит ее с собою одной ложкой, и не только ни мало не тяготится, но, с прискорбием чувствуя склонность (преклонность?) лет, опасается, чтоб, в случае болезни и смерти не оставить бедную без призрения... О, редкое человеколюбие! Творение, без малейшего движения лежащее на спине, не жалуется ни на какую боль, не имеет пролежней, сохраняет всю свежесть здорового человека, не скорбит о своем положении, но в кротости, без ханжества и с бодростью духа благодарит творца, ее милующего, как редкость в природе!»

Автором этой статейки был Ярославский полицеймейстер Алексеев. В нем, надо полагать, билось сердце доброе, хотя и не особенно опытное «с литературной стороны». Канцелярия Ярославского губернатора признала необходимым сделать следующее дополнение к упомянутой статейке: «Впрочем, когда сия несчастно-рожденная лишится настоящей своей покровительницы, или сия последняя будет не в состоянии далее ее поддерживать, в таком случае здешнее правительство не оставит первую без призрения». Так и случилось: в несчастной женщине и ее благодетельнице, вследствие этой филантропической рекламы, напечатанной в «Северной Почте», приняли участие некоторые высокопоставленные особы и, между прочим, супруга ярославского, тверского и новгородского генерал-губернатора, принца Георгия Гольштейн-Ольденбургского, великая княгиня Екатерина Павловна. В пользу карлицы-урода собрано было более 1000 рублей.

Наконец, мало-по-малу стали появляться «примеры добродетелей». Это мы видим из следующего случая: Мышкинский земский суд донес губернатору, что «в минувшем декабре месяце (1809 г.), явясь в Мышкинское отделение для приема рекрут присутствие, помещика Ивана Волинского, дер. Алпатова, крестьянин Никита Марков Щеголев, приехавший из С.-Петербурга на переменных лошадях, обратился с чрезвычайною просьбой, что он желает поступить в военную службу, вместо поступающего в оную от вотчины брата его родного, из любви и сожаления к нему с женою и малолетним сыном, для чего он нарочно и из С.-Петербурга с поспешностью и чтоб предупредить поставку брата его, ехал, который в оную уже и поступил, за что благородное здешнее собрание, в награду его чувствительности,

пожертвовало ему 100 рублей, о каковом его, Щеголева, сам о в о л ь н о м собою пожертвовании, вместо брата его, вашему сиятельству земский суд сим и доносит». Из этого рапорта губернатор князь Голицын (конечно, не без сотрудничества своего секретаря) составил корреспонденцию для «Северной Почты» и доставил ее О. П. Козодавлеву<sup>1</sup>.

Город Рыбинск позавидовал городу Мышкину: в последнем явился добродетельный человек, а в Рыбинске такового не оказалось. Полициймейстер Голохвастов старался доставить материалы для «Северной Почты», но тщетно: добродетели не было, а следовательно и «публиковать» о ней не представлялось возможности. Но, к счастью, 7 сентября 1810 г. явились к нему, рыбинскому полициймейстеру, сразу четыре добродетельные персоны; это были крестьяне Рыбинского уезда, вотчины г. Глебова, дер. Липняги, Иван Никитин, вотчины гр. Салтыкова, дер. Муромца, Федор Егоров и Николай Иванов и, наконец, рыбинский посадский Петр Васильев Пошехонов, которые не воспользовались найденными ими на улице деньгами, в количестве 325 руб., а были до того добродетельны, что представили эту находку на благоусмотрение полицейского начальства. Козодавлеву, для его газеты, доставлено было известие и о таком добродетельном поступке.

В древнем городе Ростове также все обстояло благополучно: ни особенно выдающихся добродетелей, ни чрезмерно-ужасающих пороков, по самым тщательным полицейским розыскам, не было обнаружено...

Козодавлев имел нужду в фактах. Но что можно было извлечь из фактов, доставленных (скажем для примера) Любимским земским судом: «Заведений, фабрик и распространения хлебопашества не замечается; а также на бываемых ярмарках в селах Пречистой, Козе, в Предтече, что в Осеку, и в Предтече на Соши, происшествий, заслуживающих внимания, не произошло, а если бы таковые произо-

---

<sup>1</sup> При сообщении от 15 января 1810 г., № 270. Заметим, кстати, что Ярославский губернатор, великолепно владевший французским разговорным и письменным языком, писал по-русски так плохо, с такими грубыми ошибками, что современный русский грамотей невольно приходит в ужас, читая архивные княжеские писания по-русски. В то же самое время его сосед по губернии и современник, Владимирский губернатор, князь Иван Михайлович Долгорукий, упражнялся в русской поэзии не без успеха.—Л. Т.



шли, и заведения были бы заведены (sic), как-то фабрики и распространение хлебопашества, сверх известного начальству, то-бы непременно вашему сиятельству сей суд имел честь донести в то же время?» и т. д. Или (приводим другой пример) мог ли Ярославский губернатор сообщить товарищу министра внутренних дел, что в Ростовском уезде, касательно подписки на «Северную Почту» далеко не все обстоит благополучно? Разве Козодавлеву понравилась бы следующая выдержка из донесения того же земского суда: «По справке в сем суде оказалось, что, во исполнение прежнего вашего сиятельства предписания и по резолюции сего суда, ко всем господам благородным дворянам, не пожелает ли кто из них подписаться на получение «Северной Почты» или «Новой С.-Петербургской Газеты», посланы были в округу нарочные, по инструкциям; однако никто из благородных дворян, через данные от себя подписки, получать помянутой газеты желания не изъявил, в здешней же округе (уезде) помещиками новых заведений к распространению промышленности и к удобрению землепашества (sic) равно и ничего к хозяйству относящегося, во весь прошедший год, по новой методе заводимо не было» и т. д. Получая подобные донесения, кн. Голицын ограничивался лаконической пометкою: «к делу», или «Принять к сведению», что, конечно, приводило в содрогание его секретаря Крылова, человека грамотного и немало потрудившегося в Ярославской семинарии при изучении грамматики Ломоносова, которая даже господ губернаторов обязывала быть более осторожными в деле орфографии...

Но если, с одной стороны, ростовское дворянство не доставляло ни малейшей пользы «Северной Почте», упорно отказываясь от подписки на газету, и не приступало к улучшению своего хозяйства, то, с другой стороны, дворянство Даниловского уезда действовало несколько иначе, и князь Голицын с удовольствием получил следующий рапорт местного земского суда: «Сей суд, руководясь предписаниями вашего сиятельства касательно издаваемой при Министерстве Внутренних Дел «Северной Почты», почитает приличным ко внесению в оную нижеследующий хозяйственный предмет (sic), Даниловский помещик, отставной штаб-капитан и кавалер Дмитрий Богданович Философов, еще в 1806-м прошлом году приобретши одно зерно голого овса для испытания, способен-ли сего рода хлеб к произрастанию в здешнем климате, посадил оное на открытом воз-

духе в такое время, когда и прочий яровой хлеб высевался в обыкновенно, а не с излишеством удобренную в саду своем грядку; от зерна того произошел грозд, имеющий 30 стеблей, с которых снято совершенно вызревших 1200 зерен, из коих по несколько сообщил он, господину Философову, своим знакомым, известя их о столь изобильном приплоде от одного зерна, им полученном. Оные, следуя его примеру, сажали тот овес сначала в грядки, а потом, высевая обыкновенно с прочими яровыми семенами в полях, заметили, что продукт сего рода к произрастанию здесь, по климату и по качеству земли, весьма удобен; доказательно сие тем более, что разведено оно по здешней округе от одного зерна в четыре года до семи четвертей. О чем вашему сиятельству сим земский суд почтительнейше доносит». Это известие князь Голицын не медля сообщил в «Северную Почту».

Не знаем, явилось ли на страницах официальной газеты любопытное донесение мышкинского исправника, лейб-гвардии прапорщика Опочинина. Он рапортовал так:

«В минувшем Сентябре месяце сего года Мышкинской округи, вотчины господина полковника и кавалера Михаила Петровича Селифонтова, при сельце Артемьеве, усмотрено мною вещество, из пруда вытасканное, по приказанию его, г. полковника, людьми из тины, похожее на вату, которое сходствует много с настоящею выделанною ватою, так что ничем почти одна от другой не различается, о чем к припечатанию в «Северной Газете» (sic) вашему сиятельству на рассмотрение сим почтеннейше и репортую».

Губернатор впадал в недоумение: какое же такое вещество, сходное с ватою, может быть обнаружено в Мышкинском уезде? В здравом ли уме и в твердой ли памяти обретается бывший лейб-гвардеец Опочинин? Ведомо ли ему, что хлопок, из коего делается вата, есть произведение теплого климата, а отнюдь не холодного Мышкинского уезда? Понятно, прежде чем статейке дан был надлежащий ход, князь М. Н. Голицын сделал запрос. «Не оставьте донести мне без замедления, какой точно вид составляет вещество, вытасканное из пруда в сельце Артемьеве и из каких частей оно состоит, т. е. из земли, глины, корней, травы и тому подобному? В чем именно сходствует оно с настоящею ватою, и не может ли оно служить, по надлежащей обработке или без оной, к каковому-либо употреблению? Где оно теперь находится, и можно ли из этого пруда достать его

еще какое-либо количество? Одним словом, дайте мне о сем веществе полное понятие и сведение». Исправник рапортовал, что «вытасканное из пруда в сельце Артемьево вещество имеет сначала зеленый, а от солнечного зноя, по созрении, белый вид; оно есть из тины, на поверхности воды, в том пруде находящейся; а чтоб яснее видеть, в чем оно сходствует с настоящею ватой и может-ли служить к какому употреблению, для того часть сего вещества при сем вашему сиятельству представляю, какового довольное количество находится в доме г. Селифонтова; в пруде же том ныне боле не осталось, а в предбудущее время можно надеяться, что и еще будет довольное количество». Губернатор не преминул сообщить О. П. Козодавлеву статейку «об оной игре природы». Вероятно, и эта, так сказать, подзрительная статейка была напечатана. Быть может, и в ней заключалась частичка правды. Вопрос этот подлежит решению господ натуралистов, а не ведению библиографа и архивиста.

Вообще в Мышкинском уезде накапливалось материалов для «Северной Почты» более, чем во всех остальных уездах Ярославской губернии. Очевидно одно из двух: или тамошняя земская полиция возымела наклонность к литературным упражнениям, повинаясь воле начальства, или же Мышкинский земский суд не опускал из виду даже «происшествий в натуре», тогда как другие земские суды думали, что «натура» может существовать и без корреспонденции в «Северной Почте», хотя первая и входила в программу последней. Так, например, приводим два донесения означенного суда: 1) «В течение минувшего Сентября сего 1810 года первой половины продолжались в здешней округе морозы, а в последней наступила столь ясная, тихая и ведренная погода, которая к окончанию жатвы и уборки землепашцам с полей хлеба, а в некоторых местах и сена, много способствовала, каковых времен осени (sic) давно уже жители припомнить не могут, о чем, для припечатания в «Северной Газете» (sic!) вашему сиятельству на рассмотрение земский суд сим почтительнейше и доносит». 2) «Минувшего Сентября 10-го числа сего года, в столь необыкновенное и опозданное время, Мышкинской округи, казенной Масловской вотчины, над деревнею Желониной последовал сильный громовый удар, от которого стоявший в огуменнике еловый кол расшиблен в мелкие части. Впрочем селению и жителям оного никакого вреда не причинено, о чем

вашему сиятельству, для припечатания в «Северной Почте», земский суд сим почтенейше и репортует».

Подписка на 1811 год несколько увеличилась, хотя, судя по нашим документам, пренумерантов было все-таки не более 18-ти на всю Ярославскую губернию. Козодавлев благодарил князя Голицына следующим официальным письмом: «Читая «Северную Почту», ваше сиятельство, без сомнения, заметить изволили, с какою точностью помещаются в оную доставляемые вами известия. Но как я таковых давно от вас, милостивый государь мой, не имел удовольствия получать, то и побуждаюсь сей предмет возобновить в памяти вашей, оставаясь уверенным, что вам приятно будет, посредством постоянного сообщения мне разных для «Северной Почты» статей, приобрести новое право на мою к вашему сиятельству признательность и вместе с тем содействовать к тому, чтобы случаи, до вверенной вам губернии касающиеся, известны были публике...»

*Л. Н. Трефолов.*

(Напечатано в журнале «Русский Архив»—  
1899 год, книга третья).

## МОНТИОНОВСКИЕ ПРЕМИИ В РОССИЙСКОМ ВКУСЕ

Любимец императора Александра I, первый (по времени) министр внутренних дел и член того комитета, который назывался, в шутку, «комитетом общественной безопасности», граф, впоследствии князь, Виктор Павлович Кочубей, в начале 1805 года, имел несчастье сделать калекою одного крестьянина Моложского уезда, Ярославской губернии. Сколько нам известно, несчастье это произошло от слишком быстрой езды по стогнам Петрограда. Экипаж, мчавшийся с быстротою молнии, изуродовал прохожего.

Граф был опечален несчастным случаем. Проникнутый гуманными чувствами, Кочубей решился хоть чем-нибудь загладить вину своего рьяного, а может быть, и пьяного кучера. С этой целью он написал тогдашнему ярославскому губернатору, князю Голицыну (брату известного деятеля 20-х годов) следующее письмо:

«Милостивый государь мой, князь Михаил Николаевич!

Чсть имею препроводить при сем к вашему сиятельству тысячу рублей государственными ассигнациями, прося вас, милостивый государь, взнестъ эти деньги в Ярославский Приказ Общественного Призрения. Я предоставляю сумму сию в пользу Моложского уезда, села Воскресенского, помещика майора Герасима Мицкого, крестьянина Ивана Андреянова, который по несчастному приключению, здесь изувечен,—с тем, чтобы он ежегодно получал узаконенные с сей суммы проценты до смерти своей; а по смерти его, я предоставляю себе право, по уведомлении меня тогда о сем от Приказа, сделать о сих деньгах такое распоряжение, какое за благо признаю.

Самого крестьянина Андреянова я снабдил видом, с коим он явится в Ярославский Приказ Общественного Призрения, для получения в свое время, следующих ему денег.

Чсть имею быть с совершенным почтением, и проч.

*Граф В. Кочубей».*

13 января 1805 года.

Кочубей ошибся, думая пережить калеку; напротив, тот пережил его, и ровно 33 года пользовался процентами с означенной суммы, по 50 рублей асс. в год. Наконец, волею божиею, и он умер, оставив после себя сына Василия. Последний думал было, как и отец, быть Кочубеевским пенсионером; но ему отказали на том основании, что «печальное событие» случилось не с ним, Василием, а с его родителем, следовательно, он тут не при чем. Приказ Общественного Призрения обратился к министру внутренних дел с вопросом: какое назначение дать этим деньгам?

Завязалась, как и водится, длинная переписка. Министр осведомился у сына жертвователя, князя Василия Викторовича, что делать с капиталом и процентами. Князь уведомил, что он спрашивал приказания у своей матери, «к которой непосредственно относится настоящее обстоятельство», а княгиня поручила обратить деньги на богоугодные дела, не означая на какие именно. Приказ желал сам распорядиться; но министр Перовский учредил нечто вроде Монтюновской премии «за добродетель», предписав, в 1843 году, Ярославским властям следующее:

1) Внесенный покойным князем Виктором Павловичем Кочубеем капитал, тысячу рублей, наименовать «Кочубеевским».

2) Проценты, причитающиеся со дня смерти Андреянова, т. е. с 19-го Декабря 1838 года по 1-е Января 1843 года,—присоединить к капиталу.

3) Затем, с 1843 года, выдавать проценты ежегодно, в день ангела жертвователя, одному из беднейших помещичьих крестьян Ярославской губернии, «отличающемуся справедливостью и честностью, а также примерным попечительством о родителях и семействе и точным исполнением христианских обязанностей».

4) Выбор таких достойных лиц, с переменою их каждый год, предоставить усмотрению губернатора.

Известившись о распоряжении министра, Ярославская администрация задалась вопросом: когда князь Кочубей бывал именинником? В Ярославле никто не знал этого. Из Петербурга отвечали официально, что «день ангела покойного князя праздновался 11-го Ноября». Таким образом определилось время, в которое добродетельные крестьяне должны были получать премию; но, далее, встретился другой, более существенный, вопрос: кто же оценит добродетель, кто будет искать ее в бедных избах? Становые

пристава?.. Увы, этот народ (соображали тогда губернские власти) слишком ненадежен: они, пожалуй, вместо Аристидов отрекомендуют Фальстафов. Сами помещики?.. Но ведь дело касается их же собственных крестьян, ergo и здесь нельзя ожидать беспристрастия, потому что каждому захочется похвастаться образцами добродетели. Господа могут затеять между собою тяжбу и споры за чистоту нравов своих крестьян... Долго Ярославская администрация ломала себе голову над мудреным вопросом; наконец ее вдохновила счастливая мысль.

— А предводители-то дворянства? Это их священная обязанность решать, кто добродетелен и кто страдает пагубными пороками, свойственными всему человечеству, худо-благо и даже высоко-родному.

Так и решили: снести с уездными предводителями дворянства, «потому что помещичьи крестьяне состоят от них в зависимости, и о быте их они, господа предводители, имеют более подробные сведения».

Вот и началось искание добродетели по всем уездам Ярославской губернии. Едва ли когда-нибудь в нашем любезном отечестве бывал подобный случай. Обыкновенно гоняются за преступниками, а тут гонялись за добродетелью,—искали ее для выдачи премии. К сожалению, хотя в принципе и было решено устранить становых приставов от такой погони, не свойственной служебным их обязанностям, но вскоре горькая действительность обнаружила, что без этих чиновников ничего не сделаешь, что только они и знают, где скрывается скромная добродетель и где царствует презренный порок. Уездные предводители дворянства запросили земских исправников, а исправники предписали тем же становым приставам искать добродетельных мужиков. Происходили смешные сцены. Мужика требовали в стан. Бедняк трепетал от ужаса, полагая, что его высекут; но, вместо розог, его встречал с ласковой улыбкой г. становой и объявлял: «Ты, братец, добродетелен, вследствие чего и стоишь награды!» Мужик падал на колени, предполагая, что награда будет обыкновенная в то время—на конюшне, и умолял о милосердии. Становой называл его, опять с ласковой улыбкой, дураком и, отправив домой, рапортовал исправнику об отыскании добродетельного крестьянина, заслуживающего премии. Иногда мужиков вызывали к себе на аудиенцию писцы предводительских канцелярий за тем, конечно, чтобы высказать великую

истину о добродетели, рано или поздно торжествующей и получающей достойную награду.

Первый пример добродетели оказался в Моложском уезде. Это был крестьянин деревни Вашковой, вотчины г-жи Толбугиной, Максим Савинов. Его рекомендовал Ярославскому Приказу Общественного Призрения местный предводитель дворянства, г. Соковнин. Архивные документы, которыми я пользуюсь, описывая эту историю, ручаются, что г. Соковнин не обладал даром красноречия и любил алкоголь: в своем отношении, за № 241-м, от 15-го Октября 1843 года, он выразился очень сухо, что вышеозначенный Максим добродетелен, — и все тут.

В Ярославском уезде становые пристава обшарили все избы: но — великий боже! — там не оказалось ни одного праведника. Факт тем более прискорбный, что и в грешном городе Содоме, как известно читателю, обретался благочестивый Лот; в Ярославском же уезде, назад тому около 35-ти лет, не было ни одного Лота. Предводитель дворянства, г. Палыцын, грустно заметил: «По разведыванию моему, не открыто ни одного крестьянина с качествами (?), который был бы достоин получения процентов и имел бы вышеупомянутые качества...»

Романовский уезд, благодаря тщательным поискам исправляющего должность предводителя дворянства, дворянского заседателя г. Тевяшева, находился в более счастливых условиях. Там жил один добродетельный Сатир. Читатель спросит: «Какие Сатиры в Романовском уезде? Там, за неимением лесов, давно уже срубленных, негде жить Сатирам». Но Сатир, о котором идет речь, назывался не просто Сатиром, а Сатиром Ивановичем. И жил он, бедняк, в деревне Терине, принадлежавшей подполковнице Прасковье Ивановне Скульской, и отличался он плодородием, имел девять чад малолетних и двух (sic) престарелых родителей, «которых, при исправном платеже казенных и других повинностей, кормил собственными своими трудами; в неутомимом занятии сельскими работами отличался преимущественно от прочих крестьян госпожи своей; был примерно во всем справедлив и честен; праздничные дни посвящал на точное исполнение христианских обязанностей», и т. д.

И Ростовский уезд скрывал в себе добродетельного крестьянина г-жи Кучиной, Николая Алексева. Г. предводитель дворянства Протасьев несколько игриво отнес к



признакам «добродетелей» и пожар, разоривший означенного мужика. Вообще гг. предводители, по вине своих секретарей и писцов, впадали в ошибки против орфографии и логики. У них, как у одной из гоголевских барынь, Авдотья обращалась нередко в Обмокни. Только по свойственной мне, может быть, излишней, скромности я не привожу здесь многочисленных примеров безграмотности «передовых людей 40-х годов». Впрочем, по всей вероятности, эти передовые люди руководствовались соображением, что там, где все дело состоит в искании добродетели, посторонними предметами, в том числе и орфографией, заниматься не следует.

Пошехонский уезд также имел своего Лота, похожего и на многострадального Иова. Звали его Парменом Ивановым. Он был крестьянин деревни Соколова, вотчины гвардии поручика Окулова. Старший сын Пармена ушел под красную шапку; другой сын, калека, сидел сиднем без ноги; остальные дети были малолетки; кроме их, Пармен кормил своих внучат, сыновей солдата. Предводитель дворянства Ратаев писал, что «означенный Пармен Иванов поведения трезвого и занимается трудолюбием, но несчастлив во всех своих предприятиях и в хозяйственном быту: не проходит ни одного года, чтоб у него не пала корова или лошадь, да при том—неурожай хлеба. Одним словом, он находится в бедном состоянии, единственно неутомимыми трудами своими кормит многочисленное семейство и исполняет государственные потребности...»

Между тем, наступил день раздачи премий. 11-го ноября 1843 года исправляющий должность губернатора, вице-губернатор, явился в Приказ и велел секретарю читать справку о людях, сияющих добродетелью. Секретарь доложил, что таковых во всей Ярославской губернии оказалось четверо, именно такие-то.

Вице-губернатор, выслушав доклад, произнес краткую речь, которая сохранилась в журналах Приказа, для назидания потомства.

— «Я не знаю лично никого из крестьян здешней губернии, который соединял бы в себе похвальные качества, указанные в предписании г. министра внутренних дел. Мне неизвестно, кто достоин награды из капитала князя Кочубея; но я совершенно уверен в справедливости отзывов гг. предводителей об указанных ими крестьянах, и нахожу нужным выдать премию...»

— «Кому же именно-с?»—спросили члены Приказа,—отзывы предводителей равносильны».

— «Действительно, равносильны,—согласился вице-губернатор.—Таковое обстоятельство может встретиться и впредь, а потому я признаю нужным кинуть жребий для нынешней награды, а на будущее время установить между уездами очередь».

Члены Приказа почтительно поклонились в знак согласия. Вице-губернатор, по словам цитируемого мною документа, изобразил своею особой слепую богиню счастья, Фортуну: скатан из бумаги четыре билета, он вынул один из них с именем добродетельного Пошехонца Пармена Иванова. Премия, 11 руб. 95 коп., была доставлена ему через предводителя. За Пармена в получении денег, вследствие его безграмотности, расписался некто г. Краузольд, коллежский регистратор. Замечу кстати, что все добродетельные крестьяне, все поголовно, оказались безграмотными: обстоятельство несколько не унижающее их, ибо и сами раздаватели премий были, как говорится по-немецки, schwach<sup>1</sup> на счет грамматики, хотя и изучали бессмертное творение Николая Ивановича Греча.

На третий день после того, как ярославский вице-губернатор сыграл, не без грациозности, роль Фортуны, получено было в Приказе радостное известие, что в Рыбинском уезде также обитает добродетель, олицетворяемая молодым крестьянином г. Яворского, Иваном Филипповым. Предводитель Голохвастов сообщал: «Иван Филиппов содержит больную мать с совершенным к ней почтением, четырех малолетних сестер и брата». Приказ включил и его в список «добродетельных».

Мышкинский предводитель Травин отрапортовал губернатору, в том смысле, что тамошний уезд страдает, по неимению в нем добродетелей. Он, г. Травин, требовал от Земского Суда отыскать добродетельного крестьянина тогда-то и тогда-то, за такими-то №№, но Земский Суд и «по сие время не делает мне никакого отзыва, почему таковое молчание представляю на распоряжение Вашего превосходительства». Затем г. Травин (27 сентября 1844 года, за № 404) дал знать Приказу, что «при объявлении благородным дворянам Мышкинского уезда отношения г. началь-

<sup>1</sup> schwach—плохо (прим. ред.).

ника губернии, за № 3196-м, никто из них таковых крестьян, которые были бы достойны получения процентов, не объявил...» О, дети Мышкинских крестьян!—воскликнул я в ужасе.—Вот каковы были ваши родители...

Не обошлось и в Любимском уезде без вмешательства Земского Суда в оценку нравственности крестьян. Только с помощью исправника, предводитель г. В. Н. Скульский нашел добродетельного крестьянина г-жи Нееловой, Ивана Григорьева, патриарха, имевшего пятнадцать человек детей. Овладело г. Скульским страстное желание видеть сего патриарха. «Я (писал предводитель) истребовал Григорьева к себе для личного моего обозрения». Патриарх ушел в Вологду, где он добывал кусок хлеба мелочною торговлей. Но г. Скульский не любил шутить. «Как!—воскликнул он.—Я ищу добродетель, а она ушла торговать в Вологду?» И вытребовали добродетель из Вологды через полицию для «личного обозрения». Хорошо по крайней мере, что он получил премию в 1847 году: некоторые же крестьяне, представленные к награде, успели умереть прежде ее получения. Будем надеяться, что эти труженики будут вознаграждены там, где не пишут рапортов и отношений...

Выдача премий производилась, так или иначе, с курьезами вроде описанных или без курьезов, до того времени, когда начался крестьянский вопрос. После него, с 1860 года, предводители Ярославской губернии полагали, что добродетель исчезла: «достойных награды нет!» Приказ Общественного Призрения требовал, несколько раз, сведений о добродетельных крестьянах, и все получал один и тот же ответ.

За упразднением Приказа, Кочубеевский капитал перешел в руки Ярославского земства, назначившего его, вместе с другими источниками, на устройство ремесленного училища. История этого капитала, по нашему мнению, заключает в себе черты не лишние для характеристики недавнего времени, которое, к счастью для нас, не воротится.

(Напечатано в журнале «Русский архив» за 1876 г.).

## МЕЛАНХОЛИК

Время задеживает старые раны: воспоминания народа о крепостном быте постепенно слабеют, изглаживаются из памяти, сменяясь надеждами на счастливую будущность. Лет через 20—30 русский крестьянин, слушая рассказы стариков, как они жили при господах, перекрестится и молвит: «все это было да прошло, и была быль заросла».

Ярославская губерния, нужно отдать ей справедливость, никак не более, если еще не меньше других местностей нашего отечества, развила в себе крепостничество со всеми темными его сторонами. Известно, что здесь, вследствие многих условий (между прочим, по причине скудной почвы) существуют и существовали издавна отхожие промыслы. Благодаря им, живя в чужом краю, вдали от барского глаза и барских рук, ярославский сметливый мужичок пользовался, относительно говоря, большой свободой и жила довольно сносно, если можно назвать сносным положение раба. Но, к несчастью, не все помещики отпускали своих крестьян на промыслы; во многих, особенно в мелкопоместных имениях, существовала барщина; а где она была, там народ не видал красных дней. Герой настоящего рассказа «меланхолик» принадлежит к числу мелкопоместных. Такие личности, как Федор Никитич Бакунин, живший во времена пугачевщины, могли бы способствовать ей своими деяниями, если б пугачевщина, подвигаясь на Запад с юго-восточной окраины России, коснулась Ярославской губернии. Вероятно, пугачевщина обрела бы и здесь достаточное количество материалов для своих всеразрушительных сил, первые удары которых направлены бы в таком случае, всего скорее, на маленьких, подобных Бакунину, деспотов. По усмирении бунта, Екатерина II должна была усмирять крепостников. В царствование ее из одной Ярославской губернии сослано было в Сибирь

несколько дворян за жестокое обращение с крестьянами и дворовыми. Бакунин, как увидит читатель, подвергся другому наказанию, очень слабому... Впрочем, великая императрица поступала вообще снисходительно. Вспомним знаменитую Саалтычиху. Эта барыня-зверь, посаженная в монастырь за свои бесконечные кровавые деяния, того ли стоила? Чего стоил Бакунин, пусть рассудит сам читатель. Описывая его историю, представляющую любопытный материал для характеристики семидесятых годов прошедшего столетия, мы будем в строгой точности следовать за архивными документами и не позволим себе уклониться от них, ради красного словца, ни на один шаг. Екатерининское царствование отдалено от нашего времени уже настолько, что мы имеем возможность спокойно и совершенно беспристрастно относиться к своеобразным, отличительным явлениям этого царствования, имевшего свои светлые и темные стороны.

Рыбинский помещик Федор Никитич Бакунин, выйдя в отставку с чином капитан-лейтенанта, поселился в небольшом имении, сельце Горках<sup>1</sup>. Там, 14 октября 1778 года, произошло событие составляющее предмет нашего рассказа.

Бакунин был женат на рыбинской дворянке Пелагее Ерастовне Жоховой<sup>2</sup>. Вскоре после брака, г-жа Бакунина уехала погостить к своему отцу, в сельцо Архарово<sup>3</sup>, оставив мужа среди раболепной дворни, в числе которой находилась молодая баба Аксинья Прокофьева. За какую вину обрушился на Аксинью барский гнев, мы не можем сказать положительно верно, хотя есть некоторое основание думать, что честная женщина уклонилась от господских принудительных нежностей. Как бы то ни было, Бакунин прибил ее поленом. Современные документы добродушно объясняют, что наказание было «немилостивое». Уставши от побой, Бакунин велел бросить Аксинью, едва живую, под навес с дровами. Ночью он приходил к ней два раза; в первый раз несчастная кричала: «Голубчик барин, поми-

<sup>1</sup> В Рыбинском уезде есть девять селений с этим названием; в котором из них жил Бакунин, мы не знаем.

<sup>2</sup> Сестра Андрея Ерастовича Жохова, упоминаемого в нашей статье: «Путешествие Павла I по Ярославской губернии». (Русский архив, 1870, стр. 301).

<sup>3</sup> Верстах в десяти от Рыбинска, по левую сторону дороги к селу Глебову.

луй!» Но Федор Никитич был неумолим. Во второй раз уже дворня не слышала ни криков, ни стонов: все было тихо, удары сыпались на мертвое тело..

Утром 15 октября пришли к Бакунину двое крестьян, Абрам Филиппов и Кирилло Перфильев; они спросили барина, что делать с убитой?

— «Купите гроб,—отвечал Бакунин,—и заройте скорее Аксинью в лесу».

— «Боязно: ну, вдруг нас увидят за этим делом?»

— «Так лучше отвезите ее к попу, чтобы он похоронил ее на кладбище».

Однако поп Ефим, живший в ближайшем селе Никольском—что в Задубровье, оказался человеком опытным; он сразу сообразил: нет, тут дело-то нечисто, уголовным судом пахнет!

— «Не стану хоронить; баба умерла без причастия и каким образом, бог вас знает»,—отвечал поп на просьбы крестьян.

— «Дозволь хоть около кладбища зарыть!»—умоляли крестьяне, которым нельзя было явиться домой с трупом к сердитому и грозному барину.

— «И на это не согласен,—возразил поп Ефим,—где хотите, тут и хороните».

Узнав об отказе священника, Федор Никитич приказал похоронить убитую в так называемом «поповском ельнике». И вот мрачные ели скрыли под своим густым навесом страшное злодейство, к счастью, не надолго: слухи о нем быстро разнеслись по Рыбинскому уезду, и местная юстиция, в лице заседателя земского суда, капитана Чирикова, вырыла из земли труп, который, не успев сгнить, имел на себе следы жесточайших ударов: верхняя губа была рассечена, руки и ноги переломлены. Чириков немедленно арестовал Бакунина, за которым немало оказалось и других грешков. Почтенному моряку грозила Сибирь. Чтобы избежать ее, нужно было ухитриться, придумать благовидное оправдание, и Бакунин, наконец, придумал заявить себя человеком больным, страдающим «меланхолией».

В Рыбинском уездном суде он отвечал на вопросные пункты, что убийство хотя и совершено им, но без обдуманного заранее намерения, в припадке помешательства или, как выражался Бакунин, «в меланхолическом беспамятстве».

— «Расскажите все, что помните»,—спросили судьи—

народ хороший, добрые знакомые убийцы, которому, как местному дворянину, они сочувствовали.

— «Помню,—отвечал Бакунин,—что 14 октября я был в своем доме и, по меланхолическому беспамятству (оно со мной случается часто), дворовую мою женку Аксинью Прокофьеву в черной горнице бил, не запираюсь; но от этих побой упала ли она на пол и, когда я перестал бить, было ли дано мною приказание вытащить ее под навес, и что затем случилось,—я ничего не помню, по нашедшему на меня, как уже сказано, меланхолическому беспамятству. На другой же день, т. е. 15 числа, лишь только я очуствовался, пришли крестьяне и сказали мне, что Аксинья под навесом умерла. Тогда я в жалостном состоянии был и распорядился похоронить ее на кладбище, по церковному чиноположению. Поп, однако, не согласился. Чего для, дабы от сей женки не последовало вредного запаха, я велел зарыть ее в ельнике, что растет у церкви...»

Дальнейшие вопросы относились уже к другим поступкам Бакунина. Судьи желали, между прочим, знать: бил ли он крестьянина Алексея Антропова, сперва поленом и обухом, а потом палками, за то, что Антропов просрочил в уплате оброка? Из следствия оказалось, что означенный крестьянин, благодаря только своему крепкому сложению, остался жив «и от тех побой свободу получил» (т. е. выздоровел). Бакунин опять сослался на меланхолические припадки.

— «Когда сия болезнь случается со мною,—объяснил Федор Никитич,—я нахожусь в беспамятстве часа два-три и больше».

Соседние дворяне, «штаб и обер-офицеры», приходской священник и другие лица засвидетельствовали под присягой, что они неоднократно видали Бакунина в сумасшествии и беспамятстве; но Ярославское городническое правление, под надзор которого поступил меланхолик, отозвалось о нем, как о человеке совершенно здоровом. Полицейские власти указали, впрочем, суду на один сомнительный случай с Бакуниным. Как-то раз он был отпущен из полиции в дом своей жены, для свидания с нею, и без всякого повода бросился на Пелагею Ерастовну, чтобы сокрушить ребра и зубы дражайшей половины, которая хотя и оказала храброе сопротивление меланхолическому супругу, но, тем не менее, драка прекращена была только вмешательством караульного унтер-офицера, сопровождавшего господина Бакунина.

«Зачем вы дрались с женой?»—спросили его в суде.

— «Зачем!.. все от меланхолии!»—отвечал Федор Никитич.

Из Рыбинского Уездного Суда дело о Бакуanine поступило в Ярославский Совестьный Суд. Определение его, замечательное как образчик юстиции минувшего столетия, приводим вполне.

«1) Хотя по доказательству вышписанных на него (Бакунина) доказателей, по свидетельству и следованию Рыбинского Нижнего Земского Суда заседателя, капитана Чирикова да и по собственным его, Бакунина, ответам оказалось, что та убитая женка точно от тех его несносных побой умерла; но как он, Бакунин, те побой оной женке чинил, будучи в беспамьтстве, а намерения к смертному убийству никакого не имел (о котором его безумстве того Рыбинского уезда предводитель и соседственные дворяне засвидетельствовали, со удостоверением и под присягою, что они его, Бакунина, в действительном сумасшествии видали) и по сим обстоятельствам то учиненное им, Бакунинным, смертное убийство за умышленное и не признается.

А высочайшим ее императорского величества учреждением для управления губерний, в 397 и 399-й статьях, предписано: «дела, касающиеся до таковых преступников, кои иногда, более по несчастливому какому приключению, впади в прегрешение, судьбу их отягчающую выше мер ими содеянного, также преступления, учиненные безумным или малолетним, и дела колдунов или колдовства, поелику в оных заключается глупость, обман и невежество, надлежит отсылать в Совестьный Суд, который един право имеет учинить о вышписанном решении. Так как и он, Бакунин, учинил оное убийство, будучи в безумстве, в примечании чего и никакого по законам наказания, подлежащего смертоубийцам, не заслуживает».

«2) Но как из сего дела видно, что приходящее на него, Бакунина, безумство большею частью бывает с некоторою отменною суровостью, сопряженною с тиранством к человечеству, а особливо к его подвластным, как то явно оказалось в убитии женки, что руки и ноги у ней переломлены, также и чинимые им несносные побой крестьянину его Алексею Антропову, который долгое время был болен; а более всего доказывает, что уже он, Бакунин, и во время содержания его в городническом правлении под стражею, в нашествии на него случающегося с ним беспамьтства, без



всякой причины бил жену свою, от чего едва был мог удержан караульными: то чтобы он, Бакунин, впредь во время нашествия такого беспамьяства не мог учинить, как подвластным своим, так либо кому и посторонним смертного убийства или несносных побой, Совестьный Суд, предостерегая человечество по силе учреждения 195 статьи, коею предписывается, что ее Императорскому Величеству каждого верноподданного безопасность драгоценна, по содержанию указа 1722 года, Апреля 6-го дня, коим повелено: «за теми безумными, которые подданных своих бьют и мучат, смертные убийства чинят и недвижимое в пустоту приводят, никаких деревень не справливать, а ведать такие деревни по приказной записке, и их с тех деревень поить и кормить»; то и его, Бакунина, ко владению недвижимым его именем вечно не допускать, а определить, по силе указа 1722 года, для жития в дом сумасшедших, где его, в силу учреждения 389 статьи, и содержать под присмотром, чтобы он как смертных убийств, так и никаких побой никому чинить не мог».

Таким образом меланхолик, благодаря судейскому добродушию, а может быть и другим, так-сказать карманным, обстоятельствам, спасся от Сибири. Недвижимое имение его было взято в опеку, и опекуншею определена Пелагея Ерастовна, обязанная давать своему мужу «пристойное содержание и пропитание». Решение Совестьного Суда Бакунин выслушал при открытых дверях, и потом, согласно резолюции Приказа Общественного Призрения, отослан был к ярославскому коменданту, бригадиру Кудрявцеву, с тем, чтобы тот прискал для него удобное жилище: дом умалишенных тогда еще не был отстроен в Ярославле.

Кудрявцев прискал единственное удобное место на гауптвахте, в рубленом городе, близ Фроловского моста. Там и заключили меланхолика, устранив от него все орудия и вещи, которыми он мог причинить вред себе и окружающим его людям. Караул, приставленный к Бакунину, наблюдал также за тем, «чтобы ничего хмельного ему не давать». Однако последнее правило часто нарушалось караульными солдатами: они пьянствовали вместе с меланхоликом, покупая на его деньги вино в изрядном количестве, так что до тех пор, пока у Бакунина имелись средства, он вел жизнь вовсе не арестантскую. Может быть, он хотел заглушить пьянством мучившую его совесть, или подлаться к солдатам. Бригадир Кудрявцев, исполняя волю

своего начальства, рапортовал каждую неделю, что «Бакунин в безумстве и тому подобных качествах никем не примечен». Наконец, члены Приказа Общественного Призрения решили сами испытать, точно ли здоров Федор Никитич. Освидетельствовав его, 22-го марта 1779 года, они нашли, что Бакунин совершенно здоров. «Входя с ним в разговоры о разных материях (так доносили гг. члены генерал-губернатору А. П. Мельгунову), мы не токмо в болезни и безумстве его не приметили, но еще и здоровое природного разума действие усмотрели».—Что с ним делать? где его содержать? спрашивал Приказ. Ответ Мельгунова был таков: «Содержать под крепкой стражей, дабы от него, Бакунина, не могло последовать утечки (бегства) впредь до воспоследования указа Правительствующего Сената». Мы забыли сказать, что Мельгунов, после решения дела Советным Судом, потребовал к себе всю переписку и отослал ее в Сенат со своим мнением, где высказал уверенность, что злодейские поступки Бакунина, неправильно признанного «меланхолическим больным», получают должное возмездие.

В ожидании сенатского решения, надзор за Бакуниным был усилен. Мельгунов приказал Ярославскому коменданту, вместе с городовым лекарем, еще раз освидетельствовать арестанта. По этому случаю комендант сочинил безграмотнейший и наивнейший акт, который мы цитируем с буквальной точностью: «Означенной болезни меланхолии хотя в Бакунине и не усмотрено, но кроме как только необыкновенная перемена в лице его и речах примечание наводит немалое в очевидности, кроме внутренности, ипахондрическую (sic!) болезнь. Сверх же сего, перед сим временем, по произволу его, определенным к нему, с прочими, солдатом Семеном Тетериным куплена ему Бакунину была каменная небольшая посуда, то-есть миска, две тарелки и солоница, кою, неведомо от чего, сам-собою встревожась при определенных трех солдатах, всю расшиб без остатку, бранясь при том непристойно, яко бы она ему не угодна...»

Так поступал меланхолик. Но разбитая миска—слишком слабое доказательство сумасшествия, и это, конечно, понимал ярославский комендант; вследствие чего он привел другое доказательство расстройства в Бакунине умственных способностей, именно то, что Федор Никитич не ладит с Пелагеей Ерастовной. «Сия законная жена допущена была к нему в рассуждении человечества, для сви-

дания, и вместе с ним обедала; а между тем ели они печеный с курицею пирог и, по окончании обеда, оный (пирог) на тарелке отдан был солдату Григорию Грибанову, который благополучно весь его доел. Напоследок же он, Бакунин, безобразно закричал, бранясь притом, будто бы жена его тем печеным пирогом испортила, и через его яко бы чувствует в себе во всех членах боль и трясение ко отчаянности жизни. И если б не удержали его солдаты, то в предприятии был драться», и т. д. Щадя терпение читателя, не выписываем всех подробностей из этого рапорта, который кончается тем, что Бакунин сам благодарил солдат за вмешательство их в сцену с женой, приходившей к нему «в рассуждении человечества». После этой ссоры Бакунина уехала из Ярославля в свою деревню и прислала оттуда мужу меланхолику две рубашки. Узнав, что они присланы женой, Федор Никитич изорвал их в клочки и отослал обратно. Злое настроение духа в нем постоянно усиливалось. «Меланхолическая болезнь» (доносил комендант) «ныне час-от-часу в нем возрастает и никакой надежды к совершенному выздоровлению не подает, но паче налагает на него бремя неудобноносимое, заставляющее его и о самой своей жизни быть беспечным. А что касается до посторонних людей, то оных весьма от вкоренившейся в него, по той болезни, злости ненавидит и часто делает нападение к битию...»

В 1780 году Правительствующий Сенат, указом на имя А. П. Мельгунова, дал знать, что «Бакунина следует содержать в доме сумасшедших с тем однакож, что если он через пользование или время придет в состояние ума, то об оном Правительствующий Сенат, для надлежащего о нем определения, уведомить». Вероятно, наш меланхолик вздохнул легко: сидеть в доме сумасшедших все же было гораздо лучше, чем работать на каторге, тем болсе, что опекунша-жена присылала ему из деревни порядочные, по тому времени, деньги.

\*\*  
\*

Проходили десятки лет, скончалась Екатерина II, кончилось царствование Павла I; наступила лучшая эпоха Александра Благословенного,—а меланхолик все еще сидел среди настоящих, не мнимых помешанных. Давно истлели кости убитой им женщины; Бакунин из молодого человека,

полного дикой энергии, обратился в дряхлого старика; но он не переставал думать о том, как бы ему вырваться на свободу из желтого дома. Задушевная мечта его, наконец, исполнилась. В 1810 году он подал просьбу ярославскому, тверскому и новгородскому генерал-губернатору, принцу Георгию Ольденбургскому, который, найдя, что Бакунин перенес достаточное наказание, обратился с ходатайством за него к императору Александру I. Рескрипт, последовавший в ответ на это ходатайство, как нам достоверно известно, не был до сих пор напечатан. Вот его содержание:

«Его императорскому высочеству, генерал губернатору Новгородскому, Тверскому и Ярославскому Георгию Голштейн-Ольденбургскому.

«По представлению вашего императорского высочества на освобождение флота капитана-лейтенанта Бакунина из дома сумасшедших, где более 30 лет он содержался и показал знаки совершенного выздоровления, я согласен, с тем однако же, чтоб, живя в своих деревнях, состоял он, по лицу его и имуществу, под точным и неослабным опекунским надзором, дабы не впал он в прежнее состояние. Александр. В С.-Петербурге, 27-го Января 1811 года».

Когда умер Бакунин, нам неизвестно. Во время освобождения его, Пелагея Ерастовна была еще жива. Встреча супругов после долгой, долгой разлуки, вероятно, имела особый драматизм, и если б мы возымели охоту к сочинительству, то описали бы эту сцену яркими красками. Но подкрашивать исторические документы кто же решится?

---

## ПЛЕЩЕЕВСКИЙ БУНТ

*(Эпизод из крестьянских волнений)*

Князь Николай Сергеевич Гагарин, владелец громадного состояния, которое досталось ему вместе с братом его кн. Сергеем Сергеевичем после смерти родителей, уехал в 1821 году за границу. Управление своим имением он поручил отставному капитану Ивану Антоновичу Каппелю.

Крестьяне вскоре почувствовали на себе тяжелую руку управителя. Гордый, недоступный для народа Каппель отягощал его различными поборами, вероятно без ведома князя Гагарина, не знавшего «из своего прекрасного далека», что творится в его вотчинах. Нужно при этом заметить, что предоставленная почтенному капитану власть была самая широкая, бесконтрольная: в силу формальной доверенности он мог отдавать крестьян в солдаты, имел право ссылать в Сибирь—«за похищение княжеского интереса, дурные поступки, нерадивость к домостроительству», и т. д. Одним словом, судьба не одной тысячи русских людей была вверена немцу, и притом злему немцу-формалисту. Удивительно ли, что Каппель, преследуя строго «нерадивость» и подражая всесильному человеку своего времени графу Аракчееву, хотел водворить в Гагаринских владениях те же знаменитые порядки, какие существовали в злополучном селе Грузине, где все стояло в струнку, где все доходило до последней степени безобразной, гнетущей вымуштровки добрых старых времен.

Так как вотчины князя Гагарина были разбросаны по многим губерниям (Рязанской, Тамбовской, Тульской, Нижегородской, Тверской, Владимирской, Московской и Ярославской), то под командой Каппеля находились второстепенные управители. Эти маленькие деспоты, по большей части немцы и поляки, ловко обделывали свои темные делишки; сам же начальник их гордился тем, что под его рукой состоит больше людей, чем в некоторых микроскопических германских княжествах. Владения Лихтенштейн и

tutti quanti<sup>1</sup> как по населению, так и по пространству были далеко меньше владений князя Гагарина. В одном Ярославском уезде этому русскому барину принадлежало более 1300 душ мужского пола—вся Плещеевская волость, которая досталась ему по наследству от г. Яковлева.

Долготерпение народа, угнетаемого как самим Каппелем, так и его фаворитами и фаворитками, когда-нибудь должно же было кончиться, и, действительно, Плещеевская волость в 1826 году взволновалась. Эти волнения, сопровождаемые потоком крови, и составляют предмет нашей статьи, составленной по архивным документам и рассказам стариков-крестьян, которые пережили так называемый «Плещеевский бунт». Не следует, однако, думать, что означенные волнения приняли грозный размер, что они сопровождались народной, всегда жестокою местию, обращаемую преимущественно на иностранцев. Нет, уж если и была пролита кровь, то никак не немецкая, а русская.

В первых числах февраля 1826 года крестьяне, составив мирскую сходку, написали к ярославскому губернатору Александру Михайловичу Безобразову слезную жалобу, в которой объяснили все притеснения своего начальства, именно — бурмистра Алексея Степановича Шаруева и купца Киселева, управляющего писчебумажною фабрикою князя Гагарина. По словам крестьян, эти лица, войдя между собою в сделку, отняли у них 1750 четвертей хлеба. Нарушив порядок, издревле существовавший на фабрике, они принуждали работать в праздничные и царские дни и за неисполнение тяжелых уроков наказывали бесчеловечно, старики лет 60 и 70 употреблялись «беспрерывно» для перевозки фабричных материалов из Ярославля в Москву и обратно. «Женщины беременны, и вскоре после родов, не получив выздоровления, также изнуряются работою и страдают жестоко на фабрике от зловонного воздуха; а лечить их бурмистр не хочет, самим же нам, крестьянам, не до леченья: мы думаем только о куске насущного хлеба, и чтобы заработать его вместе с оброком—трудимся дома все ночи на-пролет».

С этой просьбой пришла в Ярославль громадная толпа, человек в триста. Губернатор успокоил «бунтовщиков» обещанием, что на будущее время он не допустит никаких злоупотреблений. Вероятно дело кончилось бы мирно, при

<sup>1</sup> tutti quanti—всякие другие (прим. ред.).

взаимных уступках с обеих сторон. К несчастью, в то время, когда крестьяне возвратились домой, их встретил немец Каппель, грозивши так:

«Вот я вас, бунтовщики! Поезжайте назад в Ярославль за лесом—все до одного! Это будет вам наказанием».

В сущности такое наказание не отличалось особенной строгостью; но известно, что одна искра производит ужасный пожар, одна капля переполняет чашу. Крестьяне составили вторично мирскую сходку и решили на ней следующее: «Так как губернатор обманул нас; так как он сказал, что мы получим облегчение, а вместо того мы видим от управляющего новые тягости,—то отправить в Питер, к самому батюшке-царю, двух ходоков, и пока не последуют от царя-государя великия милости, до того времени не повиноваться вотчинному правлению, а друг за друга стоять крепко». Десятские ходили по домам и собирали на отправление ходоков по 50 коп. с человека. Таким образом составила значительная сумма, и крестьянские послы Степан Гусев и Андрей Козлов поехали в столицу, где незадолго перед тем, каких-нибудь месяца за два, произошла кровавая драма. Гагаринские крестьяне объяснили по-своему события 14 декабря: они думали, что император хотел дать им свободу, почему-де скарать и «взбунтовались дворяне»; а царь, любя народ, велел палить в них из пушек ядрами..

Дальнейшие подробности о волнениях между гагаринскими крестьянами в 1826 году нам неизвестны. Знаем только, что из 213 человек, привлеченных к суду уголовной палаты, наказаны были кнутом двое и плетьюми т р и д ц а т ь с е м ь человек, в том числе 16 ушли в Сибирь на поселение, а остальные после наказания возвращены в вотчину.

Андрей Козлов с товарищем подали императору Николаю всеподданнейшую просьбу такого содержания:

«Августейший монарх, всемилостивейший государь!

Наслышаны будучи от всех верноподданных о великом милосердии вашем, осмеливаемся пасть пред монарший престол со всеподданнейшею просьбою.. Господин наш, уехав на теплые воды, препоручил управление нами одному чиновнику,—Ивану Антоновичу Каппелю<sup>1</sup>, в полную его волю. И оный управитель, доведя до крайности, разоряет

<sup>1</sup> Капитан Каппель был переименован в коллежские ассессоры; но воинственный характер его от этой перемены нисколько не изменился.—Л. Т.

нас и бьет без пощады, наказывает без всякой причины и 350 человек сосланы в город Ярославль в рабочий дом, и два месяца содержались в оном; из числа оных крестьян наказаны многие плетью публично и двое кнутом, сослано в Сибирь 15 человек, в самое то время поставлено было по 100 человек конницы и пехоты, чрез что и пришли мы в крайнее разорение, о чем и утруждали всеподданнейшего просьбою ваше императорское величество. Всемилоостивейший государь! воззри милосердным оком своим на подноsimую у сего несчастных крестьян просьбу, повели милостиво разобрать наше дело кому следует, и нас избавить от управления сего управителя,—за что пред алтарем Все-вышнего Творца будем воссылать теплые моления наши о здравии и долгоденствии вашем и всего августейшего дома».

Статс-секретарь Лонгинов доставил эту просьбу министру внутренних дел Линскому, который поручил ярославскому губернатору А. М. Безобразову сделать «строжайшее исследование...» Андрей Козлов и Степан Гусев, по высочайшему повелению, должны были выехать на родину; но Козлов ловко скрылся, кажется, в Кронштадте, откуда он послал при посредстве своей жены письмо, объяснявшее доверчивым крестьянам следующее: «Дело идет в пользу нашу. Подписано уже царем, великим князем Михаилом Павловичем и всеми сенаторами,—с коего дела вышлю копию; а теперь, православные, мне деньги нужны—пришлите!» Разумеется, доверчивый народ не сообразил, что здесь под радужными надеждами скрывается бессовестное надувательство: великий князь Михаил Павлович не был открытым сторонником эмансипации, и почему его имя играло некоторую, довольно видную роль в описываемой истории, мы решительно недоумеваем. Кажется, мечты о защитниках свободы бродили в России совершенно случайно, бессознательно, без понимания значения той или другой высокопоставленной личности. Идеи о свободе проникали в народную массу, но были чрезвычайно смутны. Так, например, крестьяне князя Гагарина нетерпеливо желали получить какую-то «копию со свободы», думая, что она, эта желанная «копия», близка и придет из Питера не сегодня, так завтра, вместе с «ходоком» Андреем Козловым. Последний получил от вотчины значительные деньги на расходы по отысканию воли. Это обстоятельство не могло ускользнуть от земской полиции.

6 февраля 1827 года явился к ярославскому губерна-



тору Александру Михайловичу Безобразову земский исправник Корнилов.

— Ваше превосходительство! — отрапортовал исправник.—Гагаринские крестьяне опять бунтуют, не хотят работать, вышли из повиновения... Что изволите приказать?

— Сейчас поезжайте к бунтовщикам,—распорядился губернатор.—Примите строгие меры!.. Ну, а тех крестьян, которые не обратятся к порядку, доставьте сюда, в Ярославль. Я сам их вразумлю.

Исправник уехал. На другой день Ярославский полицеймейстер принес Безобразову весть, что в городе неблагополучно: более 60 человек крестьян ходят по улицам и ищут грамотея, который бы написал жалобное прошение к государю. Безобразов велел забрать их всех до одного в полицию, и там разделал толпу на две части: главнейших «бунтовщиков» приказал арестовать для допроса, а прочих отослать домой. Это было немедленно исполнено. Но утром 9 февраля к губернаторскому дому двинулась толпа уже в пять раз больше прежней. Крестьяне объяснили Безобразову свое неудовольствие на управителя и, вследствие грозных расспросов губернатора, открыли ему (по словам официального документа), что «причиною такового их поступка есть приходский их поп Михайло, который в церкви служил им молебен о избавлении их от тягостных господских работ, и при крестном целовании увещевал их стоять друг за друга». Для Безобразова это известие, конечно, имело особенную важность; он полагал, что арест священника произведет на крестьян сильное впечатление. Но прежде чем эта строгая мера была исполнена с согласия духовной консистории, губернатор, «в страх и пример прочим», наказал розгами четырех крестьян; остальные были отпущены без наказания, с приказом итти в деревню и сидеть там смиренно, тише воды, ниже травы! Вслед за ними поскакал чиновник особых поручений князь Ухтомский, обязанный губернатором разобрать на месте жалобы крестьян: справедливы ли они, и если действительно откроются какие-либо злоупотребления, то «восстановить правила доброго хозяйства, вместе с земским исправником».

Дознание этих официальных лиц не обнаружило, чтобы крестьяне испытывали жестокость управителей. Однако при всем желании земской полиции окончательно оправдать одну сторону и обвинить другую, этого нельзя было сделать, потому что многие факты говорили за себя очень

громко и красноречиво, гораздо красноречивее тихого народного стона. Между прочим, князь Ухтомский и земский исправник донесли губернатору, что на писчебумажной фабрике крестьяне употребляются в работу без отдыха, даже по воскресеньям и праздничным дням.

Ярославское губернское правление немедленно обязало арендатора фабрики купца Киселева не изнувать рабочих людей. Повидимому, крестьяне успокоились. Губернатор донес министру внутренних дел о «воздарившейся повсеместно тишине». К сожалению, она, эта возжеленная тишина, продолжалась недолго.

22 марта прискакал в Ярославль главный управляющий именем князя Гагарина капитан-коллежский асессор Каппель. Он объяснил губернатору, что крестьяне, после сделанных им вразумлений, обратились к работам и «продолжали исправно трудиться» до 16 марта, но с этого дня вся вотчина опять зашумела и вышла из повиновения: собираются сходки; крестьяне делают складчину с целью нанять писца для сочинения другой жалобы государю. «В волости началась совершенная анархия, и — заявлял Каппель — меня никто не слушает, все отвечают дерзко и ждут свободы; толкуют, что государь даст им свободу не далее нынешней весны». Заключительные слова доноса, сделанного Каппелем, указывали на того же священника Михаила, как на главного виновника беспорядков; причем немец Каппель уверял, что этот русский поп действует с корыстной целью, получая от мужиков деньги за свои возмутительные проповеди. Почтенный немецкий человек знал хорошо, какая судьба готовится православному священнику вследствие хитро составленного доноса, но не затруднился явиться с ним к губернатору, который уже и без того был враждебно настроен против отца Михаила, а потому взялся за преследование его с особенной горячностью.

Земский исправник подтвердил донос Каппеля. «Крестьяне (рапортовал исправник) найдены мною в таком возмутительном состоянии, что никакие с моей стороны вразумления ими не приняты: все они отзываются единогласно, что не обратятся к порядку дотоле, пока не получат от государя императора ответа на их жалобу». Далее исправник доносит, что молва о близкой свободе раздается в народе все сильнее и сильнее.

Этот рапорт имел решительное влияние на губернатора: до получения его он еще сдерживался, колебался между

двумя намерениями: действовать или силой своего красноречия, или силой ружейных прикладов; теперь же, по мнению Безобразова, пришло время сокрушить вопиющее зло строго и быстро. Многие дворяне уже роптали на губернатора: «Что он спит? Мужики бунтуют, кричат: воля! воля!—а наш Александр Михайлович благоденствует... Тут розгами-то ничего не возьмешь, тут нужны другие меры—по-строже».

И меры были приняты: рота ярославского гарнизонного батальона, в числе 175 человек, двинулась в поход на гагаринских крестьян. Впереди роты ехал отряд жандармов. Арьергард составляли: губернский предводитель дворянства, подполковник Соколов и полное присутствие земского суда; тут же был и губернатор. Он велел исправнику собрать к своему приезду всех крестьян в одной из деревень; но исправник возвратился и донес:

— Нейдут, ваше превосходительство, упорствуют!

— Где же бунтовщики?—строго спросил губернатор.

— В селе Плещееве... И сколько их там, просто страсть народу, ваше превосходительство!

— Ступайте опять к ним: велите, чтобы они непременно явились в назначенное место, иначе им будет плохо. Я не стану шутить...

Толпа наконец явилась; тут были и старики и мальчики; взрослые также изображали собою не бунтовщиков, а вернее сказать, стадо, идущее на заклание. Старики опирались на костыли; за исключением этого оружия, все были с пустыми руками.

«Гражданский губернатор (гласит современная записка, послужившая главным материалом при составлении нашей статьи) обратился к ним с кроткими и убедительными внушениями и продолжал оные несколько часов,—но тщетно!» С намерением подействовать на крестьян эффектной сценой, губернатор велел привести местного священника Михаила, который был уже заранее удален от священнодействия, но еще жил на свободе в селе Плещееве. Попа арестовали и под конвоем отправили в Ярославль. Народ, жадея своего пастыря, выражал свое горе слезами. Многие кричали: «Прощай, батько, молись за нас!»

Тогда, по распоряжению губернатора, «приступили к другой мере законной строгости»: крестьянин Иван Дмитриев, присужденный уголовным судом к наказанию плетью за участие «в первом волнении», был положен

на дровни, и его начали сечь, «в страх другим». Результат оказался совсем не тот, какого ждал губернатор. «Сии непокорные крестьяне выразили новое дерзновение пред лицом начальника губернии и всех тут бывших чинов: они с необычайным криком требовали остановить исполнение приговора над Иваном Дмитриевым». Губернатор, по словам цитируемой записки, явил себя героем: «он бросился в средину толпы и строгим внушением оное буйство остановил, приказав в то же время решение уголовной палаты докончить». Опять засвистали плети. Народ опять зашумел, но Безобразов, «стоя в средине толпы, действия сии (?) прекратил». Документ, которым мы пользуемся, не упоминает о том, ограничился ли усмиритель бунта словами, или он прибегнул к собственноручной расправе; старожилы же помнят, что дело не обошлось без нескольких вырванных бород.

«Истощив таким образом все ближайшие средства к убеждению сих крестьян быть в порядке и, видя совершенную невозможность вразумить всех в толпе находящихся, г. губернатор распорядился вызывать к себе каждого порознь для внушения, с тем, буде который, по душевному своему стремлению, совершенно решился быть непреклонным к повиновению, то отделялся бы на одну сторону, а тот, который восчувствует раскаяние, становился-бы на другую». Вместе с тем батальонный командир подполковник Т е л е г и н получил приказание: как скоро число неповиновующихся крестьян дойдет до 25 человек, то, окружив их приличным отрядом, немедленно отправлять в Ярославль.

До глубокой ночи продолжался этот разбор. Непреклонные отходили налево, вразумленные—направо. Последних оказалось до 400, а первых 112 человек; все они были отправлены в Ярославль, разделенные на четыре партии. Исполняя губернаторский приказ, «вразумленные» избрали из среды себя 30 человек, для объяснения поводов ко вторичному неповиновению. На другой день они рассказали губернатору, в чем состоят их крестьянские тягости и нужды. Выслушав ответы, Безобразов нашел, что они очень разноречивы и что все крестьяне стремятся представить свое положение в более худшем виде, чем оно есть на самом деле. Кроме обременительных работ на фабрике, крестьяне указали, что их, главным образом, разоряет отвозка фабричных изделий в Москву с платою от конто-

ры по 25 коп. с пуда, тогда как они должны приплачивать своих денег, зимою от 30 до 35 коп., а летом—до 70 коп. с пуда. «Ни малейших видов жестокого обращения (гласит официальный историк) и какой-либо нужды в домашнем их быту не обнаружено». Губернатор вместе с чиновниками обозревал все хозяйство и нашел, что оно идет прекрасно, «в лучшем виде». Однако «его превосходительство вменил себе в обязанность, поставив на вид главноуправляющему все жалобы крестьян, поручить ему заняться немедленным составлением положительных правил о работах фабричных людей и представить оные к нему на рассмотрение».

Между тем, зная, что «остатки духа непокорности еще существуют в обратившихся к повиновению крестьянах», губернатор нашел нужным усилить за ними надзор. С этой целью оставлен был на месте дворянский заседатель земского суда Степанов с двумя офицерами и 70 солдатами; потом команду эту, как недостаточную, увеличили сотней рядовых фурштатской команды под начальством капитана Вольского. Сделав такие распоряжения, губернатор возвратился благополучно в Ярославль и приступил к допросам крестьян, оставшихся непреклонными. Они показали то же самое, что и остальные. «Ждем великих государевых милостей»,—прибавили они, заключив свои жалобы. Впрочем, 28 человек согласились работать, а прочие 84 человека, несмотря на угрозы губернатора, отказались от повиновения фабричному и сельскому начальству. Вследствие тесноты ярославского острога их заключили в тюремных замках соседних городов до окончания над ними суда...

Наступала пасха 1827 года. Пред светлым воскресеньем «губернатор, заботясь об участи содержащихся в тюрьмах и, желая вновь показать непокорным крестьянам милосердие правительства, велел полицеймейстерам тех городов, в коих они содержатся, вновь допросить их с убедительностью о раскаянии, и буде они учинят сие, то обязать их подписками в повиновении и доставить таковых в место жительства». На это согласился только один арестант в даниловском остроге, прочие отказались. «Мы не виноваты, нам не в чем просить прощения!» Вот все, что выслушали от них господа полицеймейстеры, которые, разумеется, не обладали ораторским талантом,—да и сам губернатор

Безобразов, этот «Демосфен по красноречию», как говорили его подчиненные, ярославские чиновные особы, не мог склонить к миру людей, решившихся поставить на своем. Братья и отцы их видели в них мучеников за свободу, и потому, желая разделить с ними одинаковую участь, опять начали уклоняться от работ. Дворянский заседатель Степанов донес губернатору, что многие крестьяне, несмотря на строгие меры, принятые через посредство воинской команды, при высылке на работу «учиняют послушание». Наконец 206 семейств заявили Степанову: «Мы, ваше благородие, работать не будем,— пусть что хотят, то и делают с нами ваши солдаты! За нас стоит цесаревич Константин!..» Теперь уже крестьяне возлагали надежду на старшего брата императора Николая... А цесаревич, живший тогда в Варшаве, и не воображал, что имя его прославляется ярославскими крестьянами, как имя народного благодетеля и заступника!..

4 мая прибыл в Ярославль флигель-адъютант полковник барон Строганов. Император возложил на него важное поручение: «установить порядок в имении князя Гагарина, неповиновением крестьян нарушенный». Барону были сообщены губернатором все данные об этом деле. Рассмотрев его, барон вызвал к себе из ярославского острога всех крестьян, замешанных в описываемой истории, «долго убеждал их обратиться к порядку и принести чистосердечное раскаяние; но упорство их было непреклонно».

Испытав неудачу, Строганов отправился в имение князя Гагарина; ему, конечно, сопутствовали губернские и уездные власти. Как и прежде, народ был разделен на две партии; «добрых», т. е. смирившихся крестьян, оказалось 163 человека, а «бунтовщиков» — до 200; последних окружала фуштатская команда. Гарнизонные солдаты стояли перед ними в строевом порядке с заряженными ружьями.

Губернатор первый обратился к народу, который шумел и спрашивал о Строганове, «что это за барин?»

— Посланник государя, — сказал губернатор. — Он прислан его императорским величеством смирить вас, бунтовщиков. В последний раз вам предлагается царская милость — прощение.

— Работайте на помещика и не бунтуйте, — прибавил Строганов. — Это есть непременная воля царя.

— Неправда! Обман! — раздалось в толпе.

Строганов часа три говорил с народом; но все убеждения его пропали даром. Семь человек крестьян, шумевших более других, были наказаны розгами, они не издали ни одного стога, хотя фуштатские солдаты секли жестоко, беспощадно. Эта кровавая расправа не усмирила остальных.

— Секите и нас! — требовали крестьяне. — Разве они виноватее? Мы все за одно; мы целовали крест стоять крепко друг за друга и будем стоять, пока не возвратятся из Питера наши ходоки...

Видя, что в толпе находятся старики и малолетки, барон Строганов не решился подвергать их тому же наказанию, какое готовилось для взрослых; все имевшие более 70 и менее 20 лет были отведены в сторону; остальных, 140 человек, немедленно повели скованными в Ростов и Ярославль, где и разместили по острогам. Тесные камеры были битком набиты, так-что тюремные смотрители, люди не очень мягкосердечные, высказывали опасение за жизнь арестантов, скученных на малом пространстве. Душный, спертый воздух и плохая пища могли разделаться с арестантами страшнее кнута и плетей. Эти обстоятельства сами по себе заставили губернскую администрацию не медлить решением дела; к тому же, по возвращении в Ярославль, Безобразов нашел у себя только-что полученное через министра внутренних дел высочайшее повеление, «дабы подобные буйства крестьян имели скорейшее окончание и дабы главнейшие зачинщики неповиновения, коих его императорское величество изволит полагать менее девяти, были примерно наказаны и сосланы в Сибирь на поселение».

Губернатор дал предложение уголовной палате—решить дело в сорок восемь часов и затем сообщить ему свое решение. Получив его из палаты в назначенный срок вместе с делом, губернатор не медлил ни одной минуты: он нашел, что решение согласно с законами, утвердил его и в тот же день секретно предписал ярославскому полицеймейстеру, согласившись предварительно с бароном Строгановым: когда будет окончена экзекуция над 8 главнейшими зачинщиками, отправить их прямо с лобного места в Сибирь и затем всем остальным объявить всемиловитвейшее прощение. Партия крестьян, состоявшая из 140 человек, не была еще подвергнута уголовному суду, на том основании,

что Безобразов и барон Строганов, руководившие этим делом, с видимым желанием ограничить кровопролитие, ожидали, «что пример наказания зачинщиков обратит всех остальных к порядку». Поэтому означенные крестьяне, разделенные на партии (каждая «под прикрытием сильного воинского конвоя»), должны были стоять у лобного места немymi свидетелями наказания, «ради страха». Безобразов и барон Строганов вызвали также в Ярославль всю гагаринскую вотчину и сверх того собрали на лобном месте более трехсот крестьян из вотчин других дворян, «в виде понятых, с тем, чтобы строгим примером поступления по законам с нарушителями повиновения истребить везде и самые распространившиеся слухи об ожидаемой помещичьими крестьянами вольности».

14 мая, в день, назначенный для совершения экзекуции, вся Сенная площадь в Ярославле была запружена народом. Палачи сделали свое дело. Затем, когда полициймейстер громкогласно объявил, что государь император, по неизреченному милосердию своему, прощает всех остальных крестьян, — конвою велено было вести их обратно в деревни. Вдруг толпа всколыхнулась; трое крестьян (Ефим Котов, Василий Буров и Алексей Дмитриев) выступили вперед и закричали:

— Нейдем! Секите и нас! Не повинуюемся!

Вслед за ними этот возглас повторили и другие, стоявшие в одной партии с названными крестьянами, число которых простиралось до 29 человек. Солдаты бросились на них и, исполняя командирскую волю, жестоко поражали толпу ружейными прикладами, так что многим нанесены были очень опасные раны. Побонше продолжалось несколько минут; само-собою разумеется, что викторию одержали солдаты, получившие приказ отвести этих бунтовщиков опять в острог; вместе с тем, наказанные уже крестьяне прямо с эшафота были отправлены в Сибирь. Во время экзекуции «все прочие сохраняли полное благочиние», но по приводе в полицию, когда от них стали отбирать подписки в повиновении на будущее время вотчинному начальству, крестьяне дали прежний ответ: «Нет, что за подписки! Делайте с нами, что хотите, а до возвращения от царя наших ходоков мы не повинимся...»

Вскоре «ходок» — крестьянин Гусев был схвачен в Петербурге и привезен за караулом в Ярославль; его допустили к крестьянам для объяснения им, что дело их про-



играно, а потому надобно смириться. Крестьяне назвали Гусева изменником, отступником; может быть, они думали и то, что Гусев уговаривает их поневоле, вынужденный к тому строгим начальством. «Авось,—толковали крестьяне,— другой ходок принесет нам радостную весточку!» Вместо ее 12 мая 1827 года получен был в Ярославле манифест, окончательно разбивший всякую надежду на дарование свободы. Ввиду «Плещеевского бунта» и других подобных событий, означенный манифест (от 12 мая 1827 года) повелевал всем крестьянам—как помещичьим, так и казенным, оставаться в строгом послушании у господ и начальства. «Вследствие сего губернатор Безобразов признал необходимым прочесть сей манифест неповиновующимся крестьянам и еще раз испытать меры внушений и вразумлений, на точном основании высокомонаршей воли, для обращения заблужденных крестьян к порядку».

Чтение манифеста происходило с торжественной обстановкой в губернском правлении, где в числе других властей находился и барон Строганов.

По его мысли, крестьян разделили на пять партий и вводили их одну за другой в присутственную камеру. Губернатор Безобразов читал манифест громко и внятно, делая нужные объяснения, и это тянулось с утра до вечера; «но преисполненные духом непокорности крестьяне сии имели дерзновение, все вообще и каждый порознь, решительно отозваться, что они в повиновении у вотчинного начальства быть не хотят».

— Чего вам еще нужно? — убеждал Безобразов. — Жалобы ваши пустые, неосновательные. Вы не терпели никакой жестокости от вотчинного управления, а напротив, благоденствовали. Это я сам видел. Избы у вас хорошие, скота достаточно, засева хлеба больше, так-что в целой губернии мало таких имений, где бы засевали больше, чем у вас. Продажа льняного семени дает вам значительный прибыльок...

Но увы! и эта речь осталась без успеха. «Все, не возражая ничем на сии убедительные доказательства, крестьяне делали одни ответы: «Что хотите, то и делайте, а мы повиноваться не будем!» Почему губернское правление всех сих, глубоко упорнейших людей, всего 215 человек, признавая явными нарушителями порядка, распорядилось о предании их суду, для поступления с ними по законам, сообразно виновности каждого, равно как и священника

Михаила, о коем последовало особое высочайшее повеление...»

К сожалению, наши документы, прерывающиеся на самом любопытном месте, не упоминают о том, какая судьба постигла означенного священника и его бедную паству. Мы слышали, что отец Михаил был лишен духовного сана и заключен в один из отдаленнейших монастырей; но за верность этого предания не ручаемся. Дети и внуки пострадавших, 50 лет назад, крестьян уже смутно помнят былые темные дни...

(Напечатано в журнале «Древняя и Новая Россия», 1877 г., т. III. № 10).

## Л. Н. ТРЕФОЛЕВ—ПОЭТ И ИСТОРИК ЯРОСЛАВСКОГО КРАЯ

Один из современников Н. А. Некрасова, рассказывая о своей беседе с поэтом, утверждает, что, когда речь зашла о творчестве Л. Н. Трефолева, Некрасов сказал:

«Стихи Трефолева быют по сердцу. Это — мастер, а не под-мастерье».

Услышав от собеседника реплику, что Л. Н. Трефолев является учеником Н. А. Некрасова, великий поэт ответил:

«Скорее — последователь. Но если ученик, то такой, которым может гордиться учитель. У него свой поэтический костюм»<sup>1</sup>.

Эта лестная, высокая оценка была дана Л. Н. Трефолеву в первые десятилетия его творческой работы. Но он продолжал писать еще целую четверть века после смерти Некрасова и создал немало новых, замечательных произведений, прочно закрепивших его место в ряду подлинных мастеров поэзии.

Л. Н. Трефолев был достойным последователем своего гениального земляка, певца народной мести и печали — Николая Алексеевича Некрасова. В ранних стихах Трефолева нетрудно обнаружить элементы прямого подражания Некрасову не только по мыслям, но и по форме. С годами, однако, у Трефолева выработался свой, оригинальный голос. Поэт нашел свои собственные краски для реалистического изображения суровой и мрачной действительности прошлого века. Вся дальнейшая близость Трефолева к Некрасову выразилась, прежде всего, в глубоком идейном родстве его творчества с некрасовской поэзией. Трефолев является характерным представителем демократического лагеря в русской литературе, певцом некрасовской плеяды.

В годы юности у Трефолева, как и у некоторых других молодых поэтов того времени, ставших потом ярыми поборниками некрасовского направления, имели место неосознанные, ошибочные представления о роли и значении поэзии. Это, в первую очередь, объяснялось влиянием на него таких эстетствующих поэтов, как А. Фет, Л. Мей, с произведениями которых Трефолев, как отмечал он в своей автобиографии, был знаком с самого раннего детства.

Однако Трефолев очень недолго был сторонником теории «чистого искусства», «искусства для искусства». Вряд ли даже можно

---

<sup>1</sup> А. В. Круглов. «Десять поэтов». Л. Н. Трефолев. Приложение к журналу «Светоч и дневник писателей», 1910 г.

всерьез говорить об этом периоде, не оставившем почти никакого отпечатка в творческом наследии поэта.

Свою поэтическую декларацию Л. Н. Трефолев изложил затем в коротком и ясном заявлении:

Не я пою: народ поет.  
Во мне он песни создает...

Еще более отчетливо определил он назначение певца в стихотворении «Три поэта». Трефолев рисует в нем представителей двух направлений: одно из них ведет к «древним храмам, бездушным, холодным», «к мертвецам благородным отдаленной великой эпохи», к «чистой деве-природе», «природе-невесте»; другое — «к шумному городу», к живым людям, ведущим борьбу за солнце, за свет, за свободу, за счастье.

Сурово высмеивая поклонников «чистого искусства», ищущих забвения на развалинах древней Эллады и бегущих от кипучей, шумной жизни на безмятежное лоно природы, Трефолев писал, обращаясь к поборникам теории «искусство для искусства»:

До свиданья! Нет, сердце мое  
Не похоже, коллеги, на ваше.  
Это сердце отыщет другое жилье —  
В шумном городе. Лучше и краше  
Там живет среди вековечной борьбы  
Низкой хижины с гордым чертогом.  
Там... клянусь и природой и богом,  
Существуют святые герой-рабы...

Как и Некрасов, Трефолев видел высшее назначение искусства в служении народу. И, в меру своих поэтических сил и таланта, он стремился выразить в своем творчестве народные чаяния и надежды, мечты трудовых людей о лучшей, счастливой доле, о справедливом социальном строе.

Из биографии Трефолева известно, что он не был непосредственно связан с революционным рабочим движением. Но, почти безвыездно живя в Ярославле, поэт, разумеется, не мог не знать о забастовках, происходивших в конце XIX в. на Ярославской Большой мануфактуре, о кровавой расправе над ярославскими ткачами, организаторы которой, душители и палачи, удостоились за это «монаршей благодарности». Чуткое сердце Трефолева-художника не могло не ощущать тех огромных сил, которые назревали в рабочем классе — могильшике капитализма.

В произведениях первого периода творческой деятельности Трефолева мотивы рабочего движения еще не находили себе места. Но в последующие годы они зазвучали у него довольно отчетливо. Трефолев переводит на русский язык знаменитую «Песню рабочих» Пьера Дюпона, которая до создания «Интернационала» являлась международным рабочим гимном. В песне «О Дреме и Ереме», написанной в 1882 г., Трефолев утверждал:

А и в некое время народится же племя,  
На людей-ста свободных похоже.  
Выйдет парень рабочий и до воли охочий!..

Верно определяя качества этого «нового племени», поэт в то же время совершал явную ошибку, не замечая, что это племя людей, «до воли охочих», уже народилось, что оно уже вело ожесточенную борьбу со старым миром бесправия и эксплуатации.

Трефолев горячо верил в счастливую будущность России. Но он знал, что свобода не придет сама, что за нее нужно беззаветно бороться, идти «в огонь за честь отчизны», жертвовать собой во имя общего блага. Поэт страстно вопрошал:

О, кровь народная! В волнении жестоком  
Когда ты закипишь свободно—и потоком  
Нахлынешь на своих тиранов-палачей?

Обращаясь к поэту С. Д. Дрожжину, в 1894 г. Трефолев писал:

Век жестокий, век проклятый  
Я едва ль переживу,  
Я чудесный век двадцатый  
Не увижу наяву.  
Вы, мой друг, меня моложе,  
Вы — поэт и человек,—  
Дай вам счастье, правый боже,  
Увидать свободный век!

Наступавший двадцатый век Л. Н. Трефолев пророчески называл чудесным, свободным веком. Он провидел в далеком туманном будущем зарю освобождения народа, расцвет новой, счастливой жизни, когда, «как лучший перл создания, заблестит раб и к чело век», когда «окрепнет царствие Труда».

Однако, главный герой произведений Трефолева все же — не рабочий, а крестьянин. Трефолев — поэт крестьянской демократии. Под народом он понимал, в первую голову, широкие массы трудового крестьянства.

С большой силой показывая тяжелое положение крестьян, закабаленных нуждой, голодных и холодных, Трефолев глубоко вникал в крестьянскую психологию, понимал, что крестьянин не только материально, но и духовно еще беден, или, говоря словами М. Е. Салтыкова-Щедрина, «беден сознанием этой бедности».

Трагична судьба «Камаринского мужика», свалившегося замертво на городской улице:

Борода его всклокочена  
И деш е в к о ю подмочена;  
Свежей крови струйки алые  
Покрывают щеки впалые.

Невыносимо-ужасно существование описанного Трефолевым «бедного Макара», на которого шишки валятся даже тогда, когда он собирается повеситься на сосне, не выдержав тяжелых жизненных ударов.

Волнующе-трогателен образ крестьянки из баллады «Таинственный ямщик». Рано похоронив мужа, служившего ямщиком, и оставшись «с парюю сирот» на руках, она решает сама сесть на козлы.

Но каждый раз, проезжая мимо кладбища, женщина-ямщик не выдерживает и, отбросив кнут, с плачем бежит к родной могиле.

Гневно протестуя против закабаления и эксплуатации крестьян, обманутых реформой 1861 года, Трефолев не ждет «милости с неба», не надеется на «земного владыку» — царя. Он видит спасение трудового крестьянства в социальной революции и восторженно вспоминает времена Емельяна Пугачева.

...Народ не умрет,  
С Правдой на Кривду пойдет он вперед! —

писал Л. Н. Трефолев в стихотворении «Воин Аника».

Горячо любя свою родину, Трефолев верил, что близок тот день, когда она перестанет быть рабой. В стихотворении «К России» он восклицал:

Надейся! Исчезнут тираны,  
Исчезнут коварство и ложь.  
Надейся! Ты вылечишь раны,  
Венец свой терновый сорвешь.

О протестующем, революционном духе поэзии Трефолева ярко свидетельствуют его сатирические стихи, большинство которых могло появиться на свет лишь только после Великой Октябрьской социалистической революции, извлеченное из дальних ящиков стола поэта.

Каким ядовитым сарказмом насыщены эпиграммы и памфлеты Трефолева, направленные против царя и его верных приспешников, против злейшего российского реакционера Победоносцева:

Кто такой Победоносцев? —  
Для попов — Обедоносцев,  
Для народа — Бедоносцев,  
Для желудка — Едоносцев,  
Для царя — он злой Доносцев...  
...Жизнь сходна в России с адом,  
В ней нельзя жить дружно, ладом,  
Со свободой, чудным кладом:  
В ней урядники — с окладом,  
А исправники — с докладом...

Литературное наследие Л. Н. Трефолева, как и каждого писателя, нельзя, разумеется, ни приукрашивать, ни ухудшать. В стихах поэта (особенно раннего периода) иногда звучали нотки либерализма, культурничества, примирения с действительностью. Но все эти «неверные звуки лиры», прорывавшиеся в особенно тяжелые минуты жизни, совсем не характерны для творчества Трефолева. Трефолев резко обрушивался на либералов, земцев, зло и непримиримо высмеивал их. Достаточно прочесть, хотя бы, два из таких стихотворений — «Буйное вече» и «Конституция», чтобы до конца убедиться в этом.

Л. Н. Трефолев был тесно связан с поэтами, выходцами из народа, — И. З. Суриковым, С. Я. Деруновым, С. Д. Дрожжиным и другими. Он поддерживал своими дружескими советами кружок суриковцев в Москве. Смерть талантливого самородка, уроженца

Ярославской губернии — И. З. Сурикова, вызвала глубокую скорбь Трефолева, нашедшую свое отражение в стихотворении «Наша доля — наша песня». Поэту-самоучке Савва Яковлевичу Дерунову, вышедшу из Пошехонского уезда, Трефолев посвятил стихотворение «Пошехонские леса».

Многие стихи Л. Н. Трефолева давно уже получили широкую популярность. Стали народными его песни — «Когда я на почте служил ямщиком». «Знаю, ворон, твой обычай», «Дубинушка», о Камаринском мужике.

Но во всем своем разнообразии и полноте творчество Трефолева предстало перед народом только после Великого Октября. При жизни Трефолева сборник его стихов издавался всего один раз, в 1894 г., не считая незначительных по объему тематических книжек (напр., «Славянские отголоски»), выпускавшихся небольшими тиражами в Ярославле.

За годы Советской власти сборники произведений Л. Н. Трефолева неоднократно выходили из печати в Москве, Ленинграде и Ярославле. Его стихотворения дважды издавались в основанной А. М. Горьким «Библиотеке поэта».



Многочисленные статьи и очерки Л. Н. Трефолева, носящие историко-краеведческий и публицистический характер, разбросанные по различным периодическим изданиям, до революции отдельными книгами не появлялись. Впервые сборник прозы Л. Н. Трефолева вышел в 1940 г. под общим названием «Ярославская старина»<sup>1</sup>. Это название принадлежит самому Леониду Николаевичу, который мечтал издать такую книгу еще при своей жизни. Но из-за цензурных условий и ряда других причин она в те времена так и не увидела света.

Незадолго перед своей смертью Л. Н. Трефолев написал большую повесть «Кто убил?», печатавшуюся с продолжениями в ряде номеров газеты «Северный край». Видимо, она создавалась по заказу редакции, для привлечения читателей. Художественные качества ее не высоки, и она не вызывает серьезного интереса сегодня. Вряд ли и сам автор придавал ей какое-либо значение.

В предполагавшийся к изданию сборник «Ярославская старина» Л. Н. Трефолев намечал, главным образом, такие работы, значение которых выходило за пределы Ярославской губернии. Построенные на материалах местных архивов, его очерки создавали правдивые картины крепостнического произвола, характерные для всей России XVIII и начала XIX веков.

При разработке исторических тем Трефолеву приходилось считаться с условиями жестокой царской цензуры, искавшей «крамолу» даже в самых невинных произведениях. В письме в редакцию журнала «Древняя и новая Россия» по поводу очерка «Ярославль при императрице Елизавете Петровне» Трефолев писал:

---

<sup>1</sup> Л. Н. Трефолев. «Ярославская старина». Ярославское областное издательство, 1940 г.

«...Я старался, по возможности, не допускать резких выражений и, не искажая сохраненных в моей статье фактов, выкинул некоторые подробности, хотя, быть может, и не лишены интереса, но едва ли доступные для подцензурного издания». Исторический очерк «Ярославль при императрице Елизавете Петровне» охватывает все стороны жизни города в пятидесятых годах XVIII столетия. Вопреки мнениям официальных историков того времени, Трефолев приходит к выводу, «...что Елизаветинский век далеко не был золотым веком, по крайней мере, относительно исторической судьбы города Ярославля».

Главную задачу этого очерка Трефолев видел в том, чтобы показать, «как жил народ, какие радости и невзгоды испытывал он». По обилию фактов и полноте изложения, очерк «Ярославль при императрице Елизавете Петровне» не имеет себе равных среди всех других, опубликованных до революции, материалов по истории нашего города. Трефолев извлек «из архивной пыли» не только темные стороны быта ярославцев, стонавших от крепостнического произвола, гибнувших от страшных моровых язв, но и светлые страницы жизни трудовых людей, богатых своими талантами и способностями. В Елизаветинские времена в Ярославле возник первый подлинно-народный, русский театр. В очерке Трефолева впервые появились новые, весьма ценные материалы, об организаторе ярославского театра и первом русском актере Федоре Григорьевиче Волкове.

«...Волков представляет собой личность необыкновенную,—отмечал Л. Н. Трефолев...—Весь поглощенный страстью к своему искусству, к драматическому творчеству, Волков представляет нам собою идеал актера».

Часть очерков сборника «Ярославская старина» посвящена положению крестьянства в Ярославской губернии. Трефолев рассказывает в них о крестьянских волнениях в селе Плещеево («Плещеевский бунт»), о деспотизме рыбинского помещика Ф. Н. Бакунина («Меланхолик»), об анекдотических поисках «добродетельного крестьянина» («Монтионовские премии в Российском вкусе») и т. д.

В очерке «Меланхолик» Л. Н. Трефолев приходит к характерному заключению, что помещичий произвол создавал в Ярославской губернии условия для прямых революционных выступлений крестьян. «Если б пугачевщина,—писал он,—продвигаясь на Запад с юго-восточной России, коснулась Ярославской губернии... она обрела бы и здесь достаточное количество материалов для своих всеразрушительных сил...»

Перу Трефолева принадлежит также большое количество мелких зарисовок и заметок по вопросам народного просвещения, сельского хозяйства, городского быта, систематически печатавшихся в «Ярославских губернских ведомостях» и других местных периодических изданиях.

\*\*  
\*

Биографические материалы о Л. Н. Трефолеве весьма не богаты. Обычно все исследователи его жизни и творческого пути пользуются краткой биографией Л. Н. Трефолева, написанной им



самим—в третьем лице, и впервые опубликованной в журнале «Литературное наследство» в 1932 г. (№ 3).

Биография начинается словами:

«Леонид Николаевич Трефолов родился 9 сентября 1839 г. в г. Любиме, теперь село Ярославской губ., где отец его (Николай Дмитриевич, умер в 1853), служивший в уездном суде, известен был, как библиофил»<sup>1</sup>.

Л. Н. Трефолов свидетельствует далее, что, благодаря отцу, он с детских, ранних лет горячо полюбил чтение. Едва овладев с помощью матери азбукой, будущий поэт стал читать, без строгого выбора, все, что ему попадалось под руку.

К счастью, домашняя библиотека отца Л. Н. Трефолова не была особенно засорена. В ней имелись произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. А. Жуковского, Н. М. Карамзина, сатирические издания Новикова, журналы «Современник», «Отечественные записки» и т. д. Особенно нравился мальчику «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя.

По признанию Трефолова, он, «лишь только научился читать, все свои карманные деньги расходовал на собственную свою, помимо отцовской, маленькую библиотеку». В этой библиотеке значительное место занимали сказки в лубочных иллюстрированных изданиях. Большое влияние на развитие детской фантазии оказала няня Прасковья Ивановна, которая рассказывала мальчику чудесные русские сказки.

Попытки Трефолова писать стихи начались очень рано, когда ему было 12 лет. В свободное от школьных занятий время, летом, маленький поклонник поэзии стал издавать свой собственный журнал с курьезным названием: «Мои отечественные любимские записки». Единственной подписчицей на этот «журнал», выпускавшийся в виде ученических тетрадок, была мать — Клавдия Петровна Трефолова, «платившая за каждый номер от гривенника до четвертака, смотря по достоинству журнала».

Какие же произведения «публиковались» в «Любимских записках»?

Это были перефразированные или прямо списанные каллиграфическим почерком стихи тогдашних поэтов—Полонского, Мея, Фета, Щербины. «У последнего, замечает Л. Н. Трефолов, впрочем, заимствовалось немного: античный мир вовсе не был понятен любимскому стихотворцу».

Кроме издания «журнала», Л. Н. Трефолов выступал в домашнем кругу с декламацией любимых стихотворений. За это он получал особый «гонорар», но уже не от матери, а от отца, который сам мастерски читал художественные произведения.

Нередко бывая в Ярославле, отец Л. Н. Трефолова любил посещать театр, основанный первым русским актером-ярославцем Ф. Г. Волковым. Иногда он брал с собой и сына. После возвращения из Ярославля маленький Леонид должен был давать своеобразный отчет перед родными. Он декламировал отрывки из слышанных в театре монологов.

По роду своей службы, отец Трефолова постоянно разъезжал

<sup>1</sup> Библиофил — любитель книг.

по уезду, останавливаясь в усадьбах знакомых помещиков. В этих поездках его часто сопровождал сын. Леонида Николаевича больше всего интересовали библиотеки, которые имели наиболее образованные владельцы поместий. Обычно, ему разрешали пользоваться книгами, «сколько душе угодно».

Наблюдательному мальчику не могло не броситься в глаза вопиющее противоречие между внешней образованностью многих помещиков и их повадками диких крепостников. Они, с возмущением отмечал в своей автобиографии Л. Н. Трефолов, «дозволяли себе разжалование грамотных «библиотекариш» в коровницы, после отстрижения «девичьей косы-красы...» Поездки по уезду рано познакомили Л. Н. Трефолева с тяжелым народным бытом, с ужасами и произволом крепостного строя царской России.

С жизнью города Леонид Николаевич познакомился после поступления в Ярославскую гимназию. Здесь он учился до 1856 г. Любимыми его предметами были русская литература, история и естествознание. Математические науки ему давались плохо.

По окончании гимназии Трефолов поступил в Демидовский лицей. Но из-за материальных обстоятельств учиться в нем пришлось недолго. Необходимо было своим трудом зарабатывать на жизнь, и Леонид Николаевич определяется на службу в Ярославское губернское правление. Он становится помощником редактора «Ярославских губернских ведомостей».

Сотрудничество Трефолева в «Губернских ведомостях» началось еще во время его учебы в лицее. С 1857 г. Леонид Николаевич стал печатать в них свои оригинальные и переводные стихи (из Беранже и Гейне).

Первые литературные опыты Трефолева были горячо поддержаны, широко известной в те времена, талантливой писательницей и поэтессой Юлией Валериановной Жадовской (1824—1883). Она встретила молодого поэта «добрым, задушевым приветом» и требовала от него, чтобы он «поскорее переходил в столичную печать».

Ю. В. Жадовская, как и Трефолов, родилась в Любимском уезде, в помещичьей среде. Ее стихи, повести и романы пользовались большой популярностью. Разбирая один из сборников стихотворений Ю. В. Жадовской, великий русский критик Н. А. Добролюбов писал:

«...мы, нимало не задумываясь, решаемся причислить эту книжку стихотворений к лучшим явлениям нашей поэтической литературы последнего времени».

Всячески поощряя поэтическую деятельность Л. Н. Трефолева, Жадовская в то же время постоянно напоминала ему, что любовь к народу должна проявляться не только в творчестве, но и «практически, хотя бы только при помощи одной книги, самой легкой и вместе с тем самой трудной: русского букваря...»

Этот совет не пропал даром. Л. Н. Трефолов воспользовался им и стал учительствовать в Ярославской воскресной школе, с жаром принявшись за новое дело. По его словам, здесь он сблизился с детским миром, «вглядываясь в его маленькие горя и радости, которым оставался не совсем чужд, много лет состоя секретарем

общества для вспомоществования учащимся недостаточного состояния».

В 1864 г. Трефолев перешел на службу в Ярославскую губернскую строительную и дорожную комиссию, где познакомился с группой прогрессивно настроенных инженеров и техников — поляков. Под их влиянием Леонид Николаевич стал изучать польскую и другие славянские литературы. Это помогло ему впоследствии при переводах стихотворений славянских поэтов (особенно Владислава Сырокомли) на русский язык.

С 1866 по 1871 год Трефолев был редактором неофициальной части «Ярославских губернских ведомостей». Это отложило свой отпечаток на газету. Она значительно оживилась, стала интересной и содержательной. В неофициальной части «Ведомостей» Леонид Николаевич помещал статьи и очерки по вопросам этнографии и истории, написанные на материалах местных архивов. Нередко появлялись и его поэтические произведения.

В это же время Трефолев деятельно участвовал в составлении и редактировании сборников — «Труды ярославского статистического комитета». Казалось бы, характер этих сборников не позволял публиковать в них какие-либо литературные материалы. Но Леонид Николаевич сумел превратить «Труды» в своеобразные историко-литературные альманахи. В них публиковались многочисленные очерки о прошлом Ярославского края. Трефолев напечатал в «Трудах» свою обширную монографию: «Странники. Эпизод из истории раскола». Написанная живым, сочным языком, монография рассказывала о быте ярославских раскольников, центром которых было приволжское село Сопелки (неподалеку от Ярославля).

Трефолев называл себя «большим домоседом». Он редко выезжал из Ярославля, но вел отсюда оживленную переписку со многими выдающимися литераторами России. В своей автобиографии он отмечает, что переписывался с Н. А. Некрасовым, А. П. Чеховым, И. С. Аксаковым, А. Н. Плещеевым и другими известными писателями и поэтами. Наиболее оживленная связь у Леонида Николаевича была с А. П. Чеховым. Об их переписке ниже будет сказано особо.

В начале 60-х годов, следуя совету Ю. В. Жадовской, Трефолев стал выступать в столичной печати. Вначале его стихи печатались в «Иллюстрированной газете», «Воскресном досуге», «Грамоте», «Искре» (под редакцией поэта Курочкина), «Развлечении» и т. д. Затем произведения Л. Н. Трефолева стали появляться в «Отечественных записках» (при Н. А. Некрасове и М. Е. Салтыкове-Щедрине), «Русской мысли», «Русском богатстве» и других изданиях.

В сатирических журналах — «Будильнике», «Осколках» и др. — стихи Трефолева печатались под различными псевдонимами, чаще всего за подписью «Уединенный пошехонец».

Леонид Николаевич сделался также постоянным сотрудником исторических журналов: «Древняя и новая Россия», «Исторический вестник», «Русский архив». В них он публиковал статьи и очерки, связанные с историей Ярославского края, такие, как «Ярославские училища в XVIII столетии», «Ярославль при императрице Елизавете Петровне» и пр. Трефолев неоднократно выступал с лекциями на

местные исторические темы перед студентами и профессорами Демидовского лицея.

В 1887 г. в Ярославле состоялся VII российский археологический съезд. На его заседаниях Л. Н. Трефолов прочел реферат «Об угличском дворце царевича Дмитрия». Эта работа привлекла серьезное внимание археологов, в результате чего развалины угличского дворца были реставрированы и превратились в большую музейную ценность.

Сатирические стихи Трефолева, его демократические взгляды, разумеется, не могли оставаться без последствий. Почти всю свою сознательную жизнь поэт находился под негласным и гласным надзором жандармерии. Царская цензура запрещала к опубликованию десятки его произведений, а многие уродовала до неузнаваемости. В 1871 г. Трефолову по существу запретили находиться на государственной службе («...П р и н у ж д е н н ы й оставить государственную службу», пишет он в своей автобиографии, подчеркивая первое слово).

Последнюю часть своей жизни Леонид Николаевич посвятил земской деятельности, редактируя в течение почти 25 лет «Вестник Ярославского земства».

Скончался Л. Н. Трефолов 28 ноября (ст. стиля) 1905 г., в Ярославле, на 67 году жизни.

Мало что можно добавить к этим скудным данным, о которых, в основном, сообщил сам Трефолов в своей автобиографии. Почти ничего нового нельзя найти и в немногочисленных воспоминаниях о нем его современников. Исключение, пожалуй, представляют лишь сведения, содержащиеся в записках брата Ф. М. Достоевского — Андрея Михайловича, долгое время проживавшего в Ярославле и близко соприкасавшегося с Трефоловым.

Весьма примечателен, например, факт, послуживший непосредственным поводом к оставлению Л. Н. Трефоловым государственной службы. Разговаривая с вице-губернатором, Трефолов «имел неосторожность» держать руку в кармане. Вице-губернатор возмутился этим и разразился фельдфебельским окриком: «Прошу вас как следует стоять перед начальством, извольте, сударь, вынуть руку из кармана!»<sup>1</sup>

Случай этот, конечно, не был исключением. Л. Н. Трефолов жил и работал в атмосфере провинциального города, где гнет царского строя, человеческое бесправие, жестокая политическая реакция проявлялись в особенно неприкрашенных и грубых формах.

\*\*

Переписка между А. П. Чеховым и Л. Н. Трефоловым началась в 1886 г. Из писем Чехова видно, как высоко ценил он творчество Леонида Николаевича и как глубоко уважал его, как человека и общественного деятеля.

В феврале 1886 г. Трефолов обратился к Антону Павловичу с просьбой принять участие в сборнике автографов и рисунков, который подготавливался Леонидом Николаевичем для издания в пользу

<sup>1</sup> «Воспоминания А. М. Достоевского». Издательство писателей в Ленинграде. 1930 г., стр. 315.

«общества попечения о немущих детях в Москве». Чехов быстро откликнулся на это письмо, в котором писал:

«Уважаемый Леонид Николаевич!

Не пишу «милостивый государь» потому, что после Вашего милого письма считаю наше знакомство установившимся. Когда два поезда встречаются, то обыкновенно обмениваются свистками. Вы свистнули, теперь же позвольте мне свистнуть... Перед Вами А. Чехонте, Человек без селезенки, Рувер<sup>1</sup> и проч., числящийся в длинной шеренге почитателей Вашего таланта. Насколько я почитаю Вашу музу, видно из того, что у меня есть любимые вещи из Ваших творений и что обещание Ваше прислать мне сборничек стихов Л. Н. Трефолева подействовало на меня, как рюмка водки после десятичасовой поездки на перекладных по 35-градусному морозу»<sup>2</sup>.

Далее А. П. Чехов, давая ряд советов по поводу предполагаемого издания, заботливо спрашивал:

«Не могу ли я помочь Вам чем-нибудь помимо автографа?»

Приглашая Л. Н. Трефолева к себе, когда тот будет в Москве, Антон Павлович предупреждал:

«В первой половине мая я, кажется, перемену квартиру. Если это случится, то мой адрес можете узнать в «Будильнике» или же в любой аптеке»<sup>3</sup>.

Через несколько дней после заочного знакомства с Трефолевым Чехов вспоминает о нем в письме к редактору журнала «Осколки» Н. А. Лейкину. Антон Павлович называет Трефолева «очень хорошим человеком», но высказывает, однако, сомнение в успехе затеянного им дела, ибо «нельзя, живя в Ярославле, издавать в Москве...»<sup>4</sup>

Однако дальнейший ход событий, видимо, рассеял это сомнение, и 20 марта 1886 г. Антон Павлович отправляет Трефолеву второе письмо, рекомендуя привлечь к оформлению сборника группу знакомых писателю художников, в том числе своего брата Н. П. Чехова.

«Они Вам доставят автографы всех русских художников,—уверял Чехов и шутливо добавлял:—Теплые ребята».

В 1887 г. сборник, подготовленный Л. Н. Трефолевым, вышел в свет. Он состоял из двух частей: в первой были опубликованы литографии с картин Репина, Левитана, Шишкина, Поленова и других известных художников; во второй — рассказы, стихи и факсимиле русских писателей. Полученные от сборника средства поступили в фонд помощи бедным детям.

Еще за десять лет до начала знакомства между писателями,

---

<sup>1</sup> А. Чехонте, Человек без селезенки, Рувер — псевдонимы А. П. Чехова, под которыми он печатал свои произведения в юмористических журналах в начальный период своего творчества.

<sup>2</sup> Полное собрание сочинений и писем А. П. Чехова. Государственное издательство художественной литературы. 1948 г., т. XIII, стр. 182. (Все дальнейшие выдержки из писем А. П. Чехова даются по этому изданию).

<sup>3</sup> Там же, стр. 183.

<sup>4</sup> Там же, стр. 185.

в 1877 г. в Ярославле вышел сборник стихотворений Л. Н. Трефолева под названием «Славянские отголоски». Вместе с вторым письмом А. П. Чехову Трефолев направил ему и этот сборник с надписью: «Многоуважаемому коллеге Антону Павловичу Чехову на память от автора — Л. Трефолева».

Чехов не замедлил откликнуться на подарок в свойственной ему дружески-шутливой манере:

«Пишу под впечатлением Вашего письма и «пука» стихов. Большущее спасибо за то и другое. Письмо вошло в папку автографов, а книгу переплету и сопричислю к сонму литературно-медицинских авторов, нашедших упокоение на моих полках»<sup>1</sup>.

19 сентября 1887 г. Трефолев послал из Ярославля в адрес Антона Павловича письмо, в котором упоминал, между прочим, о первом провинциальном журнале, издававшемся в конце XVIII в. в Ярославле, — «Уединенный пошехонец» и о своем намерении подарить Чехову, в ответ на присланную А. П. книгу новых рассказов, фотографию.

От Чехова незамедлительно последовало письмо, в котором Антон Павлович в тоне предыдущих своих посланий отвечал:

«Вы, уважаемый Леонид Николаевич, предлагаете мне выбрать одно из двух: Вашу карточку или «Уединенного пошехонца». Как человек жадный, я хотел бы получить «того и другого по полному стакану». Верую и исповедую, что книга моя не стоит двойной платы, но да вспомнит Ваша великодушная муза Гамлета, который весьма резонно советует (Полонию) воздавать каждому не по заслугам, а выше заслуг. Карточку Вашу я сопричту к литераторам, украшающим мой стол, а книгу прочту, переплету (25 к.) и пушу в обращение.

Ваш портрет я не раз видел у Лейкина и, кажется, у Пальмина, так что Ваше лицо для меня не составляет секрета. Зачем Вы так седы? К поэтам седина так же не идет, как папская тиара к принцу Кобургскому»<sup>2</sup>.

Вместе с этим письмом Чехов направляет Трефолеву свою фотографию и вторично приглашает Трефолева к себе в гости — «поболтать с прозанком о текущих делах». Сообщая свой адрес, Чехов и здесь не удерживается от юмора:

«Живу я в Кудрине, против 4-й женской гимназии, в доме Корнеева, похожем на комод. Цвет дома либеральный, т. е. красный».

Редко выезжавший куда-либо из Ярославля, в том числе и в Москву, Трефолев не смог, видимо, воспользоваться приглашением А. П. Чехова. В письме на имя Трефолева от 14 апреля 1888 г. Антон Павлович глубоко сожалеет, что знаком с Трефолевым «только наполовину», т. е. заочно. Одновременно Чехов обращается к Леониду Николаевичу с просьбой оказать содействие двенадцатилетнему крестьянскому мальчугану Дмитрию Иванову.

«По его словам, — писал Чехов, — в Москву он приехал из Ярославля с матерью; мать умерла, и он остался на бобах. Жил он в

<sup>1</sup> Том XIII, стр. 189.

<sup>2</sup> Там же, стр. 368—369.

Москве в «Аржановской крепости»<sup>1</sup> и занимался милостыней. Эта профессия, как Вы и сами заметите, сильно отразилась на нем: он худ, бледен, много врет, сочиняет болезни и проч. На мой вопрос, хочет ли он ехать на родину, т. е. в Ярославль, он ответил согласием. Сестра моя собрала для него денжишек и одежонки, и завтра наша кухарка повезет его на вокзал»<sup>2</sup>.

Чехов сообщал, что у Иванова есть в Ярославле тетка и просил Леонида Николаевича «указать мальчугану те пути, по коим у Вас в городе отыскиваются тетки и дядьки...»

Последнее из сохранившихся писем, адресованных А. П. Чеховым в Ярославль, датировано 16 октября 1894 г. Чехов только что вернулся из-за границы в Москву, где его ожидало письмо Трефолева, который сообщал о выходе в Москве его книги—«Стихотворения (1864—1893)» и просил согласия преподнести ее Чехову.

...«Ваша новая книга мне нужна, и я буду рад ей, как хорошему милому гостю,—отвечал Антон Павлович.—Неужели, чтобы доставить человеку удовольствие, нужно предварительно спрашивать у него позволения? Если бы Вы пожелали поднести мне шубу или голову сахару, тогда другое дело, предварительные справки, пожалуй, были бы не лишними, но ведь книги с авторской приписочкой — это совсем другая история»<sup>3</sup>.

Трефолов направил Чехову новый сборник своих стихотворений с надписью—«Многоуважаемому Антону Павловичу Чехову—на добрую память»—через редакцию журнала «Русская мысль», где Чехов числился в то время постоянным сотрудником.

Находясь в Мелихове, Чехов посылает своей сестре—М. П. Чеховой записку с просьбой:

«Если будешь в «Русской мысли», то не забудь взять книгу, присланную мне Трефоловым. Спроси у Иннокентия Федоровича...».

Чрезвычайно живая и любопытная переписка между Чеховым и Трефоловым, к сожалению, мало касается непосредственно творческих вопросов. Остается нерасшифрованным признание Антона Павловича Трефолову:

«У меня есть любимые вещи из Ваших творений».

Неизвестно, какие именно стихотворения Трефолева нравились А. П. Чехову.

Весьма характерно замечание Чехова о том, что он числится «в длинной шеренге почитателей» таланта Л. Н. Трефолева. Если учесть, что это было сказано в 1886 г., то станет ясно, что передовые люди России, подобные Чехову, уже и тогда высоко ценили творческую деятельность жившего в Ярославле поэта.



Трудящиеся нашей области свято чтят память своего выдающегося земляка. Покидая родную землю, Леонид Николаевич Трефолов, глубоко верил, что его потомкам доведется жить и трудиться в светлое, счастливое время, в свободной, сбросившей тягостное

<sup>1</sup> Аржановская крепость — ночлежный дом.

<sup>2</sup> Том XIV, стр. 83.

<sup>3</sup> Том XVI, стр. 177.

иго самодержавия и капитализма, стране. Обращаясь к своим потомкам, он писал:

Пойте сами громче и чудесней!  
Вам иная доля суждена.

Эти потомки — мы, люди могучей социалистической державы, великой сталинской эпохи.

Чем нам дорого и близко имя Леонида Николаевича Трефолева?

Оно нам дорого и близко, прежде всего, тем, что в лице Трефолева мы видим яркого и беззаветного последователя некрасовских традиций в литературе, певца демократического лагеря, высоко державшего знамя Белинского, Добролюбова, Чернышевского, пламенного патриота нашей Родины.

В лице Трефолева мы видим незаурядного, талантливого поэта, подлинного мастера поэзии, создателя таких произведений, как «Песня о Камаринском мужике», «Дубинушка» и других, признанных широкими слоями трудового народа, навсегда вошедших в народ.

Мы особенно любим Леонида Николаевича Трефолева за то, что он был преданным сыном родного Ярославского края, его замечательным и глубоким историком. В его прекрасных очерках о Ярославской старине воспроизведены правдивые картины прошлого, нарисованы реалистические образы людей, живших в Ярославле в XVIII и XIX вв. С особой теплотой и любовью Леонид Николаевич рассказывал о героических делах трудового народа, чьи руки неумолимо создавались богатейшие культурные ценности.

Творчество Л. Н. Трефолева высоко ценил великий пролетарский писатель, классик советской литературы, А. М. Горький. По его предложению стихи Л. Н. Трефолева были включены для издания в серии «Библиотека поэта», в числе лучших произведений русской поэзии.

Именем Л. Н. Трефолева в Ярославле названа одна из улиц города, на одном из домов которой установлена мемориальная доска. На ней золотыми буквами начертано: «Здесь жил известный поэт и историк Ярославского края — Леонид Николаевич Трефолев». Имя Трефолева носит также одна из ярославских школ.

Глубоко неправ был поэт, когда скорбно утверждал:

Не придут от нас в восторг потомки,  
Видя в нас лишь стонущих рабов,  
И растопчут жалкие обломки  
Наших лир и тлеющих гробов.

Леонид Николаевич Трефолев заслужил горячую любовь своих потомков, которые видят в нем не «стонущего раба», а достойного представителя великого русского народа, провозвестника нашего солнечного сегодня. Советские люди с уважением приоткрываются к звонким струнам вещей и звучной лиры Л. Н. Трефолева, гордятся его творчеством, сохранившим свою молодость и свежесть до наших дней.

П. ЛОСЕВ.



## ОБЪЯСНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ И ФРАЗ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ СТИХОТВОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л. Н. ТРЕФОЛЕВА

- Парнас** — гора в Греции, на которой—по мифологическим представлениям древних греков—обитали бог солнца — покровитель искусств Аполлон — и музы.
- Митральеза** — старинное многоствольное орудие для непрерывной стрельбы пулями (предшественник пулемета).
- Таврида** — древнее название Крыма.
- Витийствовал** — ораторствовал.
- Мессидор** — десятый месяц французского календаря, установленного Конвентом в 1793 г.
- Центавр (кентавр)** — мифологическое существо в представлении древних греков—получеловек, полулошадь.
- Бахус** — мифологический бог вина и веселья.
- Веста** — древнеиталийская богиня очага.
- Пери** — мифологическая фея, охраняющая людей от «злых духов».
- ad patres** — отправиться к праотцам, т. е. скончаться.
- Гиперборей** — по преданиям древних греков — сказочный народ, живший на крайнем севере.
- idem et per idem** — все также, таким же порядком.
- o, tempora, mores!** — о, времена, нравы!
- Шпрехен зи дейч?** — говорите ли Вы по-немецки?
- Эллада** — название Греции.
- Платон** — древнегреческий философ.
- топ апи** — мой друг.
- Эскулапская наука** — врачебная наука.
- Пиита** — поэт.
- Notturmo** — ноктюря, ячная песнь.
- Секстина** — стихотворная строфа, состоящая из шести строчек.
-

## СОДЕРЖАНИЕ

---

### Стихотворения из сборника 1894 г.

К нашему лагерю . . . . .	5
Наша доля — наша песня . . . . .	7
Макар . . . . .	8
Песня о Камаринском мужике . . . . .	10
Дубинушка . . . . .	14
Пошехонские леса . . . . .	15
На бедного Макара и шишки валяются . . . . .	17
Таинственный ящик . . . . .	21
Красные руки . . . . .	24
В больнице . . . . .	29
Солдатский клад . . . . .	30
Первый гром . . . . .	35
Старое и молодое . . . . .	36
Конь . . . . .	39
Шут . . . . .	41
Песня о Дреме и Ереме . . . . .	44
Ящик . . . . .	46
Любовь и биржа . . . . .	49
Скутарская крепость . . . . .	52
Три лентяя . . . . .	59
Нянины сказки . . . . .	62
Не я пою . . . . .	64
Черное и белое . . . . .	66
Вековечная старуха . . . . .	70
Великий муж . . . . .	71
Буйное вече . . . . .	72
Из Прерадовича . . . . .	79
Могильщик . . . . .	81
Воин Аника . . . . .	83
Пленница . . . . .	85
Грамотка . . . . .	87
Два Мороза Морозовича . . . . .	89
Генерал Ерофей . . . . .	93
Похоронная процессия . . . . .	95
Тени . . . . .	96
Спокойствие . . . . .	97
Чума . . . . .	98
Загадочный огонек . . . . .	100
Две дороги . . . . .	102

Путеводная звезда	103
К России	105
Что я умею нарисовать?	106
Похороны	109
Песня рабочих	110
Казачок	113
Почему они поют о девах и розах	114
Чудесная хата	116
Невеста ссыльного	117
Черные и белые братья	119
Накануне казни	121
Дочь охотника	123
Осень	125
Три поэта	126
Перл создания	129
Гусляр	130

**Стихотворения, не вошедшие в сборник 1894 г.**

Стрелок	132
Южнорусская песня	134
Литовская песня	136
Барские сны	138
Молодо-зелено	141
К моему стиху	142
Борьба	143
Пан Данило	144
Железная пила	146
М. Н. Каткову	147
Елка	148
Мелодии из «желтого дома»	149
До зеленого змия и белых слонов	151
Ручка, рука и лапа	154
Пиита	156
NOTTURNO	158
Пятьдесят лет	160
Душа-человек	161
Александр III и поп Иван	163
Имя-рек, или NEMO	166
Недопетая песня	168
Пляска весны	169
Рак и черепаха	170
С. Д. Дрожжину	171
В глухом саду	172
Безыменный певец	174
Между жизнью и смертью	176
Ручей	177
Набат	178
Кровавый поток	180
Песня дервиша	181
Руснацкая песня	182
Грамотейка	183
Паутина	185

Лапти . . . . .	186
Под осенним дождем . . . . .	187
Океан жизни . . . . .	188
Действительный тайный советник Константин Петрович Победоносцев . . . . .	190
К свободе . . . . .	191

#### Краеведческие очерки

Ярославль при императрице Елизавете Петровне . . . . .	195
Майорша и капитанша . . . . .	281
Запленный мастер . . . . .	291
«Северная Почта», или «Новая С.-Петербургская газе- та» в Ярославской губернии . . . . .	295
Монтионовские премии в Российском вкусе . . . . .	304
Меланхолик . . . . .	311
Плещеевский бунт . . . . .	320
Л. Н. Трефолев — поэт и историк Ярославского края . . . . .	334
Объяснение иностранных слов и фраз, встречающихся в тексте стихотворных произведений Л. Н. Трефолева . . . . .	348

Редактор **В. Рымашевский.**  
Художник **Н. Кирсанов.**

\*

Техн. редактор **Е. Колобкова.**  
Корректор **М. Григорович.**

\*

Подписано к печати 12 апреля 1951 г.  
АК 5907. Бумага  $84 \times 108^{1/2} = 5,5$  бум. л.,  
18 печ. л., 15,4 авт. л., 16 уч.-изд. л.  
Тираж 7.500. Цена 9 руб.

\*

Типография облполиграфиздата  
Ярославль, Республиканская, 61. Заказ 1836

Ал-02